



ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИНИОН РАН)

Р.Э. Парк

# ИЗБРАННЫЕ ОЧЕРКИ

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК**

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**Р.Э. ПАРК**

**ИЗБРАННЫЕ  
ОЧЕРКИ**

**СБОРНИК ПЕРЕВОДОВ**

**МОСКВА  
2011**

ББК 60.5  
П 18

*Серия*  
**«Теория и история социологии»**

**Центр социальных научно-информационных  
исследований**

Отдел социологии и социальной психологии

**Парк Р.Э.**  
П 18 **Избранные очерки:** Сб. переводов / РАН. ИНИОН.  
Центр социал. научн.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и пер. с англ. В.Г. Николаев; Отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2011. – 320 с. – (Сер.: Теория и история социологии).  
**ISBN 978-5-248-00602-1**

Роберт Эзра Парк (1864–1944) – выдающийся американский ученый, интеллектуальный лидер Чикагской школы социологии. Его идеи оказали большое влияние на формирование теоретической и эмпирической социологии XX века. В сборник включены очерки Парка, посвященные социологической теории, социологии города, проблемам личности, массовой коммуникации, культурных конфликтов, расовых и этнических отношений.

Для социологов, психологов, всех интересующихся историей идей, преподавателей вузов, студентов и аспирантов.

ББК 60.5

## СОДЕРЖАНИЕ

Николаев В.Г. Роберт Эзра Парк как теоретик социологии.....	4
Город: Предложения по исследованию человеческого поведения в городской среде.....	19
Человеческая природа и коллективное поведение.....	57
Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок .....	66
Социология, сообщество и общество.....	80
Симбиоз и социализация: Схема соотнесения для изучения общества.....	115
Размышления о коммуникации и культуре .....	140
Физика и общество.....	158
Современное общество .....	180
Личность и культурный конфликт .....	201
Понятие социальной дистанции (в применении к исследованию расовых установок и расовых отношений).....	217
Человеческая миграция и маргинальный человек .....	223
Культурный конфликт и маргинальный человек .....	236
Естественная история газеты .....	241
Новость как форма знания.....	257
Новость и интересная история.....	276
Моральный дух и новости .....	286
Методы преподавания: Впечатления и вердикт.....	305



**В.Г. Николаев \***

**РОБЕРТ ЭЗРА ПАРК  
КАК ТЕОРЕТИК СОЦИОЛОГИИ**

Роберта Эзру Парка (1864–1944) можно отнести к категории известных, даже почитаемых, но все же недооцененных социологов-теоретиков. С одной стороны, он действительно известен – и как несомненный лидер Чикагской школы, и как ученый, внесший важный вклад в таких конкретных областях, как человеческая экология, урбанистика и изучение расовых отношений. Статьи о нем можно найти в энциклопедиях и словарях, причем не только специальных. Хотя далеко не в каждом учебнике истории социологии ему отводится специальная глава, все же в литературе по истории идей он до сих пор не обделен вниманием специалистов. Вместе с тем бросается в глаза, что в преобладающих интерпретациях его значимости и его вклада из раза в раз транслируется идея, что его наследие в теоретическом плане давно исчерпано и интересно сегодня как сугубо исторический факт. Эта общая тональность зафиксирована в таких «учетных единицах», как «социально-экологический подход» или «городская экология» (причем ни одного из этих терминов в работах самого Парка мы не находим). Дело усугубляется тем, что в разных интерпретациях мы видим Парка то «позитивистом», то второстепенной фигурой интеракционистского движения, то матерым апологетом «ползучего эмпиризма». Когда заходит речь о нем как о лидере Чикагской школы, сама эта школа, как правило, редуцируется то к объективистской «экологии», то к противоположному ей по духу «символическому

---

\* Николаев Владимир Геннадьевич – канд. соц. наук, доцент кафедры общей социологии факультета социологии НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН.

интеракционизму», а то и просто к городским исследованиям. Попытки совместить эти несовместимые портреты чаще всего завершаются таким вердиктом, как «эклектика». Одним словом, в преобладающих толкованиях Парк лишен сколько-нибудь ясной и определенной теоретической идентичности. Его не удастся вписать в логику «парадигм» и «направлений».

Особую окраску этому придает необычность его научной биографии<sup>1</sup>. Собственно, началась она в 1914 г., когда он приступил к чтению лекций на факультете социологии Чикагского университета. В это время ему было 50 лет. За плечами у Парка были многолетний опыт журналистской работы, бесчисленные поездки по США и разным уголкам мира, недолгое изучение философии и психологии в Гарварде (1897–1898), где на него оказали важное влияние Дж. Дьюи и У. Джеймс, двухгодичное преподавание философии в Гарварде (1904–1905), работа личным секретарем у Букера Вашингтона, а из того, что имеет прямое отношение к социологии, – два лекционных курса Г. Зиммеля, прослушанных в Берлине во время учебы в Германии (1899–1900), и защищенная в Страсбурге докторская диссертация «Толпа и публика» (1903), в которой систематизировался опыт исследований в области массовой психологии, прежде всего французский. И все<sup>2</sup>. Это не помешало Парку сделать блестящую тридцатилетнюю карьеру в социологии (два десятилетия в Чикагском университете, а затем еще десять лет в других, прежде всего Университете Фиска). Более того, за годы работы в Чикаго он стал одним из влиятельнейших социологов в США, чему немало способствовали ключевые позиции чикагцев в Американском социологическом обществе и «*American journal of sociology*»,

---

<sup>1</sup> Здесь мы не будем воспроизводить биографию Парка, ограничившись ссылками на ряд источников, в которых с ней можно ознакомиться. Наиболее полный на сегодняшний день биографический очерк можно найти в кн.: *Rauschenbush W. Robert E. Park*. – Durham (NC): Duke Univ. press, 1979. См. также: *Баньковская С.П. Роберт Парк // Современная американская социология / Под ред. В.И. Добренкова*. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 1–19; *Баньковская С.П. Роберт Парк: Эволюционно-реформистский подход к социологии // История теоретической социологии / Под. ред. Ю.Н. Давыдова*. – М.: КАНОН, 1998. – Т. 3. – С. 117–132; *Козер Л. Мастера социологической мысли: Идеи в историческом и социальном контексте*. – М.: Норма, 2006. – С. 275–316.

<sup>2</sup> Если не относить к социологии критические очерки Парка о бесчинствах колонизаторов в Бельгийском Конго (1905–1906), которые С.М. Лаймен определяет как «готическую социологию». См.: *Lyman S.M. The Gothic foundation of Robert E. Park's conception of race and culture // The tradition of the Chicago school of sociology / Ed. by L. Tomasi*. – Aldershot: Ashgate, 1998. – P. 13–23.

до середины 30-х годов единственным общенациональным социологическим журнале в США<sup>1</sup>. Но, хотя влияние Парка никак не сводится к отмеченному обстоятельству, оно — в сочетании с нетипичной научной карьерой, отсутствием внятной интеллектуальной родословной и теоретической идентичности<sup>2</sup>, а также тем, что в его наследии преобладают очерки, но нет ничего хотя бы отдаленно напоминающего систематический теоретический трактат<sup>3</sup>, — способствовало тому, что Парка довольно быстро забыли как *теоретика*. В итоге систематическая социология современного типа в большинстве историй нашей науки начинается отнюдь не с Парка, а с Парсонса, и в пантеоне отцов-основателей и предшественников, который был создан последним и сохраняется во многом до сих пор, для Парка места нет<sup>4</sup>. Образ бывшего репортера, использо-

---

<sup>1</sup> С середины 30-х годов, после ухода Парка из Чикагского университета, его влияние на американскую социологию резко и существенно уменьшилось.

<sup>2</sup> Любопытный и не связанный никакими дисциплинарными обязательствами, Парк читал и использовал при построении своей социологии самую разную литературу — как социологическую, так и никак с социологией не связанную. Множественность «влияний», обнаруживающаяся в его социологических трудах, такова, что его можно в той или иной степени называть и продолжателем зиммелевской традиции (насколько таковая есть), и продолжателем дюркгеймовской традиции, и позитивистом, и социал-дарвинистом, и функционалистом, и символическим интеракционистом, и приверженцем неокантианской методологии социально-научного познания, и прагматистом, и еще много как; но каждое такое определение оказывается на проверку узким и недостаточным. В итоге так и остается неопределенность, о которой идет речь.

<sup>3</sup> Кроме очерков, была еще книга «Иммигрантская пресса и ее контроль» (1922). Книга «Город» (1926), занимающая важное место в наследии Парка, представляет собой сборник статей Парка, Э.У. Бёрджесса и Р.Д. Маккензи, дополненных библиографией городских исследований, подготовленной Л. Виртом. Знаменитый учебник «Введение в науку социологию» Парка и Бёрджесса (1921) — опять же не систематический трактат, а сборник тематически классифицированных текстов других авторов, снабженный концептуальными предисловиями к каждому разделу. О концептуально выстроенном учебнике «Очертания принципов социологии», первое издание которого (1939) вышло под редакцией Парка, кажется, вообще почти никто не помнит.

<sup>4</sup> Преобладающей формой забвения было определение того, что было создано Парком, как «социально-экологического подхода» и / или «городской экологии» и исключение его как «подхода» из едва ли не всех историй социологической теории, выстроенных на понятии «направлений» и «парадигм». Любопытно проследить, как такая же судьба подстерегала впоследствии едва ли не всех наследников парковской (чикагской) традиции, начиная с Э.Ч. Хьюза и Л. Вирта и заканчивая Э. Гоффманом, А. Страуссом и Х.С. Беккером. Единственным, кто избежал этой судьбы, был Г. Блумер — по сути, «белая ворона» в этой традиции,

вавшего свой богатый жизненный опыт, незаурядное воображение и широкую начитанность для разработки ранней модели социологического образования и осуществления первой масштабной программы эмпирических исследований в Чикагском университете, которому в силу исторических обстоятельств довелось стать первым крупным центром социологии в США, идеально работал на то, чтобы вывести из поля зрения теоретическую значимость того, что пытался сделать Парк.

Можно было бы и принять эту исторически сложившуюся оценку идей Парка, если бы не несколько «но».

Во-первых, Парк занимает уникальное место в поколении социологов, которому мы обязаны превращением социологии из спекулятивного занятия одиночек-энтузиастов в эмпирическую науку, являющуюся коллективным делом хорошо подготовленных профессионалов. В Чикагском университете были созданы и институционализированы образцы эмпирической работы, на которые приходилось ориентироваться следующим поколениям социологов. Метатеоретические основания, на которых выстраивались эти образцы, были разработаны в значительной мере Парком, и через поточное воспроизводство стандартных эмпирических исследований сама социология воспроизводилась в той конфигурации, которая сложилась на этих основаниях в годы лидерства Парка в чикагской социологии и – через АСО, «*American journal of sociology*» и другие механизмы влияния – в американской социологии вообще. Иначе говоря, американская эмпирическая социология в США была к середине 1930-х годов сконфигурирована, по крайней мере отчасти, теми пресуппозициями, к разработке которых Парк был самым прямым образом причастен.

Во-вторых, эти же самые пресуппозиции в течение достаточно долгого времени распространялись и закреплялись в американском социологическом сообществе через широчайшее использование учебника Парка и Бёрджесса «Введение в науку социологию» в американских университетах, чему немало способствовала «колонизация» факультетов социологии этих университетов профессорами, получившими подготовку и степени в Чикаго.

На протяжении двух десятилетий американская социология интенсивно конфигурировалась под мощным чикагским влиянием, и одну из ключевых ролей в этом процессе играл Парк. Однако

ввиду того что Парк предпочитал жанру систематических трактатов эссеистический жанр, эти пресуппозиции проговаривались им лишь коротко, частично и в разных произведениях; они нигде не были сведены воедино в окончательном виде. Соответственно, они утверждались в американской социологии в значительной мере как «здравый смысл» дисциплины, упорядочивая ее в основных очертаниях, но относясь к категории тех вещей, которые не нуждаются в проговаривании<sup>1</sup>. Поскольку (и в той мере, в какой) это так, Парк принадлежит к числу основоположников американской социологии XX в. и вообще современной социологии, какой мы ее сегодня знаем. Между тем это почти банальное утверждение прячет от глаз то, что Парк был «основоположником» в большей степени, чем принято считать, и не совсем в том смысле, в каком принято считать<sup>2</sup>.

Третье обстоятельство, которое нельзя не учесть, состоит в том, что Парк создавал свою систему пресуппозиций не случайным образом, а вполне целенаправленно<sup>3</sup>. В его представлении, социо-

---

<sup>1</sup> Вообще говоря, их проговорил позже Парсонс в теории действия и теории социальных систем, однако без всяких отсылок к этому латентному их источнику. Показательна в этом отношении рецензия Л. Вирта на парсонсовскую «Структуру социального действия» (*Wirth L. Review of T. Parsons' The structure of social action* // *American sociological rev.* — Berkeley (CA), 1939. — Vol. 4, N 3. — P. 399–404). См. также об этом: *Николаев В.Г.* Очерки Луиса Вирта по теоретической социологии: Предисловие к публикации // *Личность. Культура. Общество.* — М., 2006. — Т. 8, вып. 2. — С. 11–20.

<sup>2</sup> О ключевой роли Парка в конституировании современной американской социологии см.: *Lengermann P.M.* Robert E. Park and the theoretical content of Chicago sociology: 1920–1940 // *The Chicago school: Critical assessment* / Ed by K. Plummer. — L., N.Y.: Routledge, 1997. — Vol. 2. — P. 239–255.

<sup>3</sup> По словам самого Парка, он стремился создать «концепцию общества и человеческих отношений, которая собрала бы в перспективе единой точки зрения все многообразие тенденций и сил, зримо и активно вызывающих изменения в существующем мировом порядке, которые мы наблюдаем» (*Парк Р.Э.* Физика и общество // *Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН.* — М., 1997. — № 4. — С. 153). Вобрав в себя «социологическую мысль, рассеянную по разным школам», эта «перспектива» должна была охватить все «виды фактов, которые должна искать социология, дабы ответить на вопросы, которые она задает» (*Park R.E.* Sociology and the social sciences // *American j. of sociology.* — Chicago, 1921. — Vol. 27, N 2. — P. 169). «Схема соотнесения» должна была обеспечить «логический каркас для более систематических и более научных исследований», давая ответы на «ограниченное число теоретических проблем» (*Парк Р.Э.* Физика и общество. — С. 139). Ядром, вокруг которого ее Парк выстраивал, была попытка совместить утилитаристское и нормативистское видение действия и социального порядка. Р. Бендикс так поясняет интенцию Парка: в то

логия является одновременно общей и специальной наукой. Если как специальная наука она формируется у него по остаточному принципу, вбирая в себя все предметное содержание, не разобранное уже сформировавшимися к началу XX в. социальными науками (экономикой, политической наукой и т.д.), то как общая наука она должна, в его представлении, давать специальным социальным наукам и, шире, наукам о человеке «рамку соотнесения» (frame of reference), или систему координат, позволяющую соотносить разные специальные знания о социальной жизни и сводить их в единую синтетическую картину. Парковская рамка соотнесения как раз и представляет собой систему пресуппозиций, включая в себя общие допущения о природе человека, природе человеческого поведения / действия, природе социального порядка и базовых социальных процессах. Эта система допущений разрабатывалась Парком с его первой программной публикации, «Город: Предложения по исследованию человеческого поведения в городской среде» (1915), и до таких поздних работ, как «Размышления о коммуникации и культуре» (1938), «Симбиоз и социализация» (1939), «Физика и общество» (1940) и цикл публикаций о новостях. Ни в одной работе Парка она не дана в полном и окончательном виде, но собрать и эксплицировать ее из разных его публикаций не составляет большого труда<sup>1</sup>.

Четвертое обстоятельство, заставляющее отнести к теоретическим усилиям Парка всерьез, состоит в том, что развитая им схема соотнесения в ряде ключевых параметров практически неот-

---

время как А. Смит написал две книги – «О богатстве народов», в которой «показал, что некоторые социальные феномены возникают из независимого преследования каждым индивидом собственной выгоды», и «Теорию моральных чувств», в которой «показал, что взаимодействие людей в обществе облегчают или сопровождают чувства симпатии», – Парк полагал, что «это не должны быть разные книги: само постоянное взаимодействие между конкуренцией и коммуникацией, между симбиозом и социализацией представляет основной интерес для социолога» (*Bendix R. Social theory and social action in the sociology of Louis Wirth // American j. of sociology.* – Chicago, 1954. – Vol. 59, N 6. – P. 524). В других формах это выглядит у Парка как стремление совместить Конта и Спенсера или Гоббса и Аристотеля.

<sup>1</sup> В зависимости от выбранных критериев поиска собрать ее можно по-разному. Один из вариантов сборки, опирающийся на несколько модифицированную концепцию структуры социологического знания Дж. Александера, см. в ст.: *Николаев В.Г.* Многомерные и редукционистские стратегии в чикагской социологии: Случай человеческой экологии // Социологический журнал. – М., 2009. – № 2. – С. 18–55. Другой вариант, выстроенный на несколько иных основаниях, см., например, в ст.: *Lengermann P.M.* Op. cit.



личима от парсонсовской, но при этом Парсонс занял центральное положение в истории социологической теории XX в., а Парк выпал из сонма теоретиков первого ряда. Собственно говоря, в новой истории социологии, выстроенной вокруг фигуры Парсонса и его метатеории, Парку-теоретику не могло найтись места во многом именно потому, что его метатеория была, с одной стороны, соразмерной метатеории Парсонса, чуть ли не ее дубликатом<sup>1</sup>, а с другой стороны, – принципиально с ней несовместимой. Уже одно это делает прояснение теоретического вклада Парка вопросом не просто историческим – особенно в свете того, что Парк не то чтобы не смог сделать того, что позже сделал Парсонс, а вообще считал тот тип интеллектуальной работы, ярчайшим образцом которого стала теория Парсонса, неприемлемым для социологии, желающей быть наукой.

Пятое обстоятельство тесно связано с четвертым. Та же невозможность размещения в логике «парадигм» преследовала почти всех сколько-нибудь крупных наследников парковской социологической традиции. Если носители других традиций укладывались в такие общие классификационные рубрики, как «функционализм», «структурализм», «теории обмена», «бихевиоризм», «понимающая социология» и т.п., то чикагцы – нет. Луис Вирт оказался в коллективной памяти дисциплины теоретиком «урбанизма», Эверетт Хьюз – авторитетным социологом работы и профессий, Говард С. Беккер – автором «теории ярлыков», Эрвинг Гоффман – автором «теории стигматизации» или в лучшем случае «драматургического подхода» (что само по себе есть полное недоразумение), Ансельм Страусс – автором метода «укорененной теории» (которая, разумеется, является не просто частным методом). Все указанные ученые, как и Парк, не писали систематических теоретических трактатов в привычном нам виде, если только не брать пару книг Страусса и «Рамочный анализ» Гоффмана, которые с натяжкой можно таковыми назвать. Не оставил такого трактата и Герберт Блумер, едва ли не единственный в этой традиции уместив-

---

<sup>1</sup> Сходства во многом определяются общей для них ориентацией на максимизацию того, что Дж. Александер называет «многомерностью». Именно максимальная многомерность не позволяет определить «школу», выросшую вокруг Парка, с помощью более узкого по смыслу идентификатора, нежели просто «социология»; единственно возможной для этой школы является идентификация через место («Чикагская»). Аналогичную ситуацию мы имеем в случае Французской (Дюркгеймовской) школы, с которой Чикагская школа имеет ряд существенных сходств в теории и методе.

шийся в стандартный классификатор, упорядочивающий историю социологической мысли, как классик «символического интеракционизма». Все они, как и Парк, – признанные классики, все – авторитетные теоретики, и со всеми возникает проблема теоретической идентификации. Чтобы разобраться в сути этой проблемы, видимо, резонно вернуться к истокам этой традиции, когда закладывались ее основания, а у истоков ее – наряду с прочими, но не в последнюю очередь – стоял Парк.

Прояснение теоретической значимости наследия Парка невозможно без ясного понимания того, как он видел социологию, ее структуру, ее задачи и место теории в социологии как целостном научном предприятии. Как уже говорилось, он мыслил социологию как одновременно общую и специальную науку. Это не означало наличия двух отдельных социологий, которые можно было бы практиковать отдельно друг от друга; речь шла о том, что социолог, какие бы темы и проблемы ни становились предметом его внимания, должен был видеть их одновременно аналитически и синтетически. Исследование любого выделенного в реальности аспекта невозможно без использования соответствующей аналитической перспективы, неизбежно ограниченной; но объекты эмпирического социального мира – не аналитические конструкции, и их познание и объяснение не может быть достигнуто путем механического сложения знаний, полученных в разных аналитических перспективах. Чтобы социология могла давать научное знание о действительном мире, она должна каким-то образом сводить знания, вырабатываемые специальными науками – не только социологией, но и другими, – выстраивающимися из ограниченных аналитических перспектив, в целостную (синтетическую) картину. Задачу такого сведения как раз и выполняет социология как общая наука, ключевым компонентом которой является «схема соотнесения». Каждое специальное исследование должно быть одновременно аналитическим, т.е. освещающим какие-то выделенные аспекты эмпирической реальности, и синтетическим, т.е. вписанным в более широкую картину этой реальности<sup>1</sup>.

За счет аналитической составляющей социология становится научным знанием, т.е. абстрагируется от событий, из которых

---

<sup>1</sup> Яркий пример такой двойственности демонстрирует, например, человеческая экология. См.: *Парк Р. Э. Экология человека // Теоретическая социология: Антология / Под ред. С.П. Баньковской. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – Ч. 1. – С. 374–390.*

складывается для людей их реальность, конструирует устойчивые «вещи» и создает генерализованное знание об этих «вещах», выходящее за рамки любого конкретного места и времени. За счет синтетической составляющей социология сохраняет связь с эмпирическим миром событий, который собственно и нуждается в научном и при этом практически значимом объяснении. По Парку, социология должна быть одновременно наукой, т.е. автономным знанием, обособленным от мира обыденных практических дел и защищенным от его давлений, и практически полезным знанием, помогающим людям понять, что с ними происходит, т.е. знанием просвещающим и ориентирующим. Эти две составляющие, научная и просветительская, в социологии не могут быть полностью обособленными друг от друга. Социолог должен работать одновременно в обоих регистрах: избавление от аналитической составляющей лишает социологию научности, а избавление от синтетической составляющей и погружение в чистую логику аналитически сконструированных «вещей» выводит социологию из контакта с эмпирическим миром, который она призвана понять и объяснить.

Система пресуппозиций, составляющая основу социологии как общей науки и гарантирующая возможность синтеза, очерчивает основные контуры реальности, подлежащей социологическому изучению. Эта реальность, какой мы ее знаем в своем опыте, не может быть описана и даже представлена без людей, без их поведения, без присутствующих в их поведении устойчивости и упорядоченности и без процессов, в которых и через которые реализуется эта упорядоченность. В отношении всех этих моментов у Парка можно найти ясные и недвусмысленные утверждения аксиоматического характера.

При конструировании этой «разметки» изучаемого социологией поля Парк прибегает к двум философским логикам: неокантианской (и через нее картезианской), усвоенной им в Германии и инкорпорированной в некоторые важные социологические ресурсы, которыми он пользовался в выстраивании собственной концепции социологии, и прагматистской, воспринятой прежде всего от Джеймса и Дьюи. Эта двойственность философских оснований была для него стратегически важным инструментом, но она крайне затрудняет понимание того, как же его социология собственно строилась<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Игнорирование прагматистских оснований парковской социологии не просто обедняет и искажает ее смысл, а почти автоматически дискредитирует

В первом приближении парковские пресуппозиции удобнее всего будет представить в их жестко аналитической, «картезианской» форме.

1. Человек понимается как двойственное существо: с одной стороны, — как *организм*, или *биологический индивид*, с другой — как «персона», или *социализированный индивид*. Хотя собственно человеком индивида делает наличие «персоны» и он интересен наукам о человеке прежде всего в этом качестве, человек никогда не перестает одновременно быть организмом.

2. В силу двойственности человеческой природы активность человека тоже имеет двойственный характер. С одной стороны, человеку как живому существу присуща универсально органическая форма *поведения*, роднящая его с другими видами организмов. С другой — поскольку бытие «персоной» позволяет человеку «жить в сознаниях других людей», — человеку свойствен особый тип поведения, выстроенный на осмысленной ориентации на других; он называется *действием* (action, или conduct). Хотя социологически значимо прежде всего действие, человек, пока он остается живым существом, никогда не бывает всецело свободен от просто «поведения».

3. В поведении и действии имеются *индивидуальный* и *коллективный* аспекты. Социологию интересует поведение в его коллективном аспекте; в этом смысле Парк часто определяет социологию как «науку о коллективном поведении». В «коллективное поведение» включаются как его элементарные формы, не слишком различающиеся у человека и животных, так и высшие его формы, специфичные именно для человека и называемые «слаженным и согласованным действием». При этом невозможно помыслить коллективное поведение, которое не было бы индивидуальным для его участников.

4. Социальная жизнь, развертывающаяся в коллективной деятельности, обладает как *изменчивостью*, так и *относительным постоянством*. В силу этого ее невозможно адекватно описать без описания *процессов*, посредством которых она выстраивается, и без описания структур, или *порядков*, которые этими процессами создаются.

---

Парка как сколько-нибудь серьезного теоретика, превращая его в не более чем проницательного эссеиста. Между тем оно было и до сих пор остается обычным делом. См.: *Lengermann P.M.* Op. cit.

5. Как живые организмы люди включены в природный порядок, или *биотический порядок*, связанный с совместной жизнедеятельностью в общей среде обитания (хабитате) и извлечением из нее ресурсов, необходимых для воспроизводства их индивидуальной и коллективной жизни; в этот порядок люди включены наряду с растительными и животными организмами. В то же время как персоны люди включены в *культурный порядок*, совершенно иной по своей природе, выстроенный из смысловых компонентов (представлений и чувств). Эта двойственность человеческого мира и включенности человека в его мир означает, что люди подчинены двум совершенно разным типам принуждения: природным потребностям и культурным давлениям («игу обычаев»). Упорядоченность совместного человеческого бытия обеспечивают эти два ряда принуждений.

6. Основным процессом, создающим порядок на биотическом уровне, является *конкуренция*, основным процессом, создающим и поддерживающим культурный порядок, – *коммуникация*. Эти два процесса своим совместным действием создают наблюдаемую упорядоченность социальной жизни. Хотя специфически человеческим является культурный порядок, поддерживаемый коммуникацией, действительная упорядоченность социальной жизни никогда не может быть адекватно объяснена без действия механизма конкуренции.

7. Коммуникация создает упорядоченные человеческие объединения, называемые *обществами*. Конкуренция создает упорядоченные объединения, называемые *сообществами*. Обычно Парк утверждал, что каждое сообщество является обществом, но не каждое общество является сообществом, однако более логичным для его системы аргументации представляется позднейшее уточнение Л. Вирта, что и каждое общество является сообществом. Как бы то ни было, общество и сообщество, по Парку, – «разные вещи»<sup>1</sup>.

8. Эта система координат служит основанием для более подробных аналитических членений. Пара «биотическое – социальное» преобразуется в схему четырех порядков: экологического, экономического, политического и морального<sup>2</sup>. Каждый из них

---

<sup>1</sup> Park R.E. Sociology, community and society // Park R.E. Human communities. The city and human ecology. – Glencoe (IL): Free press, 1952. – P. 182.

<sup>2</sup> Эти порядки, или «типы ассоциации», в разных работах Парка именуются по-разному, и их не всегда четыре. Важнее не их число и названия, а та

изучается отдельной аналитической наукой (человеческой экологией, экономикой, политической наукой, антропологией и социальной психологией). Пара «конкуренция – коммуникация» кладется в основу знаменитой четырехчленной классификации социальных процессов, включающей конкуренцию, конфликт, аккомодацию и ассимиляцию<sup>1</sup>.

Эти presuppositions очерчивают общие параметры социальной жизни и служат каркасом социологического знания, каким оно Парку представлялось. Можно заметить, что почти все пары, содержащиеся в его схеме соотнесения, воспроизводятся впоследствии у Парсонса, руководствовавшегося по сути (нео)кантианской логикой. Можно также заметить, что ключевым сходством их схем соотнесения является многомерность. Дальше, однако, бросаются в глаза разительные отличия, суть которых можно свести к следующему: если Парсонс начинает дальше логически прорабатывать и детализировать свою понятийную схему, то Парк на этой ступени формулировки аксиоматических оснований останавливается и дальше не идет. Там, где Парсонс начинает выстраивать все более дробную и жесткую кристаллическую решетку, Парк оставляет гибкий и подвижный каркас.

Разница становится еще очевиднее, если попытаться картографировать понятийные аппараты Парка и Парсонса в многомерной системе координат, заданной presuppositionalными осями. Если парсонсовские понятия более или менее поддаются размещению в этой системе координат, то с понятиями Парка возникают два затруднения: некоторые его понятия размещаются в ней везде, а некоторые – одновременно в каких-то ограниченных ее сегментах и везде. Эта намеренно огрубленная формулировка позволяет ясно увидеть, что парсонсовские понятия (насколько ему удастся удерживаться в той логике построения теории, которую он выбрал) являются строго аналитическими, в то время как понятийный аппарат Парка включает, наряду с аналитическими, синтетические понятия, а некоторые понятия употребляются одновременно и как аналитические, и как синтетические (например, «сообщество»).

Если подойти к этим двум теоретикам с кантианскими критериями, то, разумеется, Парсонс пошел в развитии теории несо-

---

логика, в рамках которой они устанавливаются. У Вирта число этих порядков доходило до семи.

<sup>1</sup> См.: Парк Р.Э. Конкуренция. Конфликт. Аккомодация. Ассимиляция // Теоретическая социология... – Ч. 1. – С. 390–421.



измеримо дальше Парка. Однако Парк был все же не (нео)кантианцем, а прагматистом.

Прагматистская позиция предполагает, что познание, претендующее на практическую значимость для самих участников социального мира, должно оставаться в контакте с этим миром<sup>1</sup>. Это по сути своей мир действия и мир событий. В этом смысле социология должна быть наукой эмпирической, или натуралистической<sup>2</sup>. Она не может просто постулировать упорядоченность изучаемого ею мира логическими (спекулятивными) средствами; она должна прояснять механизмы этого упорядочивания на основе эмпирических знаний, добываемых в прямом контакте с этим миром. Путь кабинетных логических построений, отрезанных от непосредственного полевого знакомства с этим миром (т.е. путь,

---

<sup>1</sup> Эта идея яснее прописана Г. Блумером, одним из интеллектуальных наследников Парка. См.: *Блумер Г. Наука без понятий* // Блумер Г. Наука без понятий // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. – М., 2010. – С. 299–317; *Блумер Г. Проблема понятия в социальной психологии* // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 2009. – № 1. – С. 169–182; *Блумер Г. Что не так с социальной теорией?* // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 2009. – № 2. – С. 171–186.

<sup>2</sup> Парк иногда довольно эксцентрично акцентировал эту натуралистическую ноту. Так, он часто говорил, что социологи должны изучать свой предмет «с той же объективностью и беспристрастностью, с какой зоолог препарирует колорадского жука» (цит. по: *Козер Л. Мастера социологической мысли: Идеи в историческом и социальном контексте.* – М.: Норма, 2006. – С. 298). Не менее выразителен следующий наказ, который Парк часто давал своим студентам: «Вам говорили идти корпеть в библиотеку, дабы накопить там гору записей и покрыться толстым слоем пыли. Вас призывали выбирать проблемы там, где можно найти пропахшие плесенью груды документации, основанной на тривиальных бланках, которые были подготовлены усталыми бюрократами и заполнены не желающими этого делать претендентами на пособие, суетливыми благодетелями<sup>4</sup> человечества или бесчувственными клерками. Это называется “запачкать руки реальным исследованием”. Те, кто вам это советует, люди мудрые и почтенные; резоны, которые они в пользу этого приводят, имеют большую ценность. Но нужна еще одна вещь: непосредственное наблюдение. Пойдите и посидите в вестибюлях роскошных отелей и у входа в ночлежки; посидите на золотобережных диванах и на импровизированных постелях в трущобах; посидите в Концертном зале и в дешевом кафешантане. Короче говоря, джентльмены, идите и запачкайте свои штаны в реальном исследовании» (эти слова приводятся здесь в пересказе Г.С. Беккера, цит. по: *The tradition of the Chicago school of sociology* / Ed. by L. Tomasi. – Aldershot: Ashgate, 1998. – P. 78–79).

выбранный Парсонсом), Парк определял как «схоластику» и считал для научной социологии неприемлемым<sup>1</sup>.

Аналитические различия, составляющие у Парка схему соотнесения, не рассматриваются им как самоценные; это лишь инструмент, позволяющий социологии видеть изучаемые объекты, какими бы они ни были, во всей их многогранности и в той сложной системе взаимосвязей, в которую они вплетены. Схема соотнесения сама по себе не тождественна теории. Теория в социологии не может быть, по Парку, всего лишь формально-аналитической. Она должна быть содержательной, и ее содержательное наполнение не может быть произведено путем логических операций. Аналитические различия и понятия вплетаются в изучение любого содержательного объекта напрямую, задавая только общие контуры его рассмотрения. В текстах это проявляется как смешение аналитических понятий с синтетическими, указывающими не на аналитически выделенные аспекты изучаемых эмпирических объектов, а на сами эти объекты, или, что то же самое, как прямое соединение предельно абстрактных понятий с фактографией. Схема соотнесения работает у Парка как «угол зрения», напрямую упорядочивающий эмпирические наблюдения. С этим связана такая характерная особенность чикагской социологической традиции, как одновременность изучения частного и общего, выраженная ярче всего в метафоре «социальная лаборатория». В качестве своего рода «лабораторий» чикагцы использовали самые разные объекты: город, секты, гетто и т.д. Из позднейших образцов этого стратегического приема можно упомянуть использование психиатрической больницы как места для изучения формирования человеческого Я под воздействием институциональной среды в книге Э. Гоффмана «Приюты». Во всех этих случаях речь идет о том, что при эмпирическом исследовании какого-либо объекта исследуется не только он сам, но также человеческая природа вообще, общество вообще, поведение человека вообще. Таков, например, статус городских исследований чикагцев: предполагалось, что город – это идеальное место для изучения человеческой природы, человеческого общества, человеческого поведения, «цивилизации» (современности) как таковых<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См. статьи «Новость как форма знания» и «Методы преподавания...», публикуемые в этом сборнике.

<sup>2</sup> Это зафиксировано, в частности, в подзаголовке программной статьи Парка «Город» (публикуется в этом сборнике). Речь идет не об исследовании

Тип теоретизирования, предложенный Парком, можно было бы назвать «укорененной теорией», используя выражение А. Страусса, но освободив его от узких коннотаций с интеракционизмом и отдельно взятым качественным методом. Парковский тип укорененного теоретизирования, выстраиваясь на тех же прагматистских основаниях, что и у Страусса, многомернее и шире страуссовского. Этот тип теоретизирования представлен практически во всех публикациях Парка, чему бы конкретно они ни были посвящены. Поскольку теория такого типа выстраивается и перестраивается в прямом контакте со все новыми и новыми эмпирическими наблюдениями, она никогда не может быть зафиксирована в окончательной форме. Она по самой своей природе подлежит постоянной переработке и постоянному рафинированию. Отсюда неизбежные проблемы с изложением ее в учебниках, словарях и трактатах. Именно этот прагматистский тип теоретизирования был воспринят от Парка его многочисленными интеллектуальными наследниками. Разум, привыкший видеть теорию только в ее трактатообразных формах, естественным образом не находит сколько-нибудь серьезной теории в ворохе парковских очерков. Но это не единственный возможный тип научного разума. Если мы желаем осмысленно и с пользой для себя почитать Парка, то должны ни на минуту не забывать, что он прагматист, и теорию его нужно искать во всем корпусе его сочинений, а не только в тех его очерках, которые имеют более или менее намекающие на «теорию» названия.

---

города, а об исследовании «человеческого поведения в городской среде». См. также: *Парк Р.Э.* Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: История, современность, перспективы: Альманах журнала «Социологическое обозрение». – СПб.: Владимир Даль, 2008. – С. 29–43.

## ГОРОД: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ\*

С предлагаемой в этой статье точки зрения город удобно будет рассматривать не просто как скопление лиц и социальных упорядочений, а как институт.

Согласно Самнеру, институт состоит из «понятия и структуры». Под понятием, которое он определяет далее как «идею, представление, доктрину, интерес», он имеет в виду организованные установки, поддерживаемые соответствующими чувствами. «Структура, — добавляет он, — это каркас, или аппарат, или, возможно, лишь несколько функционеров, настроенных на то, чтобы сотрудничать предписанными способами в некотором соединении. Структура обладает неким понятием и дает средства для претворения его в мир фактов и действий, служащего интересам людей в обществе»<sup>1</sup>.

В сущности, институт — это некоторая часть совокупной человеческой природы плюс машинерия и средства, с помощью которых эта человеческая природа функционирует.

С таким пониманием института мы можем мыслить город — т.е. место и людей, со всей их машинерией и сопутствующими ей чувствами, обычаями и административными средствами, общественным мнением и трамвайными путями, индивидуальным человеком и орудиями, которыми он пользуется, — как нечто большее, чем просто собирательную сущность. Мы можем мыслить его как

---

\* *Park R.E.* The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the city environment // *American j. of sociology.* — Chicago, 1915. — Vol. 20, N 5. — P. 577–612. Перевод публикуется впервые.

<sup>1</sup> *Sumner W.G.* Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals. — Boston: Ginn & co., 1906. — P. 54.

механизм — психофизический механизм, — в котором и через который находят совокупное выражение частные и политические интересы. Многое из того, что мы обычно воспринимаем как город, — его хартии, формальная организация, здания, трамвайные пути и т.д. — является или представляется просто артефактом. Но лишь тогда и поскольку, когда и поскольку эти вещи через привычку и обыкновение связываются, как орудие в руке человека, с заключенными в индивидах и сообществе жизненными силами, они обретают институциональную форму. Как целое, город есть новообразование. Это непредусмотренный продукт усилий последовательных поколений людей.

## **I. Городская планировка и локальная организация**

Город, особенно современный американский город, с первого взгляда поражает тем, что он в столь малой степени является продуктом безыскусных процессов природы и роста, что трудно распознать его институциональный характер. Так, планировка большинства американских городов напоминает шахматную доску. Единицей расстояния служит квартал. Эта геометрическая форма предполагает, что город — чисто искусственная конструкция, которую можно разобрать и собрать заново, подобно блочному дому.

На самом деле, однако, город укоренен в привычках и обычаях людей, которые его населяют. Следствием этого является то, что город обладает не только физической организацией, но и моральной, и эти две организации, особым образом взаимодействуя, формируют и модифицируют друг друга. Структура города поражает нас своей зримой масштабностью и сложностью, но эта структура имеет свою основу в человеческой природе, выражением каковой она является. С другой стороны, эта широкая организация, возникшая в ответ на нужды его обитателей, однажды сформировавшись, навязывается им как грубый внешний факт и формирует их, в свою очередь, в соответствии с замыслом и интересами, которые она в себе воплощает.

*Планировка города.* Поскольку город, как было сказано выше, имеет институциональный характер, есть предел для произвольных модификаций, которые могут вноситься в его физическую структуру и моральный порядок.

Например, городской план устанавливает границы и размежевания, фиксирует в общих чертах местоположение и характер городских строений и устанавливает в пределах территории города

упорядоченное расположение зданий, возводимых как городскими властями, так и по частной инициативе. Но вместе с тем в рамках предписанных ограничений протекают неизбежные процессы человеческой природы, придающие этим районам и этим зданиям характер, который не так уж легко контролировать. Так, при нашей системе частной собственности невозможно определить степень концентрации населения в том или ином ареале заранее. Город не может фиксировать цены на землю, и мы оставляем в основном частному предпринимательству задачу определения пределов города и расположения его жилых и промышленных районов. Личные вкусы и личные удобства, профессиональные и экономические интересы, как правило, безошибочно сегрегируют и тем самым классифицируют популяции больших городов. Так город приобретает организацию, никем не задуманную и никем не контролируемую.

Общие очертания городского плана заранее определяются физической географией, естественными преимуществами и средствами транспорта. По мере роста населения города незаметные влияния симпатии, соперничества и экономической необходимости, как правило, контролируют распределение населения. Бизнес и промышленные предприятия стремятся к выгодному местоположению и собирают вокруг себя какую-то часть населения. Так же вырастают фешенебельные жилые кварталы, из которых в силу возросшей стоимости земли выдавливаются более бедные классы. Далее вырастают трущобы, населенные многочисленными бедными классами, неспособными защитить себя от ассоциации с изгоями и порочными людьми. С течением времени каждая часть города и каждый квартал приобретают что-то от характера и качеств их обитателей. Каждая особая часть города неизбежно окрашивается особыми чувствами и умонастроениями своей популяции. Следствием этого является превращение того, что поначалу было всего лишь географическим проявлением, в соседство, т.е. место со своими особыми умонастроениями, традициями и собственной историей. В пределах такого соседства каким-то образом поддерживается преемственность исторических процессов. Прошрое навязывается настоящему, и жизнь каждого такого места (locality) протекает с некоторой собственной инерцией, оставаясь более или менее независимой от более широкого круга жизни и его интересов.

Организация города, т.е. характер городской среды и дисциплины, которую она навязывает, определяется в конечном счете размером популяции, ее



концентрацией и распределением в пределах территории города. По этой причине важно изучать популяции городов и сравнивать идиосинкразии в развитии городских популяций. Следовательно, в число вещей, которые мы в первую очередь хотим знать о городе, входят: источники популяции; иммиграция и естественный рост; распределение населения в пределах города, поскольку на него воздействуют (а) экономические ценности, т.е. цены на землю, и (б) эмоциональные интересы, раса, род занятий и т.д.; сравнительный рост популяций в разных частях городского ареала, на который влияют рождаемость, смертность, браки и разводы и т.д.

***Соседство.*** Близость и соседский контакт служат основой для самой простой и элементарной формы ассоциации, с которой нам приходится сталкиваться в организации городской жизни. Локальные интересы и ассоциации порождают локальное умонстроение, и при системе, делающей место проживания основой для участия в управлении, соседство становится базисом политического контроля. В социальной и политической жизни города это наименьшая локальная единица.

«Одним из наиболее примечательных социальных фактов, несомненно, является то, что, должно быть, с незапамятных времен существует инстинктивное понимание того, что человек, строящий свой дом по соседству с вашим, начинает законно претендовать на ваше чувство товарищества... Соседство – это социальная единица, которую в силу ясности ее очертаний, ее внутренней органической завершенности, ее мгновенных реакций можно справедливо рассматривать как функционирующую на манер социального разума... Местный босс, как бы самовластно он ни распоряжался той властью, которую он получает от соседства, в более широкой сфере города, всегда должен находиться в гуще людей и быть одним из них; и он очень внимательно следит за тем, чтобы не обманывать местных жителей в том, что затрагивает их местные интересы. Трудно дурачить соседство в делах, которые напрямую его касаются»<sup>1</sup>.

Соседство существует без формальной организации. Местное общество борьбы за улучшение жизни – это структура, возводимая на фундаменте спонтанной соседской организации и существующая для того, чтобы давать выражение локальным чувствам и умонстроениям.

---

<sup>1</sup> Woods R.A. The neighborhood in social reconstruction // Papers and proceedings of the Eighth annual meeting of the American sociological association. – Chicago, 1913. – Vol. 8.

Под комплексным влиянием городской жизни то, что можно назвать нормальными соседскими чувствами, претерпело множество любопытных изменений и создало много необычных типов локальных сообществ. Кроме того, есть зарождающиеся соседства и соседства в процессе распада. Возьмем, например, Пятую авеню в Нью-Йорке, где, видимо, никогда не было ассоциации за переустройство, и сравним ее со 135-й улицей в Бронксе (где концентрация негритянского населения, вероятно, выше, чем где бы то ни было в мире), которая быстро становится очень тесным и высокоорганизованным сообществом.

Важно знать, какие силы обычно разрушают напряжения, интересы и чувства, придающие соседствам их индивидуальный характер. В общем и целом можно сказать, что сюда относятся все силы, которые обычно делают население нестабильным, разделяют и концентрируют внимания на широко разбросанных объектах интереса.

Какая часть населения является текучей?

Из каких элементов, т.е. рас, классов и т.д., состоит это население?

Сколько людей живет в отелях и съемных квартирах?

Сколько людей владеет собственным жильем?

Какую долю в населении составляют кочевники, бродяги, цыгане?

В то же время некоторые городские соседства страдают от изоляции. В разные времена предпринимались попытки переустроить и ускорить жизнь городских соседств и привести ее в контакт с более широкими интересами сообщества. Такова отчасти задача социальных поселений. Эти организации, а также другие, пытающиеся реконструировать городскую жизнь, развили определенные методы и техники для стимулирования и контроля локальных сообществ. В связи с исследованием таких агентств мы должны изучить эти методы и техники, поскольку именно метод, с помощью которого объекты контролируются на практике, раскрывает их сущностную природу, т.е. их предсказуемый характер (*Gesetzmäßigkeit*)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Wenn wir daher das Wort [Natur] als einen logischen Terminus in der Wissenschaftslehre gebrauchen wollen, so werden wir sagen dürfen, dass Natur die Wirklichkeit ist mit Rücksicht auf ihren gesetzmäßigen Zusammenhang. Diese Bedeutung finden wir z. B. in dem Worte Naturgesetz. Dann aber können wir die Natur der Dinge auch das nennen was in die Begriffe eingeht, oder am kürzesten uns dahin ausdrücken:

Во многих европейских городах и в какой-то степени в нашей стране перестройка городской жизни дошла до строительства зеленых пригородов и замены нездоровых и ветхих доходных домов типовыми зданиями, которыми владеют и управляют муниципалитеты.

В американских городах была предпринята попытка обновить дурные соседства путем строительства игровых площадок и введения всевозможных поднадзорных развлечений, включая муниципальные танцы, устраиваемые в муниципальных танцевальных залах. Эти и другие средства, задуманные прежде всего для подъема морального тонуса сегрегированных популяций больших городов, должны изучаться в связке с исследованием соседства как такового. Короче говоря, они должны изучаться не просто сами по себе, а ради того, что они могут сказать нам о человеческом поведении и природе человека вообще.

**Колонии и сегрегированные ареалы.** В городской среде соседство все более утрачивает ту значимость, которой оно обладало в более простых и более примитивных формах общества. Доступность средств коммуникации и транспорта, позволяющая индивидам распределять свое внимание и жить одновременно в нескольких разных мирах, ведет к разрушению постоянства и интимности соседства. Кроме того, там, где индивиды одной и той же расы или одного и того же рода занятий живут вместе в сегрегированных группах, соседские чувства имеют тенденцию сплавляться с расовыми антагонизмами и классовыми интересами.

Таким образом физические и коренящиеся в чувствах дистанции усиливают друг друга, и влияния локального распределения населения участвуют наравне с влияниями класса и расы в

---

die Natur ist die Wirklichkeit mit Rücksicht auf das Allgemeine. So gewinnt dann das Wort erst eine logische Bedeutung» [«Итак, раз мы намерены употреблять это слово как логический термин в наукоучении, мы вправе будем сказать, что природа есть действительность, рассматриваемая так, что имеется в виду ее закономерная связь. Это значение мы находим, например, в выражении “закон природы”. А в таком случае мы можем назвать природой вещей и то, что входит в понятия или наиболее кратко выразится следующим образом: природа *есть действительность, рассматриваемая так, что имеется в виду общее*. Тогда слово “природа” впервые получает логическое значение»] (Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. – Leipzig: Mohr Siebeck, 1902. – S. 212. Русский перевод цитируется по изданию: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в исторические науки. – СПб.: Наука, 1997. – С. 198).

эволюции социальной организации. В каждом большом городе есть свои расовые колонии, такие как Чайнатауны в Сан-Франциско и Нью-Йорке, Маленькая Сицилия в Чикаго и всевозможные другие менее броские типы. В добавление к ним в большинстве городов есть свои сегрегированные ареалы порока, подобные тому, что до недавнего времени существовал в Чикаго, и свои места встреч для всевозможного рода преступников. В каждом крупном городе есть свои пригороды, специализированные по занятиям, такие как Склады в Чикаго, и свои жилые пригороды, такие как Бруклин в Бостоне, каждый из которых имеет размер и характер, присущие целому отдельному поселку, деревне или городу, за исключением того, что его популяция отобранная. Несомненно, наиболее примечательный из этих городов внутри городов, интереснейшей особенностью которых является то, что их образуют люди одной расы или разных рас, но одного социального класса, — это Восточный Лондон, население которого составляют 2 млн. рабочих.

«Люди, составлявшие изначальное население Восточного Лондона, растекались за его пределы, пересекли Ли и заселили пограничные полосы и луга по ту сторону реки. Это население создало на месте прежних деревень новые города: Вест Хем с населением около 300 тыс. человек, Ист Хем с населением 90 тыс. человек, Стрэтфорд с его “дочерьми”, где жило 150 тыс. человек, и другие села-“переростки”. С учетом этих добавочных населений мы имеем агрегат численностью около 2 млн. человек. Это больше, чем население Берлина, Вены, Санкт-Петербурга или Филадельфии.

Это город, полный церквей и мест отправления культа, но в нем нет соборов — ни англиканских, ни католических; в нем достаточно начальных школ, но нет средних, так же как нет колледжей для получения высшего образования и ни одного университета; все люди читают газеты, но среди них нет ни одной ист-лондонской, если только не брать совсем мелкие и сугубо местные... На улицах никогда не увидеть частных экипажей; нет своего фешенебельного квартала... на самых оживленных улицах не встретить женщин. Люди, магазины, дома, транспортные средства — на всем лежит безошибочно узнаваемый отпечаток рабочего класса.

Самое странное здесь, пожалуй, вот что: в двухмиллионном городе нет гостиниц! И это, разумеется, означает, что никто его не посещает»<sup>1</sup>.

В старейших городах Европы, где процессы сегрегации ушли дальше, различия между соседствами обычно оказываются более заметными, чем в Америке. Восточный Лондон — город одного

---

<sup>1</sup> *Besant W.* East London. — L.: Chatto & Windus, 1901. — P. 7–9.

класса, но в пределах этого города население то и дело сегрегируется расовыми и профессиональными интересами. Соседские чувства, глубоко укорененные в локальной традиции и в местном обычае, оказывают решающее селективное влияние на население города и ярко проявляют себя в конечном счете в характерных чертах его жителей.

То, что мы хотим знать об этих соседствах, расовых сообществах и сегрегированных городских ареалах, существующих внутри и на периферии больших городов, — это то, что мы хотим знать и обо всех других социальных группах.

Из каких элементов они образуются?

В какой степени они являются продуктом процесса отбора?

Как люди входят в сформированную таким образом группу и выходят из нее?

Насколько относительно постоянны и стабильны их популяции?

Каковы возрастные, половые и социальные условия этих людей?

Как обстоит дело с детьми? Сколько их рождается, сколько выживает?

Какова история соседства? Что в подсознании соседства, т.е. в его забытых или плохо запомненных опытах, определяет его чувства и установки?

Что присутствует в ясном сознании, каковы его открыто декларируемые чувства, умонастроения, доктрины и т.д.?

Что в нем считается само собой разумеющимся? Что становится новостью? Каков общий поток внимания? Каким образцам оно подражает и находятся ли они внутри или вне группы?

Каков социальный ритуал, т.е. что человек должен делать в соседстве, чтобы к нему не относились с подозрением и не смотрели на него как на чужака?

Кто лидеры? Какие интересы соседства они в себя впитывают и какими методами они осуществляют контроль?

## **II. Промышленная организация и моральный порядок**

Древний город был в первую очередь крепостью, местом, где люди укрывались во время войны. Современный город, напротив, является прежде всего удобным местом для торговли и обязан своим существованием рынку, вокруг которого он вырос. Промышленная конкуренция и разделение труда, сделавшие, вероятно, больше всего для развития скрытых сил человечества, возможны лишь при условии существования рынков, денег и других средств облегчения торговли и коммерции.

Старинная немецкая пословица гласит: «Городской воздух делает людей свободными» (*Stadtluft macht frei*). Это, несомненно,

отсылает к тем дням, когда свободные города Германии пользовались покровительством императора и законы делали беглого серва свободным человеком, если ему удавалось подышать городским воздухом в течение года и одного дня. Сам по себе закон не мог, однако, сделать мастерового человека свободным. Необходимым элементом его свободы был открытый рынок, на котором он мог продавать продукты своего труда, и именно внедрение денежной экономики в отношения между хозяином и работником довело эмансипацию серва до конца.

### *Профессиональные классы и профессиональные типы.*

Между тем старая пословица, описывающая город как естественную среду свободного человека, остается в силе, поскольку индивидуальный человек обнаруживает в своих шансах разнообразие интересов и задач, а в широкой неосознанной кооперации городской жизни – возможность выбрать себе занятие и развить свои особые индивидуальные таланты. Город предлагает рынок для особых дарований индивидуальных людей. Личная конкуренция обычно отбирает для выполнения каждой специальной задачи индивида, лучше всего подходящего для ее выполнения.

«Различные люди отличаются друг от друга своими естественными способностями гораздо меньше, чем мы предполагаем, и само различие способностей, которыми отличаются они в своем зрелом возрасте, во многих случаях является не столько причиной, сколько следствием разделения труда. Различие между самыми несхожими характерами, между ученым и простым уличным носильщиком, например, создается, по-видимому, не столько природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием. Во время своего появления на свет и в течение первых шести или восьми лет своей жизни они были очень похожи друг на друга, и ни их родители, ни сверстники не могли заметить сколько-нибудь заметного различия между ними. В этом возрасте или немного позже их начинают приучать к различным занятиям. И тогда становится заметным различие способностей, которое делается постепенно все больше, пока, наконец, тщеславие ученого отказывается признавать хотя бы и тень сходства между ними. Но не будь склонности к торгу и обмену, каждому человеку приходилось бы самому добывать для себя все необходимое для жизни. Всем приходилось бы выполнять одни и те же обязанности, производить одну и ту же работу, и не существовало бы тогда такого разнообразия занятий, которое и породило значительное различие в способностях...

Так как возможность обмена ведет к разделению труда, то степень последнего всегда должна ограничиваться пределами этой возможности, или, другими словами, размерами рынка...



Существуют профессии, даже самые простые, которыми можно заниматься только в большом городе»<sup>1</sup>.

Успех в условиях личной конкуренции зависит от сосредоточенности на какой-то особой задаче, и эта сосредоточенность стимулирует спрос на рациональные методы, технические средства и исключительное мастерство. Исключительное мастерство, хотя и основано на естественных дарованиях, требует специальной подготовки, последняя же породила ремесленные и профессиональные школы и, в конце концов, учреждения профессиональной ориентации. Все они прямо или косвенно служат одновременно отбору и заострению индивидуальных различий.

Каждое средство, облегчающее торговлю и промысел, подготавливает путь для дальнейшего разделения труда и тем самым ведет к дальнейшей специализации задач, в которых люди находят свои призвания.

Результатом этого процесса становятся разрушение или модификация прежней организации общества, основанной на семейных узах, местных ассоциациях, на культуре, касте и статусе, и замещение ее организацией, основанной на профессиональных интересах.

Каждое занятие, даже занятие попрошайки, стремится обрести в городе характер профессии, и дисциплина, которой требует успех в любом занятии, вкупе с ассоциациями, укрепляющими ее, усиливает эту тенденцию.

Вначале следствием занятий и разделения труда становится создание не социальных групп, а профессиональных типов: актера, водопроводчика и лесоруба. Такие организации, как профсоюзы, образуемые людьми, занятыми в одном промысле или профессии, базируются на общих интересах. В этом отношении они отличаются от таких форм организации, как соседство, базирующихся на пространственной близости, личных связях и обычных человеческих узах. Разные занятия и профессии, видимо, предрасположены к группированию в классы, как то: ремесленные, деловые и профессиональные классы. Но в современном демократическом государстве эти классы так и не достигли сколько-нибудь эффективной организации. Социализм, основанный на попытке создать органи-

---

<sup>1</sup> Smith A. The wealth of nations. (Цит. по: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007. — С. 77–78.)

зацию, базирующуюся на «классовом сознании», никогда не добивался большего, нежели создание политической партии.

Последствия разделения труда как дисциплины, следовательно, лучше всего изучать в производимых им профессиональных типах.

К типам, которые было бы интересно исследовать, относятся: продащица, полицейский, торговец-разносчик, таксист, ночной сторож, ясновидец, водеvilная актриса, знахарь, бармен, районный босс, штрейкбрехер, профсоюзный агитатор, учитель, репортер, биржевой маклер, ростовщик. Все они – характерные продукты условий городской жизни; каждый из них своим особым опытом, особой прозорливостью и особой точкой зрения придает индивидуальность каждой профессиональной группе и городу в целом.

В какой степени уровень интеллекта, представленный в разных занятиях и профессиях, зависит от природных дарований?

Насколько интеллект определяется характером занятия и насколько – условиями, в которых оно практикуется?

Насколько успех в занятиях зависит от простой рассудительности и здравого смысла, а насколько – от технической компетентности?

Определяется ли успех в разных занятиях природными способностями или специальной подготовкой?

Какой престиж и какие предрассудки сопутствуют разным промыслам и профессиям и почему?

Определяется ли выбор занятия темпераментом, экономическими мотивами или чувствами?

В каких занятиях больше преуспевают мужчины, в каких женщины и почему?

Насколько именно занятие, а не ассоциация определяет ментальные установки и моральные пристрастия? Придерживаются ли люди, занятые в одной профессии или одном промысле, но представляющие разные национальности и разные культурные группы, характерных и одинаковых мнений?

В какой степени социальное или политическое кредо – социализм, анархизм, синдикализм и т.д. – определяется занятием? Темпераментом?

В какой степени социальная доктрина и социальный идеализм вытеснили и заместили в разных занятиях религиозную веру и почему?

Стремятся ли социальные классы обрести характер культурных групп? Иначе говоря, тяготеют ли классы к приобретению исключительности и независимости, присущих касте и национальности? Или каждый класс всегда зависит от наличия соответствующего ему класса?

В какой степени дети следуют в выборе занятия по стопам своих родителей и почему?

В какой степени индивиды переходят из одного класса в другой и как этот факт сказывается на характере классовых отношений?

**Новости и мобильность социальной группы.** Делая индивидуальный успех зависимым от сосредоточения на специальной задаче, разделение труда привело к повышению взаимозависимости разных занятий. Тем самым создается социальная организация, в которой индивид становится все более зависимым от сообщества, неотъемлемой частью которого он является. В условиях личной конкуренции следствием этой возрастающей взаимозависимости частей является создание в промышленной организации в целом некоторого рода социальной солидарности, но солидарности, которая базируется не на чувстве и привычке, а на общности интересов.

В том смысле, в каком здесь употребляются эти термины, «чувство» (sentiment) — более конкретный термин, а «интерес» — более абстрактный. Мы можем испытывать некое чувство к человеку, месту, вообще к чему угодно. Это может быть чувство отвращения или чувство одержимости. Но обладать или быть одержимым чувством к чему-то или в отношении чего-то означает, что мы неспособны действовать в отношении этого чего-то всецело рационально. Это значит, что объект нашего чувства каким-то особым образом соответствует нашей унаследованной или приобретенной диспозиции. Это может быть, например, любовь матери к своему ребенку, которая инстинктивна. Или даже чувство, которое она может испытывать к пустой колыбели своего ребенка; это чувство — приобретенное.

Существование чувственной установки показывает, что есть мотивы для действия, которые индивид, движимый ими, не полностью сознает и которые он контролирует лишь частично. Каждое чувство имеет историю либо в опыте индивида, либо в опыте рода, но человек, действующий на основе этого чувства, может не знать этой истории.

Интересы направлены не столько на специфические объекты, сколько на цели, которые тот или иной конкретный объект в тот или иной момент олицетворяет. Интересы, стало быть, предполагают наличие средств и осознание разницы между средствами и целями.

Деньги — основное средство, с помощью которого ценности рационализировались, а чувства были замещены интересами. Именно потому, что мы не обладаем по отношению к своим деньгам никакой личной и чувственной установкой, каковую мы имеем, скажем, по отношению к своему дому, деньги становятся ценным средством обмена. Мы будем заинтересованы в приобретении некоторой суммы денег, чтобы достичь какой-то цели, но если этой цели можно достичь каким-то другим способом, то им мы скорее всего будем удовлетворены не меньше. Только у скряги формируется сентиментальное отношение к деньгам, но и в этом случае он, вероятно, предпочтет один сорт денег, например золото, другому независимо от его ценности. Здесь ценность золота определяется скорее личным чувством, а не разумом.

Организация, которая складывается из конкурирующих индивидов и конкурирующих групп индивидов, находится в состоянии неустойчивого равновесия, и это равновесие может поддерживаться только процессом непрерывной перенастройки. Этот аспект социальной жизни и этот тип социальной организации лучше всего представлены в мире бизнеса, который является предметом специального исследования в политэкономии.

Расширение промышленной организации, основанной на безличных отношениях, определяемых деньгами, шло рука об руку с возрастающей мобильностью населения. В условиях, создаваемых городской жизнью, рабочий и кустарь, приноровленные к выполнению особой задачи, вынуждены перебираться из региона в регион в поисках особой занятости, к которой они приспособлены. Волна иммиграции, перекачивающаяся то в одну, то в другую сторону между Европой и Америкой, является в какой-то степени мерой этой самой мобильности<sup>1</sup>.

С другой стороны, когда на все более обширной территории трудности для путешествий и коммуникации уменьшаются, торговец, промышленник, профессионал, специалист в каждом занятии ищут своих клиентов. Это еще один способ, которым может быть измерена мобильность населения. При этом мобильность индивида и популяции измеряется не просто изменением местоположения, но также количеством и разнообразием стимуляций, на которые индивид или популяция реагируют. Мобильность зависит не только от транспорта, но и от коммуникации. Образование и способность читать, распространение денежной экономики на все более широкий круг жизненных интересов, ведущее к обезличиванию социальных отношений, — все это колоссально повысило мобильность современных народов.

Термин «мобильность», как и соотносящийся с ним термин «изоляция», обнимает широкий круг феноменов. Он может представлять одновременно и качество и состояние. Как изоляция может быть обусловлена существованием сугубо физических барьеров для коммуникации или особенностями темперамента и недостатком образованности, так и мобильность может быть следствием естественных средств коммуникации или приятных манер и университетского образования.

---

<sup>1</sup> *Bagehot W. The postulates of political economy. — L.: Longmans, Green & co., 1885. — P. 7–8.*

В настоящее время ясно признано, что то, что мы обычно называем недостатком интеллекта в индивидах, расах или сообществах, часто оказывается результатом изоляции. С другой стороны, мобильность популяции, несомненно, служит очень важным фактором ее интеллектуального развития.

Существует тесная связь между немобильностью примитивного человека и его так называемой неспособностью к использованию абстрактных идей. Знание, коим обычно обладает крестьянин, является в силу самой природы его занятия конкретным и личным. Он знает индивидуально и лично каждого члена в стаде, за которым присматривает. С течением времени он настолько привязывается к земле, которую возделывает, что уже само перемещение с клочка земли, на котором он вырос, на другой, с которым он знаком не так близко, переживается им как личная потеря. Для такого человека соседняя долина или даже полоса земли на другом конце деревни являются в каком-то смысле чужой территорией. Эффективность крестьянина как сельскохозяйственного работника зависит в значительной мере от этого близкого и личного знакомства со своеобразием того участка земли, в заботе о котором он был воспитан. Очевидно, что в таких условиях лишь малая часть практического знания крестьянина будет принимать абстрактную форму научного обобщения. Он мыслит в конкретных терминах, поскольку никаких других не знает и ни в каких других не нуждается.

С другой стороны, интеллектуальные характеристики еврея и его общепризнанный интерес к абстрактным и радикальным идеям, несомненно, связаны с тем, что евреи — это прежде всего городской народ. «Вечный жид» обретает абстрактные термины, с помощью которых можно описывать разные сцены, которые он посещает. Его знание мира зиждется на тождествах и различиях, т.е. на анализе и классификации. Выросший в тесном контакте (*intimate association*) с суетой и деловитостью рынка, постоянно сконцентрированный на хитроумной и пленительной игре купли-продажи, в которой он пользуется интереснейшей из абстракций, деньгами, он не имеет ни возможности, ни склонности культивировать ту тесную привязанность к местам и людям, которая характеризует немобильного человека<sup>1</sup>.

Концентрация популяций в городах, более широкие рынки, разделение труда, сосредоточение индивидов и групп на особых задачах постоянно меняли материальные условия жизни и, меняя их, делали все более необходимыми переприспособления к обновляющимся условиям. Из этой необходимости выросло много специальных организаций, существующих с особой целью — облегчить

---

<sup>1</sup> Cp.: *Thomas W.I. Source book for social origins: Ethnological materials, psychological standpoint, classified and annotated bibliographies for the interpretation of savage society.* — Boston: Gorham press, 1909. — P. 169.

эти переприспособления. Рынок, породивший современный город, является одним из этих средств. Еще интереснее среди них биржи, особенно фондовая биржа, и торговая палата, где цены постоянно меняются в ответ на изменения – или, скорее, на сообщения об изменениях – экономических условий в разных уголках мира.

Эти сообщения, поскольку они учитываются в расчетах и становятся причиной переприспособлений, относятся по сути своей к тому, что мы называем новостями. То, что в противном случае было бы просто информацией, превращается в новость наличием критической ситуации. Там, где что-то ставится на карту, или, короче говоря, есть кризис, информация, которая могла бы так или иначе повлиять на исход дела, становится, по словам газетчиков, «живым материалом». Такой материал – новость; все прочее – просто информация.

Как связана мобильность с внушением, подражанием и т.д.?

Какими практическими средствами повышаются внушаемость и мобильность в сообществе или в индивиде?

Есть ли в сообществах патологические состояния, соответствующие истерии у индивидов? Если да, то как они производятся и как они контролируются?

В какой мере показателем мобильности является мода?

Какая разница существует в способах передачи мод и обычаев?

Чем характеризуются прогрессивное сообщество и статичное сообщество с точки зрения сопротивления новым внушениям?

Какие ментальные характеристики цыгана, бродяги и вообще кочевника могут быть прослежены и сведены к кочевым привычкам?

**Фондовые биржи и толпа.** Биржи, на которых мы можем видеть колебания цен в ответ на новости об экономических условиях в различных уголках мира, типичны. Схожие переприспособления происходят во всех секторах социальной жизни, но в них механизмы подобных приспособлений явлены в не столь чистом и завершенном виде. Например, профессиональные и торговые издания, поддерживающие информирование профессионалов и предпринимателей о новых методах, опытах и средствах, помогают им идти в ногу со временем, т.е. облегчают переприспособление к меняющимся условиям.

Надо, однако, провести одно важное различие. Конкуренция на биржах острее, а изменения происходят быстрее и, поскольку они прямо затрагивают индивидов, более для них весомы. В противоположность такой констелляции сил, какую мы находим на биржах,

где конкурирующие дилеры встречаются ради покупок и продаж, такая мобильная форма социальной организации, как столпотворение и толпа, демонстрирует относительную стабильность.

Стало общим местом, что решающие факторы в движениях толп, как и в колебаниях рынков, психологические. Это значит, что среди индивидов, образующих толпу или составляющих публику, участвующую в движениях, сказывающихся на рынке, есть состояние нестабильности, соответствующее тому, что в другом месте мы определили как кризис. Как о биржах, так и о толпах можно сказать, что представляемая ими ситуация всегда критическая; иначе говоря, напряжения таковы, что малейший толчок может вызвать серьезные последствия. Такое критическое состояние определяется расхожим эвфемизмом «психологический момент».

Психологические моменты могут возникать в любой социальной ситуации, но чаще они случаются в обществе, достигшем высокой степени мобильности. Они чаще возникают в обществе, где у всех есть образование и где железные дороги, телеграф и печатный пресс стали незаменимой частью социальной экономики. В городах они проявляются чаще, чем в меньших по размеру сообществах. В толпе и публике каждый момент может быть назван «психологическим».

Можно сказать, что на биржах кризис — нормальное состояние. То, что называют финансовыми кризисами, есть всего лишь распространение этого критического состояния на более широкое деловое сообщество. Финансовые паники, следующие иногда за финансовыми кризисами, являются продуктом этого критического состояния.

Удивительная вещь, которую мы обнаруживаем при изучении как толп, так и кризисов, состоит в том, что поскольку они действительно вызываются психологическими причинами, т.е. являются результатом мобильности тех сообществ, в которых они проявляются, их можно контролировать. В пользу этого говорит тот факт, что ими можно манипулировать, и у нас есть масса свидетельств манипуляции в биржевых сделках. Данные о манипуляции толпами менее доступны. Однако профсоюзным организациям известно, как развить вполне надежную технику подстрекания к забастовкам и контроля над ними. Армия спасения подготовила книгу о тактике, которая в значительной части посвящена обращению с уличными толпами; а такие профессиональные возрожденцы, как Билли Сандей, обладают продуманной техникой осуществления своих религиозных возрождений.

В последние годы под рубрикой «коллективная психология» много писали о толпах и родственных им феноменах социальной жизни. Между тем почти все из написанного до сих пор основывалось на общих наблюдениях, и нет почти никаких систематических методов для изучения этого типа социальной организации. Практические методы контроля над публикой и толпой и манипулирования ими, разработанные такими практиками, как политический босс, профсоюзный агитатор, биржевой спекулянт и т.д., дают нам массу материала, в опоре на который можно провести более подробное и тщательное исследование того, что можно, в отличие от поведения более организованных групп, назвать коллективным поведением.

Кроме этих и других указанных материалов, есть истории массовых движений, крупных забастовок, финансовых паник, религиозных возрождений и т.д.

Можно также изучить чувства и эмоциональные реакции индивидов, которые участвуют в этих массовых движениях. Какое ментальное состояние возникает у индивидов под влиянием возрождений, паник и т.д.? Есть ли ощущение утраты контроля и утраты личной ответственности?

В какой степени участник массового движения переживает экзальтацию или депрессию? Как различаются чувства, сопровождающие финансовые паники и религиозные возрождения? Насколько временны эти эффекты? Насколько они постоянны?

Какие средства использовались для предотвращения финансовых паник? Какие средства использовались для рассеивания толп?

### **III. Вторичные связи и социальный контроль**

За последние годы современные средства городского транспорта и коммуникации – электрическая железная дорога, автомобиль, телефон – незаметно и быстро изменили социальную и промышленную организацию современного города. Они стали средствами сосредоточения движения в деловых районах; они изменили весь характер розничной торговли, умножив число жилых пригородов и сделав возможным универмаг. Эти изменения в промышленной организации и в распределении населения сопровождались соответствующими изменениями в привычках, чувствах, умонастроениях и характере городского населения.

Об общей природе этих изменений говорит тот факт, что рост городов сопровождался заменой непосредственных, лицом-к-лицу, или «первичных» связей в ассоциациях индивидов в сообществе косвенными, «вторичными» связями.

«Под первичными группами я понимаю группы, характеризующиеся тесной ассоциацией лицом-к-лицу и кооперацией. Они первичны в нескольких смыслах, но



главным образом в том, что служат основой для формирования социальной природы и идеалов индивида. В психологическом плане результатом тесной ассоциации является некоторое сплавление индивидуальностей в общее целое, так что общая жизнь и задача группы становятся, по крайней мере во многих отношениях, подлинным Я индивида. Наверное, проще всего описать эту целостность, сказав, что это “мы”; она предполагает некоторого рода симпатию и взаимную идентификацию, для которой “мы” является естественным выражением. Человек живет ощущением целого и находит главные цели своей воли в этом чувстве...»<sup>1</sup>

Основой для первых и самых элементарных человеческих связей служат осязание и зрение, физический контакт. Мать и ребенок, муж и жена, отец и сын, господин и слуга, родственник и сосед, священник, врач и учитель – самые близкие и реальные жизненные связи; в небольшом сообществе круг связей ими практически и исчерпывается.

Взаимодействия между членами конституированного таким образом общества непосредственны и нерелексивны. Общение осуществляется главным образом в области инстинкта и чувства. Социальный контроль возникает по большей части спонтанно, в прямой реакции на личные влияния и общественное унастроение. Это скорее результат личной аккомодации, нежели формулировка рационального и абстрактного принципа.

***Церковь, школа и семья.*** В большом городе, где популяция нестабильна, где родители и дети работают вне дома и зачастую в дальних частях города, где тысячи людей годами живут бок о бок, не зная друг друга даже на уровне шапочного знакомства, тесные первично-групповые связи ослабевают, и моральный порядок, который на них базировался, постепенно распадается.

Под разлагающим влиянием городской жизни большинство наших традиционных институтов – церковь, школа и семья – существенно изменились. Школа, например, переняла некоторые функции семьи. Именно вокруг школы и ее заботы о моральном и физическом благополучии детей стремится организовать новый дух соседства и сообщества.

В свою очередь, церковь, утратив значительную часть своего влияния с тех пор, как печатная страница во многом заменила кафедру проповедника в толковании жизни, по-видимому, находится в настоящее время в процессе переприспособления к новым условиям.

---

<sup>1</sup> Cooley C.H. Social organization. – N.Y.: Scribner's sons, 1909. – P. 15.

Важно, чтобы церковь, школа и семья были изучены с точки зрения этого перепериспособления к условиям городской жизни.

Какие изменения произошли в последние годы в семейных чувствах? В установках мужей по отношению к женам? В установках жен по отношению к мужьям? В установках детей по отношению к родителям? И т.д.

О чем говорят в этой связи документы судов по делам несовершеннолетних и моральных судов?

В каких областях социальной жизни изменились нравы, касающиеся семейной жизни?

В какой степени эти изменения произошли в ответ на влияния городской среды?

Схожие исследования можно было бы провести и в отношении школы и церкви. Здесь тоже есть изменения в установках и политике в ответ на изменения в среде. Это важно, поскольку именно на этих институтах, в которых находят воплощение непосредственные и ключевые жизненные интересы, базируется в конечном счете социальная организация.

Вероятно, именно разрушение локальных привязанностей и ослабление первично-групповых принуждений и запретов под влиянием городской среды в значительной мере ответственны за рост порока и преступности в больших городах. В этой связи было бы интересно определить путем исследования, насколько связан рост преступности с ростом мобильности населения. Именно с этой точки зрения мы должны интерпретировать любую статистику, регистрирующую разложение морального порядка, например статистику разводов, невыходов на работу и преступности.

Как влияет владение собственностью, особенно домом, на прогулы, на разводы и на преступность?

Каким районам и классам свойственны определенные виды преступности?

В каких классах чаще всего происходят разводы? Чем различаются в этом отношении, скажем, фермеры и актеры?

В какой степени в любой данной расовой группе – например, у итальянцев в Нью-Йорке или у поляков в Чикаго – родители и дети живут в одном мире, говорят на одном языке и разделяют одни и те же идеи и насколько находимые условия объясняют подростковую делинквентность в той или иной конкретной группе?

Насколько ответственны за криминальные проявления иммигрантской группы ее домашние нравы?

**Кризис и суды.** Для жизни города характерно, что в нем встречаются и смешиваются все типы людей, которые никогда не

понимают друг друга полностью. Анархист и завсегдатай фешенебельного клуба, священник и левит, актер и миссионер, сталкивающиеся локтями на улице, живут при этом в совершенно разных мирах. Сегрегация профессиональных классов является настолько полной, что в пределах города можно жить в изоляции почти столь же полной, как и изоляция захолустного сельского сообщества.

Уолтер Безант рассказывает следующую историю, произошедшую с ним в бытность его редактором «People's palace journal»:

«В этом качестве я старался поощрять литературные усилия в надежде отыскать какого-нибудь неизвестного и скрытого гения. Читателями *Журнала* были члены разных классов, связанные с тамошними образовательными делами. То были в основном молодые клерки, некоторые из них люди вполне достойные. У них было дискуссионное общество, которое я время от времени посещал. Увы! Они проводили свои дебаты в глубочайшем, предельно неосознанном и самодовольном невежестве. Я старался убедить их, что прежде чем говорить, желательно по крайней мере владеть относящимися к делу фактами. Но все впустую. Тогда я предложил темы для очерков и назначил награды за стихи. Выяснилось, к моему изумлению, что среди всех этих тысяч молодых людей — юношей и девушек — не обнаруживается даже рудиментарных признаков какой-либо литературной способности. Во всех других городах есть молодые люди, питающие литературные амбиции и имеющие в какой-то мере литературные способности. Но откуда было им взяться в этом городе, где не было ни книг, ни газет, ни журналов, а в то время еще и бесплатных библиотек»<sup>1</sup>.

В иммигрантских колониях, которые сегодня прочно обосновались в каждом крупном городе, иностранные популяции живут в иной изоляции, чем население Восточного Лондона, но она в некоторых отношениях более полная.

Разница состоит в том, что каждая из этих маленьких колоний имеет свою более или менее независимую политическую и социальную организацию и является центром более или менее напористой националистической пропаганды. Например, каждая из этих групп имеет одну или несколько газет, издающихся на ее языке. В Нью-Йорке выходят 270 изданий, большинство из которых поддерживается местным населением, на 23 разных языках. В Чикаго 19 ежедневных газет, издающихся на 7 иностранных языках, с совокупным ежедневным тиражом 368 тыс. экземпляров.

---

<sup>1</sup> *Besant W.* East London. — L.: Chatto & Windus, 1901. — P. 13.

В этих условиях социальный ритуал и моральный порядок, которые эти иммигранты привезли с собой из родных стран, могли сохраняться довольно долго вопреки влияниям американской среды. Однако во втором поколении социальный контроль, основанный на домашних нравах, рушится.

Связь города с этим фактом можно выразить в общих чертах, сказав, что следствием городской среды является обострение всех эффектов кризиса.

«Термин “кризис” не следует понимать превратно. Кризис есть в любом нарушении привычки. Кризис есть в жизни мальчика, когда он покидает дом. Освобождение негров и иммиграция европейских крестьян – это групповые кризисы. Любое напряжение, или кризис, предполагает три возможных изменения: рост приспособленности, понижение эффективности или смерть. В биологических терминах “выживание” означает успешное приспособление к кризису, сопровождающееся, как правило, модификацией структуры. У человека же оно означает ментальную стимуляцию и повышение интеллекта, а в случае неудачи – ментальную депрессию»<sup>1</sup>.

В условиях, насаждаемых городской жизнью, в которых индивиды и группы индивидов, далеко отстоящие друг от друга в симпатии и понимании, живут вместе в состоянии взаимозависимости, если не близости, условия социального контроля сильно меняются, и связанные с ним трудности возрастают.

Создаваемая этим проблема обычно характеризуется как проблема «ассимиляции». Предполагается, что причиной быстрого роста преступности в наших крупных городах служит тот факт, что иностранный элемент в составе нашего населения не смог ассимилироваться к американской культуре и не придерживается американских нравов. Если бы это было так, то это было бы интересно, но факты говорят о том, что истину, возможно, надо искать в противоположном направлении.

«Один из важнейших фактов, установленных исследованием, касается детей иммигрантов, родившихся в Америке, т.е. “второго поколения”. Основу этого анализа криминальных тенденций второго поколения составляют записи приговоров, вынесенных в Нью-Йоркском суде общих сессий за период с 1 октября 1908 г. по 30 июня 1909 г., и документы обо всех заключениях в исправительные

---

<sup>1</sup> *Thomas W.I. Race psychology: Standpoint and questionnaire with particular reference to the immigrant and Negro // American j. of sociology. – Chicago, 1912. – Vol. 17, N 6. – P. 736.*

учреждения штата Массачусетс, за исключением фермы штата, за годовой период, завершающийся 30 сентября 1909 г.

Из этих документов видно, что со стороны второго поколения существует явная тенденция к отличию от первого (иммигрантского) поколения в характере преступности. Видно также, что это отличие гораздо чаще тяготеет в сторону преступности урожденных американцев неиммигрантского происхождения, чем в противоположную сторону. Это означает, что преступность второго поколения уходит от преступлений, специфичных для иммигрантов, в сторону преступлений коренных американцев. Иногда это движение выносило преступность второго поколения даже за рамки преступности урожденных американцев. Из групп второго поколения, подвергнутых этому сравнению, одна хранит постоянную приверженность вышеуказанному общему правилу, тогда как все другие в какой-то точке от него отклоняются. Этой уникальной группой является второе поколение ирландцев»<sup>1</sup>.

Что мы наблюдаем в результате кризиса, так это то, что контроль, который прежде базировался на нравах, был заменен контролем, основанным на позитивном праве. Это изменение происходит параллельно движению, в силу которого первичные связи в ассоциации индивидов в городской среде замещаются вторичными.

Для Соединенных Штатов характерно, что крупные политические изменения вызываются экспериментально под давлением агитации или по инициативе небольших, но воинственно настроенных меньшинств. Вероятно, нет в мире ни одной другой страны, где разворачивается так много «реформ», как в настоящее время в Соединенных Штатах. По сути, реформа стала своего рода массовым «домашним видом спорта». Вызываемые таким путем реформы, почти все без исключений, предполагают некоторого рода ограничение, или правительственный контроль над деяностями, которые ранее были «свободными» или контролировались исключительно нравами и общественным мнением.

Следствием этого расширения того, что называют полицейской властью, стало изменение не просто в фундаментальной правовой политике, но в самом характере и положении судов.

Изменение, происходящее, по-видимому, повсеместно, иллюстрируют суды по делам несовершеннолетних и моральные суды. В этих судах судьи приняли некоторые функции административных служащих, и их обязанности состоят уже не столько в

---

<sup>1</sup> Reports of the United States Immigration Commission. – Wash.: US GPO, 1911. – Vol. 6. – P. 14–16.

толковании закона, сколько в предписывании мер и выдаче рекомендаций, нацеленных на то, чтобы вернуть предстающих перед ними правонарушителей на их нормальные места в обществе.

Схожая тенденция к наделению судей широкой свободой действий и возложению на них дальнейшей ответственности за принятые решения явно присутствует в тех судах, которым приходится иметь дело с техническими делами делового мира, и в росте популярности комиссий, в которых слиты воедино судебные и административные функции, таких как Межштатовская комиссия по коммерческим делам.

Чтобы основательным образом интерпретировать факты, касающиеся социального контроля, важно начать с ясного понимания природы корпоративного действия.

Корпоративное действие начинается тогда, когда между образующими группу индивидами есть некоторого рода коммуникация. Коммуникация может происходить на разных уровнях; иначе говоря, внушения могут передаваться и вызывать реакцию на инстинктивном, сенсомоторном и идеомоторном уровнях. Механизм коммуникации очень тонок, настолько, по существу, тонок, что часто трудно понять, как внушения передаются от одного разума к другому. Это не означает, что есть какая-то особая форма сознания, какое-то особое чувство родства или родовое сознание, необходимое для объяснения корпоративного действия.

На самом деле недавно было показано, что в случае ряда высокоорганизованных и статичных обществ, подобных обществу хорошо известных нам муравьев, не происходит, вероятно, ничего, что мы назвали бы коммуникацией.

«Хорошо известно, что если вынуть муравья из муравейника, а спустя какое-то время положить назад, то он не будет подвергнут нападению, в то время как на муравья, принадлежащего к другому муравейнику, почти наверняка нападут. Для описания этого факта обычно пользовались словами “память”, “вражда”, “дружба”. И вот Бете проделал следующий эксперимент. Муравья окунули в жидкости (кровь и лимфу), выжатые из тел его собратьев по муравейнику, а затем поместили назад в его муравейник; никто на него не напал. Далее его окунули в сок, извлеченный из обитателей “вражеского” муравейника, и в этом случае он был немедленно атакован и убит»<sup>1</sup>.

Еще один пример того, как коммуницируют муравьи, покажет, насколько простой и автоматической может становиться коммуникация на инстинктивном уровне.

---

<sup>1</sup> *Loeb J. Comparative physiology of the brain and comparative psychology.* – N.Y.: Putnam's sons, 1900. – P. 220–221.

«Муравей, впервые отправившись из муравейника в новом направлении, всегда возвращается по тому же пути. Это показывает, что за ним должен оставаться какой-то след, служащий проводником на обратном пути к муравейнику. Бете обнаружил, что если возвращающийся этим путем муравей не приносит никаких трофеев, то никто из других муравьев в этом направлении не идет. Но если он вернется с медом или сахаром, то другие муравьи наверняка последуют этим путем. Следовательно, какие-то частицы веществ, переносимых муравьями, должны оседать на этой дорожке. И эти вещества должны быть достаточно пахучими, чтобы воздействовать на муравьев химически»<sup>1</sup>.

Важен тот факт, что при помощи этого сравнительно простого механизма делается возможным корпоративное действие.

Индивиды не только реагируют друг на друга рефлекторно, но, кроме того, они неизбежно передают свои чувства, установки и органические возбуждения и, делая это, с необходимостью реагируют не просто на то, что каждый индивид актуально делает, но и на то, что он намеревается, желает или надеется сделать. Тот факт, что индивиды часто выдают другим чувства и установки, которые сами они сознают лишь смутно, создает возможность того, чтобы, скажем, индивид *A* действовал исходя из мотивов и напряжений *B* одновременно с ним или еще до того, как тот сможет это сделать. Более того, *A* может действовать исходя из внушений, идущих от *B*, не сознавая ясно источника, из которого протекают его мотивы. Настолько тонкими и интимными могут быть реакции, которые контролируют индивидов, связанных воедино в социально-психологическом процессе.

Именно на фундамент такого рода инстинктивного и спонтанного контроля должен опираться любой более формальный род контроля, чтобы быть эффективным.

Изменения в форме социального контроля можно сгруппировать в целях исследования по следующим рубрикам.

1. Замена обычая позитивным правом и распространение муниципального контроля на деятельности, которые прежде предоставлялись индивидуальной инициативе и личному выбору.

2. Склонность судей в муниципальных и уголовных судах к принятию административных функций, вследствие чего отправление уголовного правосудия перестает быть просто применением социального ритуала и становится применением рациональных и технических методов, требующих экспертного знания или консультирования, с целью вернуть индивида в общество и исправить ущерб, причиненный его правонарушением.

---

<sup>1</sup> Loeb J. Comparative physiology of the brain and comparative psychology. — N.Y.: Putnam's sons, 1900. — P. 221.

3. Изменения и расхождения в нравах между различными изолированными и сегрегированными группами в городе. Каковы, например, нравы продавщицы? Иммигранта? Политика? Профсоюзного агитатора?

Целью этих исследований должно быть установление не только причин этих изменений и направления, в котором они идут, но и сил, которые, вероятно, могли бы их минимизировать и нейтрализовать. Например, важно знать, обязательно ли мотивы, умножающие в настоящее время позитивные ограничения, накладываемые на индивида, зайдут в нашей стране так далеко, как они уже зашли в Германии. Приведут ли они в конце концов к состоянию, близкому к социализму?

***Коммерциализированный порок и торговля спиртными напитками.*** Социальный контроль в условиях городской жизни, наверное, лучше всего изучать в попытках искоренить порок и поставить под контроль торговлю спиртными напитками.

Салун и порочные учреждения возникли как средства эксплуатации appetites и инстинктов, корнящихся в человеческой природе. Это делает попытки регулирования и подавления этих форм эксплуатации и торговли интересными и важными предметами исследования.

Такое исследование должно базироваться на доскональном изучении: (1) человеческой природы, на фундаменте которой выросла коммерция, (2) социальных условий, превращающих нормальные аппетиты в социальные пороки, (3) практических результатов усилий по ограничению, контролю и искоренению торговли телом и по избавлению от продажи и употребления спиртных напитков.

Среди прочего, мы должны стремиться узнать следующее.

В какой степени пристрастие к алкогольной стимуляции формируется еще до рождения?

Насколько это пристрастие может переноситься с одной формы стимуляции на другую, например с виски на кокаин и т.п.?

Насколько возможно заменить патологические и порочные стимуляции на нормальные и здоровые?

Каковы социальные и моральные последствия тайного пьянства?

Там, где на раннем этапе жизни устанавливается табу, имеет ли оно следствием идеализацию наслаждения вседозволенностью? Вызывает ли оно такое следствие в одних случаях, но не в других? Если да, то какие обстоятельства на это влияют? Теряют ли люди пристрастие к алкоголю и другим стимуляторам внезапно? При каких условиях это бывает?



На многие из этих вопросов можно ответить, лишь изучив индивидуальные опыты. Пороки, несомненно, имеют свою естественную историю, как и некоторые формы болезни. Следовательно, их можно считать самостоятельными сущностями, которые находят в человеческой среде свой хабитат, поощряются определенными условиями, сдерживаются другими, но неизменно проявляют, несмотря на любые изменения, типичный характер.

В первые дни своего существования движение за умеренность было в чем-то сродни религиозному возрождению, и результаты его были весьма впечатляющими. В последние годы лидеры движения демонстрировали более продуманную стратегию, но борьба против торговли спиртным до сих пор имеет все признаки широкого массового движения – движения, покорившего наконец сельские районы и теперь наступающего на города.

Крестовый поход против порока, в свою очередь, начался с городов, где коммерциализированный порок фактически чувствует себя как дома. Уже само публичное обсуждение этой темы означало колоссальное изменение в половых нравах. Примечательно, что это движение всюду идет рука об руку с вхождением женщин в партийную политику.

Некоторые условия, специфичные для жизни больших городов (упомянутые под рубрикой «Мобильность населения больших городов»), делают контроль над пороком особенно затруднительным. Например, крестовые походы и вообще религиозные движения не достигают в городской среде такого успеха, какого они достигают в меньших по размеру и менее гетерогенных сообществах. Какие это условия?

Факты, вероятно, более всего заслуживающие изучения в связи с движением за подавление порока, – это факты, указывающие на изменения, которые происходили в течение последних пятидесяти лет в половых нравах, особенно связанные с тем, что считается пристойным и непристойным в одежде и поведении, и в связи с той свободой, с которой ныне обсуждаются вопросы пола юношами и девушками.

Фактически дело выглядит так, словно мы стали свидетелями двух эпохальных изменений; одному из них, видимо, суждено в конце концов отнести опьяняющие напитки к категории ядовитых наркотиков, а другому – снять табу, которое до сих пор, особенно у англосаксонских народов, эффективно не допускало откровенного обсуждения вопросов, связанных с полом.

***Партийная политика и публичность.*** В настоящее время всюду есть склонность к увеличению власти исполнительной ветви

правительства в ущерб законодательной. В одних случаях влияние законодательных собраний штатов и городских советов уменьшилось вследствие введения референдума и отзыва представителей. В других их во многом вытеснила комиссия форма правительства. Мнимой причиной этих изменений является то, что они позволяют свергнуть власть профессиональных политиков. Реальной же основой мне представляется признание того факта, что форма правительства, имеющая свои истоки в городском собрании и хорошо приспособленная к нуждам небольшого сообщества, основанного на первичных отношениях, непригодна для управления изменчивыми и гетерогенными городскими населенными численностью по 3–4 млн. человек.

«Многое зависит, конечно, от характера и численности населения. Там, где оно американского происхождения и число голосующих граждан не слишком велико для глубокого и спокойного обсуждения, нельзя вообразить лучшую школу политики, а также метод управления делами, более надежно предотвращающий взяточничество и растраты, поощряющий бдительность и приносящий удовлетворение. Но когда городское собрание достигает в численности 700–800 человек и даже еще больше, когда значительную долю в нем составляют чужаки, такие как ирландцы или франко-канадцы, которые не так давно хлынули в Новую Англию, этот институт работает уже не так совершенно, поскольку его численность слишком велика для дебатов, поскольку в нем обычно плодятся фракции и поскольку иммигранты, неподготовленные к самоуправлению, легко становятся добычей махинаторов и мелких демагогов»<sup>1</sup>.

Прежде всего, с ростом и организацией городской жизни проблемы управления городом настолько усложнились, что теперь уже нежелательно оставлять их в руках людей, чья единственная квалификация для работы с ними состоит в том, что им удалось заполучить посты, воспользовавшись обычной машинерией районной (ward) политики.

Другим обстоятельством, которое в условиях городской жизни сделало отбор городских чиновников путем народного волеизъявления бесполезным, является то, что, за исключением отдельных случаев, избиратель мало или вообще ничего не знает о чиновниках, за которых голосует, мало или вообще ничего не знает о функциях должности, на которую избирается тот или иной чи-

---

<sup>1</sup> Bryce J. The American Commonwealth. — L.: Macmillan, 1888. — Vol. 1. — P. 566.

новник, и, вдобавок ко всему, слишком занят другими делами, чтобы осведомляться о состоянии и потребностях города в целом.

Так, на недавних выборах в Чикаго избирателей призывали выбрать кандидатов из списка, содержащего 250 имен, большинство из которых были избирателям неизвестны. В этих обстоятельствах гражданин, который желает проголосовать разумно, полагается в решении о том, за кого отдать свой голос, на какую-то более или менее заинтересованную организацию или какого-нибудь более или менее заинтересованного советчика.

В ответ на эту новую ситуацию, созданную прежде всего условиями городской жизни, возникли два типа организации для контроля над теми искусственными кризисами, которые мы называем выборами. Одну из них представляют политический босс и политическая машина; другую — лиги независимых избирателей, ассоциации налогоплательщиков и организации вроде бюро муниципальных исследований.

Показателем довольно примитивных условий, в которых формировались наши политические партии, служит то, что они пытались управлять страной исходя из принципа, что панацеей от всех административных зол является, по выражению простых людей, «изгнание плутов», т.е. смена правительства. Политическая машина и политический босс появились в интересах партийной политики. Партии с необходимостью создавались с целью победы на выборах. Политическая машина — всего лишь техническое средство, изобретенное для достижения этой цели. Босс — это эксперт, который управляет машиной. Он так же необходим для победы на выборах, как и профессиональный тренер для успеха в футболе.

Эти два типа организации, выросшие с целью контроля над народным голосованием, характеризуются тем, что первый — политическая машина — базируется в целом на локальных, личных, т.е. первичных связях. Второй — организации борцов за хорошее правительство — вызывает к общественности (public), а общественность, в обычном понимании этого слова, есть группа, основанная на вторичных связях. Члены общественности, как правило, лично не знакомы друг с другом.

Политическая машина — это, по сути дела, попытка сохранить внутри формальной административной организации города контроль над первичной группой. Выстроенные таким образом организации, классическим примером которых служит Таммани Холл, оказываются по своему характеру насквозь феодальными. Отношения между боссом и районным старшиной являются, судя

по всему, отношениями личной лояльности, с одной стороны, и личного покровительства – с другой, а это предполагается феодальными отношениями. Добродетели, обнаруживаемые такой организацией, – это старые племенные добродетели верности, лояльности и преданности интересам вождя и клана. Люди внутри такой организации и их друзья и сторонники конституируют «мы»-группу, в то время как весь остальной город – просто внешний мир, не вполне живой и не вполне человеческий в том смысле, в котором являются таковыми члены «мы»-группы. Здесь мы имеем некоторое приближение к условиям примитивного общества.

«Примитивное общество» мы должны понимать как совокупность небольших групп, рассеянных по территории. Размер этих групп определяется условиями борьбы за существование. Внутренняя организация каждой группы соответствует ее размеру. Эти группы может объединять какая-то связь (родство, соседство, союз, браки, торговые сношения), собирающая их воедино и дифференцирующая их от других групп. Таким образом возникает дифференциация между нами, мы-группой, или ин-группой, и всеми прочими, т.е. они-группами, или аут-группами. Люди, состоящие в мы-группе, находятся друг с другом в отношениях мира, порядка, права, управления и промышленности. Их отношения со всеми аутсайдерами, или они-группами, являются отношениями войны и грабежа, если только они не модифицированы какими-нибудь соглашениями.

Отношения товарищества и мира в мы-группе и отношения враждебности и войны с они-группами соотносятся друг с другом. Потребности борьбы с аутсайдерами создают мир внутри, дабы внутренние разногласия не ослабили мы-группу для войны. Кроме того, эти потребности создают в мы-группе правительство и право, дабы не допускать раздоров и добиваться дисциплины»<sup>1</sup>.

Политика большинства крупных городов дает обильный материал для изучения типа, представленного политическим боссом, а также социальных механизмов, создаваемых политической машиной и воплощенных в ней. Необходимо, однако, чтобы мы изучали их беспристрастно. Вот некоторые из вопросов, на которые мы должны попытаться ответить.

Какова в действительности политическая организация в каждой точке города? Какие чувства, установки и интересы через нее выражаются?

---

<sup>1</sup> *Sumner W.G. Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals. – Boston: Ginn & co., 1906. – P. 12.*

Какие практические средства используются ею для мобилизации своих сил и приведения их в действие?

Чем характеризуются партийные призывы в разных моральных регионах, из которых состоит город?

Насколько интерес к политике является практическим, а насколько — просто развлекательным?

Какая часть в стоимости выборов приходится на рекламу? Какая часть может быть классифицирована как «просветительная паблисити», а какая является просто подкупом?

В какой степени при существующих условиях, особенно таких, какие мы находим в больших городах, выборы могут практически контролироваться чисто техническими средствами: с помощью карточных каталогов, факельных шествий, машинерии выступлений зажигательных ораторов?

Какие следствия будет иметь введение референдумов и отзыва представителей для нынешних методов проведения выборов в городах?

***Реклама и социальный контроль.*** В отличие от политической машины, опирающейся в своем организованном действии на местные, личные и непосредственные интересы, представляемые разными соседствами и районами, организации за хорошее правительство, бюро муниципальных исследований и т.п. пытались представлять интересы города в целом и взывали к чувствам и мнениям, не являющимся ни локальными, ни личными. Эти организации пытались обеспечить эффективность и хорошее управление путем просвещения избирателя, т.е. путем исследования и обнародования касающихся правительства фактов.

Так' публичность стала признанной формой социального контроля, а реклама — «социальная реклама» — профессией, вооруженной сложной техникой, основанной на корпусе специального знания.

Одним их характерных феноменов городской жизни и общества, основанного на вторичных связях, является то, что реклама заняла чрезвычайно важное место в его экономике.

В последние годы каждый индивид и каждая организация, которым приходится иметь дело с публикой — публикой вне малых и более тесных сообществ деревень и небольших городов, — обзавелись своими пресс-секретарями. Часто это не столько рекламисты, сколько дипломаты, уполномоченные поддерживать коммуникацию с газетами, а через них с миром в целом. Такие институты, как Фонд Рассела Сейджа и, в меньшей степени, Министерство общего образования, пытались влиять на общественное мнение напрямую посредством публичности.

Доклад Фонда Карнеги о медицинском образовании, Питсбургское обследование, доклад Фонда Рассела Сейджа о сравнительной стоимости среднего образования в нескольких штатах — не просто научные отчеты. Скорее это высокая форма журналистики, критически освещающей существующие условия и стремящейся посредством публичности вызвать радикальные реформы. Работа Бюро муниципальных исследований в Нью-Йорке преследовала схожую практическую цель. Сюда же следует отнести работу, выполняемую выставками на тему охраны детства, социальными обследованиями, проводимыми в разных частях страны, и всей прочей пропагандой общественного здоровья.

Как источник социального контроля общественное мнение становится важным в обществах, основанных на вторичных связях, и типичными их образцами являются большие города. В городе каждая социальная группа стремится создать собственную *milieu*, и когда эти условия фиксируются, нравы обычно аккомодируются к созданным таким образом условиям. Во вторичных группах и в городе мода все больше заступает на место обычая, и главной силой социального контроля становится общественное мнение, а не нравы.

При любой попытке понять природу общественного мнения и его связь с социальным контролем важно исследовать прежде всего органы и средства, вошедшие в практическое употребление в попытках его контролировать, просвещать и эксплуатировать.

Первое и важнейшее из этих средств — пресса, т.е. ежедневная газета и другие формы ходовой литературы, в том числе книги, классифицируемые как модные<sup>1</sup>.

Самыми интересными и многообещающими средствами использования публичности как инструмента контроля после газеты являются возникающие в настоящее время во всех крупных городах исследовательские бюро.

Результаты этих исследований доходят до публики не напрямую, а разносятся через прессу, трибуну и иные источники массового просвещения.

Кроме того, есть просветительские кампании за улучшение здоровья, выставки на тему охраны детства и многочисленные средства «социальной рекламы», используемые ныне — иногда по инициативе частных обществ, иногда по инициативе популярных журналов или газет — для просвещения публики и во-

---

<sup>1</sup> Cp.: Bryce J. The American Commonwealth. — L.: Macmillan, 1888. — Vol. 1. — P. 267.

влечения народных масс в движение за улучшение условий жизни в сообществах.

Газета — великое средство коммуникации в городе, и именно на основе информации, которую она предоставляет, строится общественное мнение. Первоочередной функцией, которую выполняет газета, является та функция, которую в прошлом выполняли деревенские сплетни.

Однако несмотря на усердие, с которым газеты охотятся за секретной информацией и фактами, представляющими общечеловеческий интерес, они не могут конкурировать с деревенскими сплетнями как средство социального контроля. Прежде всего, газета придерживается некоторых ограничений, не признаваемых сплетнями, в отношении сведений частного характера. Так, до тех пор, пока конкретные мужчины или женщины не начинают претендовать на какой-то значимый пост или не совершают какого-то другого внешнего действия, выносящего их на авансцену общественного внимания, их частная жизнь является для газеты табуированной темой. Со сплетнями дело обстоит иначе, отчасти потому, что в небольшом сообществе ни один индивид не бывает настолько скрытным, чтобы его частные дела избежали наблюдения и обсуждения, отчасти потому, что поле опыта здесь меньше. В маленьких сообществах между составляющими их индивидами обращается совершенно удивительное количество личной информации.

Отсутствие этого в городе в значительной части и есть то, что делает город тем, чем он является.

Некоторые из вопросов, возникающих в связи с природой и функцией газеты и вообще публичности, следующие.

Что такое новость?

Каковы методы и мотивы газетчика? Совпадают ли они с методами и мотивами художника? Историка? Или это просто методы и мотивы бандита?

В какой степени газета контролирует общественные чувства и в какой степени контролируется ими?

Что является «фальшивкой» и почему?

Что такое желтая журналистика и почему она желтая?

Какие следствия имело бы превращение газеты в муниципальную монополию?

Чем различаются реклама и новости?

#### IV. Темперамент и городская среда

Большие города всегда были плавильными котлами рас и культур. Из ярких и незаметных взаимодействий, центрами которых они были, выходили новые породы и новые социальные типы. Крупные города Соединенных Штатов, например, вырвали из изоляции родных деревень огромные массы сельского населения Европы и Америки. Под шоковым воздействием новых контактов скрытые энергии этих примитивных народов были вызволены наружу, а более тонкие процессы взаимодействия вызвали к жизни не просто профессиональные типы, но типы темперамента.

**Мобилизация индивидуального человека.** Среди множества других незаметных, но далеко идущих изменений транспорт и коммуникация вызвали то, что я называю «мобилизацией индивидуального человека». Они значительно повысили для индивидуального человека возможности контакта и ассоциации с другими людьми, но сделали эти контакты и ассоциации более мимолетными и менее стабильными. Очень большая часть популяций больших городов, включая тех, кто селится в арендованных квартирах и доходных домах, живет во многом подобно тому, как люди живут в большом отеле: встречаясь, но не зная друг друга. Следствием этого является замена более тесных и постоянных ассоциаций, присущих меньшим сообществам, случайными и нерегулярными связями.

В этих обстоятельствах статус индивида определяется в значительной степени конвенциональными знаками — модой и «внешним видом» (front), — а искусство жизни во многом сводится к скольжению по тонкому льду и скрупулезному изучению стиля и манер.

Мобильности индивидуального человека способствуют, как правило, не только транспорт и коммуникация, но и сегрегация городского населения. Процессы сегрегации устанавливают моральные дистанции, превращающие город в мозаику маленьких миров, соприкасающихся, но не проникающих друг в друга. Это дает индивидам возможность быстро и легко переходить из одной моральной *milieu* в другую и поощряет заволаживающий, но опасный эксперимент жизни одновременно в нескольких разных мирах — возможно, граничащих друг с другом, но при этом разделенных широкой пропастью. Все это придает городской жизни поверхностный и случайный характер; это усложняет социальные связи и создает новые расходящиеся друг с другом индивидуальные типы. В то же время это вводит элемент шанса и авантюры, усугубляю-



щий стимулирующее воздействие городской жизни и делающий ее особенно привлекательной для молодых и свежих нервов. Притягательность больших городов является, возможно, следствием стимуляций, напрямую воздействующих на рефлексы. Такой тип человеческого поведения можно объяснить, подобно притягательности пламени для мотылька, как своего рода тропизм.

Между тем привлекательность метрополиса обусловлена отчасти тем фактом, что в конечном счете каждый индивид находит где-то в пестроте и многообразии городской жизни такую среду, в которой он расцветает и чувствует себя непринужденно, — короче говоря, находит такой моральный климат, в котором его особая природа обретает стимуляции, доводящие данные ему от природы качества до полного и свободного выражения. Именно такие мотивы, имеющие свою основу не в интересе и даже не в чувстве, а в чем-то более фундаментальном и первозданном, увлекают, как мне кажется, многих, если не большинство юношей и девушек из безопасного оплота их сельских домов во все более запутанную и пьянящую круговерть городской жизни. В небольшом сообществе больше всего шансов на успех имеет, судя по всему, нормальный человек, лишенный эксцентричности и гениальности. Небольшое сообщество часто терпит эксцентричность. Город же, наоборот, вознаграждает ее. Ни преступник, ни умственно отсталый человек, ни гений не имеют в маленьком городе такой возможности развить свои внутренние предрасположенности, какую они неизменно находят в большом городе.

Пятьдесят лет назад в каждой деревне были один-два эксцентричных персонажа, к которым обычно относились с благожелательной терпимостью, но которых при этом считали ни к чему не пригодными и странными. Эти исключительные индивиды вели обособленное существование, отрезанные самой своей эксцентричностью, будь то гениальность или недостаток, от подлинно близкого общения со своими собратьями. Если у них были задатки преступников, то принуждения и запреты небольшого сообщества делали их безвредными. Если у них были признаки гениальности, то они оставались бесплодными ввиду отсутствия оценки и возможностей. Рассказ Марка Твена «Простофиля Вильсон» представляет нам историю одного такого непонятого и непризнанного гения. Сегодня уже нельзя сказать, как раньше:

Как часто лилия цветет уединенно,  
В пустынном воздухе теряя запах свой\*.

Грей сочинил «Элегию, написанную на сельском кладбище» тогда, когда еще не было современного города.

В городе многие из этих разнородных типов находят в настоящее время *milieu*, в которой – к худу ли, к добру ли – их предрасположения и дарования расцветают и плодоносят.

Исследуя те исключительные и темпераментные типы, которые создал город, нужно стремиться, насколько возможно, проводить различие между абстрактными умственными качествами, на которых базируется техническое превосходство, и теми более фундаментальными врожденными характеристиками, которые находят выражение в темпераменте. Следовательно, мы можем спросить:

В какой степени моральные качества индивидов основываются на врожденном характере? В какой мере они являются конвенционализированными привычками, навязанными им группой или перенятыми ими у группы?

На каких врожденных качествах и характеристиках базируется моральный или аморальный характер, принятый и конвенционализированный группой?

Какая связь и какой разрыв существуют между ментальными и моральными качествами в группах и в образующих их индивидах?

Обладают ли преступники, как правило, интеллектом низшего порядка, нежели не преступники? Если да, то какие типы интеллекта связываются с разными видами преступлений? Например, представляют ли профессиональные воры-домошники и профессиональные мошенники разные ментальные типы?

Как влияют на эти разные типы изоляция и мобильность, стимул и репрессия?

В какой степени игровые площадки и другие формы досуга могут производить стимуляцию, которой в иных случаях ищут в порочных удовольствиях?

Насколько профессиональная ориентация может помочь индивидам найти занятия, в которых они могли бы достичь свободного выражения качеств своего темперамента?

**Моральный регион.** Индивиды, ищущие одних форм возбуждения, будь то доставляемое скачками или большой оперой, неизбежно оказываются время от времени в одних и тех же местах. В результате этого в организации, которую самопроизвольно принимает городская жизнь, манифестирует себя склонность населе-

---

\* Цит. в переводе В.А. Жуковского по электронному источнику: [http://literator.ucoz.ru/publ/tomas\\_grej\\_ehlegija\\_napisannaja\\_na\\_selskom\\_kladbishhe\\_elegy\\_written\\_in\\_a\\_country\\_church\\_yard/7-1-0-132](http://literator.ucoz.ru/publ/tomas_grej_ehlegija_napisannaja_na_selskom_kladbishhe_elegy_written_in_a_country_church_yard/7-1-0-132)

ния сегрегироваться не просто в соответствии со своими интересами, но и в соответствии со своими вкусами или темпераментами. Возникающее в итоге распределение населения будет, по всей видимости, совершенно отличным от того, которое порождается профессиональными интересами или экономическими условиями.

Подвергаясь влияниям, распределяющим и сегрегирующим городские населения, каждое соседство может принять характер «морального региона». Таковы, например, районы порока, находящиеся в большинстве городов. Моральный регион — обязательно место жительства. Это может быть просто место встреч или место сбора.

Чтобы понять силы, стремящиеся в каждом крупном городе развить эти обособленные *milieus*, в которых блуждающие и подавленные импульсы, страсти и идеалы освобождаются от оков господствующего морального порядка, необходимо обратиться к факту или теории скрытых человеческих импульсов.

Похоже, дело обстоит так, что люди входят в мир со всеми страстями, инстинктами и аппетитами, неконтролируемыми и необузданными. В интересах общего благополучия цивилизация требует иногда подавления этих диких природных склонностей, но всегда контроля над ними. В процессе навязывания индивиду своей дисциплины и переделки его в соответствии с принятым в сообществе образцом многое целиком подавляется, но еще больше находит косвенное выражение в формах, которые являются социально ценными или, по крайней мере, безобидными. Именно здесь реализуется функция спорта, игры и искусства. Они позволяют индивиду очиститься посредством символического выражения этих диких и подавленных импульсов. Это тот самый катарсис, о котором писал в своей «Поэтике» Аристотель и которому было придано новое, более позитивное значение в исследованиях Зигмунда Фрейда и психоаналитиков<sup>1</sup>.

Многие другие социальные феномены, такие как забастовки, войны, всеобщие выборы и религиозные возрождения, несомненно, выполняют схожую функцию, т.е. высвобождают подсознательные напряжения. Однако в меньших по размеру сообществах, где социальные отношения являются более близкими, а запреты более императивны, есть много исключительных индивидов, не находящихся в пределах коммунальной активности нормального и здорового выражения своим особым склонностям и темпераментам.

Причины, порождающие то, что здесь описывается как «моральные регионы», состоят отчасти в ограничениях, навязываемых городской жизнью, а отчасти во вседозволенности, которую эти же

---

<sup>1</sup> См. «Толкование сновидений» д-ра Зигмунда Фрейда.

самые условия предлагают. До последнего времени мы уделяли много внимания соблазнам городской жизни, но не уделили того же внимания последствиям сдерживания и подавления естественных импульсов и инстинктов в изменившихся условиях метropolной жизни. Прежде всего, дети, считающиеся в сельской местности активом, становятся в городе обузой. Кроме того, в городе гораздо труднее поднимать семью, чем на ферме. В городе брак заключается позже, а иногда и вовсе не заключается. Эти факты имеют последствия, значимость которых мы до сих пор неспособны в полной мере оценить.

Исследование заключенных здесь проблем хорошо было бы начать с изучения и сравнения характерных типов социальной организации, существующих в данных регионах.

Какие внешние факты, относящиеся к жизни в Богемии, Полумире, Районе красных фонарей и других «моральных регионах», выражены менее заметно?

Какого рода занятия соединяются с обыденной жизнью этих регионов? Какие характерные ментальные типы притягивает предлагаемая ими свобода?

Как индивиды попадают в эти регионы? Как они ускользают из них?

В какой степени эти регионы являются продуктом попустительства, а в какой обусловлены ограничениями, навязываемыми естественному человеку городской жизнью?

***Темперамент и социальное заражение.*** Особую важность сегрегации бедных, порочных, преступников и необычных людей вообще, характерной для городской жизни, придает тот факт, что социальное заражение стимулирует в расходящихся типах развитие общих отличий темперамента и подавляет черты, объединяющие их с нормальными типами, которые их окружают. Ассоциация с другими такими же, как они, дает не просто стимул, но и моральную поддержку тем чертам, которые их роднят и которых они не нашли бы в менее отборном обществе. Бедные, порочные и делинквенты, оказываясь в большом городе в нездоровой и заразной близости, плодятся душой и телом, и мне часто казалось, что длинные генеалогии Джуксов и Племен Исмаила не проявляли бы такого устойчивого и прискорбного единообразия порока, преступности и бедности, если бы не были специфически приспособлены к среде, в которой им было суждено существовать.

Следовательно, мы должны принять эти «моральные регионы» и тех более или менее эксцентричных и исключительных людей,

которые их, по меньшей мере в каком-то смысле, населяют, как часть естественной, если не нормальной, жизни города.

Под выражением «моральный регион» не нужно понимать место или общество, непременно являющееся криминальным или ненормальным. Скорее его надо применять к регионам, в которых преобладают разные моральные кодексы, ибо речь в каждом случае идет о регионе, где над людьми, его населяющими, господствует так, как обычно над ними не господствует, какой-то вкус, какая-то страсть или какой-то интерес, напрямую укорененные в изначальной природе индивида. Это может быть искусство (например, музыка) или спорт (например, скачки). Такой регион отличается от других социальных групп тем, что его интересы более непосредственны и фундаментальны. По этой причине его отличия чаще всего обусловлены моральной, а не интеллектуальной изоляцией.

Ввиду тех возможностей, которые предлагает большой город, особенно исключительным и аномальным типам человека, он обычно развертывает во всей красе и буквально выставляет напоказ все те качества и черты, которые обычно скрыты и подавлены в меньших по размеру сообществах. Короче говоря, город показывает в преувеличенном виде добро и зло в человеческой природе. Наверное, это более чем что-либо оправдывает взгляд, делающий город лабораторией или клиникой, в которой удобнее и плодотворнее всего изучать человеческую природу и социальные процессы.

## ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА И КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ\*

Недавние попытки применить в исследовании человеческого поведения методы, ранее использовавшиеся для изучения поведения животных, глубоко повлияли на точку зрения не только психологии, но также социальной психологии и социологии. Психология, став объективной — иначе говоря, бихевиористской, — вывела на передний план так называемую внешнюю реакцию. В связи с этим сознание либо вообще оказалось выведено за пределы рассмотрения, либо было низведено до уровня случайного звена в цикле событий, который начинается с физиологических рефлексов и завершается актом (Терстоун называет его «психологическим актом»<sup>1</sup>).

Исследователи поведения животных занимаются в своих лабораториях, по сути дела, тем, что помещают животных в экспериментальные условия, а затем подталкивают их к нужному действию. Мышь, помещенная в лабиринт, пытается найти из него выход. Скромного дождевого червя, которого, как сообщалось в одной местной газете, пытался обучить некий гарвардский профессор, побуждали голодом и близостью пищи найти простейший и наименее мучительный путь к ее получению. В таких условиях животное в каждом конкретном случае реагировало не на отдель-

---

\* *Park R.E. Human nature and collective behavior // Park R.E. Society, collective behavior, news and opinion, sociology and modern society. — Glencoe (IL): Free press, 1955. — P. 13–21. Статья впервые опубликована на немецком языке в: Zeitschrift für Völkerpsychologie u. Soziologie. — В., 1926. — Bd. 2, Н. 3. — S. 209–223. Первая публикация на английском языке: American j. of sociology. — Chicago, 1927. — Vol. 32, N 5. — P. 695–703. Перевод впервые опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ/ РАН. ИНИОН. — М., 1997. — № 4. — С. 126–135. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.*

<sup>1</sup> *Thurstone L.L. The nature of intelligence. — N.Y.: Harcourt Brace, 1924.*

ный стимул, а на ситуацию; реакция же была не реакцией какого-то отдельного рефлекса или инстинкта, а реакцией организма в целом. Другими словами, ответом на ситуацию является не реакция в собственном смысле слова, а, если нам позволят провести такое различие, акт. Реакция предполагает существование рефлекса, привычки, условного рефлекса или паттерна, в которых ответ на стимул уже предопределен. Акт, в свою очередь, предполагает новую настройку, координацию и интеграцию существующего физиологического механизма.

Организм отличается от простой агрегации индивидов или частей способностью к слаженному действию, т.е. предрасположенностью частей действовать при определенных условиях как единое целое. Структура организма, унаследованная или приобретенная, облегчает такое согласованное действие. К социальному организму это относится в такой же степени, как и к биологическому. Фундаментальные различия между организмами – качество, позволяющее нам расставлять их в прогрессивные ряды, – определяются разными степенями, в которых образующие их части интегрированы и организованы для осуществления корпоративного действия. Следовательно, организм, в отличие от простого скопления его частей, конституируется, согласно Чайлду, паттерном действия (action-pattern), контролирующим и координирующим реакцию частей так, что поведение организма приобретает характер акта.

«Мы говорим об организмах как об индивидуумах, имея в виду, что каждый организм представляет более или менее определенные и дискретные порядок и единство, иными словами, паттерн, который не только определяет его структуру и связи между его частями, но и позволяет ему действовать в отношении окружающего мира как единое целое... Организмическое поведение, следовательно, есть поведение организма в целом, в отличие от поведения отдельных его частей... С другой стороны, интеграция поведения не ограничивается индивидуальным организмом. Организмы могут интегрироваться в социальные группы различных типов и размеров, и в таких группах поведение образующих их индивидов более или менее интегрировано в социальное поведение группы»<sup>1</sup>.

В целом социальная группа ведет себя подобно организму, а различия между группами можно описать через паттерны действия, определяющие поведение каждой из них. Фундаментальное различие между городом и деревней с точки зрения социологии

---

<sup>1</sup> Child C.M. *Physiological foundations of behavior*. – N.Y.: Holt, 1924.

заключается не просто в размере этих агрегатов или в численности составляющих их индивидов, а в той степени, в какой эти разные агрегаты интегрированы и организованы для согласованного действия. Отсюда следует, что при изучении социальной группы, как и при изучении биологического организма, точкой отсчета является, собственно говоря, не структура, а деятельность. Характер общества сообществу придает не его структура, а его способность к согласованному действию.

Способность к корпоративному действию, разумеется, облегчается структурой, но от самой нее она не зависит. Толпа становится обществом не просто потому, что группа лиц собралась в данный момент времени в каком-то конкретном месте, а в силу того, что эта агрегация индивидов способна к действию. В толпе действие может происходить при минимальной организации или вообще без всякой организации, за исключением той, которую Лебон назвал «психологической организацией».

Действие первично; но в результате действия создается паттерн действия. Этот паттерн действия, как можно заметить на примере толпы, часто бывает крайне хрупким и эфемерным и может существовать без сколько-нибудь четко определенной организации. Постоянство паттерна действия зависит вместе с тем от наличия структуры, разделения труда и некоторой степени специализации составляющих группу индивидов. Когда роль индивидов в действии группы фиксируется в привычке, и особенно когда роли разных индивидов и их специальные функции получают признание в обычае и традиции, социальная организация выходит на новый уровень стабильности и постоянства, который обеспечивает возможность ее передачи следующим поколениям. Тем самым жизнь сообщества и общества может выйти за временные границы жизни составляющих его индивидов.

Все виды институтов и социальных структур могут рассматриваться как продукты коллективного действия. Война, голод, революция, борьба с внешним врагом и против внутренней дезорганизации — любые обычные проблемы жизни сообществ и коллективов, требующие коллективного действия, — могут создавать социальный паттерн, который за счет повторения закрепляется в привычках и в конце концов институционализируется в обычаях и традициях.

Взятые в аспекте индивидуального организма или индивидуального члена сообщества, это функционирование социальной группы и эта эволюция общества и институтов проявляют себя как реакция, аккомодация и в конечном счете биологическая адапта-



ция индивида к хабитату, т.е. к физической среде и социальному окружению. В этом хабитате индивид с течением времени становится персоной и, возможно, гражданином.

Те же силы, которые сообща создают характерную социальную организацию и принятый моральный порядок данного общества или социальной группы, определяют одновременно, в большей или меньшей степени, характер составляющих это общество индивидов. Индивид наследует от своих предшественников и от длинного ряда своих животных предков определенные возможности, которые в разной форме реализуются в процессе его ассоциации с другими людьми, особенно в период детства и отрочества. В какой степени реально осуществляются эти возможности и какие конкретные формы в итоге они примут, определяется не просто общими условиями, которые каждое общество и каждое социальное окружение навязывают своим членам, но еще больше тем, насколько в данном обществе развилось разделение труда. Именно разделение труда, помимо прочего, определяет степень зависимости индивида от социальной организации, членом которой он является, и степень его инкорпорации в нее.

Еще Адам Смит признавал, что наиболее разительные различия между индивидами обусловлены разделением труда. Это не значит, что данные различия не были внутренне заложены в самих индивидах, существуя в качестве возможностей, однако развились они благодаря разделению труда и той дисциплине, которой общество требует от своих членов.

«Различные люди отличаются друг от друга своими естественными способностями гораздо меньше, чем мы предполагаем, и само различие способностей, которыми отличаются они в своем зрелом возрасте, во многих случаях является не столько причиной, сколько следствием разделения труда. Различие между самыми несхожими характерами, между ученым и простым уличным носильщиком, например, создается, по-видимому, не столько природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием. Во время своего появления на свет и в течение первых шести или восьми лет своей жизни они были очень похожи друг на друга, и ни их родители, ни сверстники не могли заметить сколько-нибудь заметного различия между ними. В этом возрасте или немного позже их начинают приучать к различным занятиям. И тогда становится заметным различие способностей, которое делается постепенно все больше, пока, наконец, тщеславие ученого отказывается признавать хотя бы и тень сходства между ними. Но не будь склонности к торгу и обмену, каждому человеку приходилось бы самому добывать для себя все необходимое для жизни. Всем приходилось бы выполнять одни

и те же обязанности, производить одну и ту же работу, и не существовало бы тогда такого разнообразия занятий, которое и породило значительное различие в способностях...

Так как возможность обмена ведет к разделению труда, то степень последнего всегда должна ограничиваться пределами этой возможности, или, другими словами, размерами рынка... Существуют профессии, даже самые простые, которыми можно заниматься только в большом городе»<sup>1</sup>.

Человеческое общество между тем характеризуется прежде всего не разделением труда, а фактом социального контроля. Иначе говоря, наиболее отличительные свойства человеческой природе и человеческому обществу придают не неосознанные конкуренция и кооперация индивидов в пределах человеческой среды обитания, а скорее сознательное участие в общей задаче и общей жизни, становящееся возможным благодаря речи и существованию фонда общих символов и значений. У низших животных нет ни слов, ни символов; для них не существует ничего, что было бы, в нашем смысле, наделено значением. У низших животных, если воспользоваться термином Дюркгейма, отсутствуют «коллективные представления». Они не организуют шествий и не носят знамен; они поют и иногда, говорят, даже танцуют, но никогда не отмечают праздников; они приобретают привычки, которые иногда передаются как своего рода социальная традиция, но у них нет обычаев, и для них нет ничего священного или законного. Но прежде всего животные естественны и наивны и не заботятся, в отличие от людей, о своих репутациях и своем поведении. Им чужды моральные сомнения. Как пишет Уолт Уитмен, «они не мучаются и не жалуются на свою долю. Не проводят бессонных ночей, оплакивая свои грехи». И «на всей земле не сыскать такого, которое было бы благовоспитанным или несчастным».

Но именно этот тип поведения — нагоняющий на Уолта Уитмена, по его словам, такую «тоску», что он подумывает, не вернуться ли к животным, не поселиться ли с ними, «такими безмятежными и самодостаточными», — наиболее характерен для человеческой природы и человеческого поведения. Ибо человек — такое существо, что если уж живет, то живет в своем воображении и, через свое воображение, в умах других людей, которые делают с

---

<sup>1</sup> *Smith A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.* — Вк. 1, ch. 2. (Цит. по изданию: *Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.* — М.: Эксмо, 2007. — С. 77–78.)

ним не только общую территорию, но и общие надежды и грезы. Благодаря внушению, подражанию, выражениям симпатии и антипатии люди вторгаются в жизни друг друга и соучаствуют в общих попытках направлять, контролировать и выражать свои противоречивые импульсы.

В человеческом обществе каждый акт каждого индивида стремится стать жестом, ибо то, что человек делает, всегда указывает на то, что он намеревается сделать. Благодаря этому индивид в обществе ведет более или менее публичное существование, в котором все его акты предвосхищаются, контролируются, сдерживаются или модифицируются жестами и интенциями других. Именно в этом социальном конфликте, в котором каждый индивид живет в той или иной степени в разуме каждого другого, человеческая природа и индивид могут приобретать свои наиболее характерные, наиболее человеческие черты.

Как я уже однажды говорил, слово «персона» в первом своем значении обозначает маску, и, вероятно, это не просто историческая случайность. Скорее, это признание того факта, что каждый всегда и везде более или менее осознанно играет роль. Мы родители и дети, господа и слуги, учителя и ученики, клиенты и профессионалы, язычники и евреи. Именно в этих ролях мы знаем друг друга; и именно в этих ролях мы знаем самих себя<sup>1</sup>.

Единственное, что отличает человека от низших животных, — это наличие у него представления о самом себе и то, что он, однажды определив свою роль, стремится жить в соответствии с ней. Он не просто действует; он «примеряет» на себя роль, совершенно спонтанно принимая все манеры и установки, которые, по его мнению, ей соответствуют. Довольно часто оказывается, что он не подходит для той роли, которую решил играть. Во всяком случае, каждому из нас приходится прилагать усилия, чтобы сохранять принятые установки; и делать это становится крайне трудно, если мир отказывается принять нас такими, какими мы сами себя считаем. Будучи актерами, мы осознанно или неосознанно ищем признания, и если мы его не находим, то это становится для нас по меньшей мере угнетающим, а часто и душераздирающим опытом. Это одна из причин, по которой мы в конце концов подстраиваемся под принятые образцы и воспринимаем себя через призму того или иного конвенционального паттерна.

---

<sup>1</sup> *Park R.E. Behind our masks // Survey graphic. — N.Y., 1926. — Vol. 9. — P. 135–139.*

В силу этого мы неизбежно ведем двойное существование. У нас есть частная и публичная жизнь. Пытаясь жить в соответствии с принятой ролью, которую общество нам навязало, мы пребываем в постоянном конфликте с самими собой. Вместо того чтобы действовать просто и естественно, подобно ребенку, отвечающему на каждый естественный импульс, как только он поступает, мы пытаемся соответствовать принятым образцам и воспринимаем себя в рамках какого-нибудь из конвенциональных, социально принятых паттернов. Пытаясь соответствовать, мы сдерживаем свои непосредственные и спонтанные импульсы и действуем не так, как порываемся действовать, а так, как нам кажется уместным и подобающим случаю (*occasion*).

В этих обстоятельствах наши манеры, наши вежливые речи и жесты, наше конвенциональное и подобающее поведение приобретают характер маски. Сами наши лица – живые маски, в которых, разумеется, отражаются переменчивые эмоции нашей внутренней жизни, но которые все больше стремятся соответствовать тому типу, который мы пытаемся олицетворять. Не только у каждой расы, но и у каждой национальности есть свое характерное «лицо», своя конвенциональная маска. Как отмечает в *«Английских чертах»* Эмерсон, «каждая религиозная секта имеет свой облик. У методистов сложилось свое лицо, у квакеров – свое, у монахинь – свое. Англичанин распознает сектанта по особым манерам. Занятия и профессии запечатлевают свои линии в лицах и формах».

В каком-то смысле и в той мере, в какой эта маска выражает наше представление о самих себе, т.е. роль, которой мы в жизни стремимся соответствовать, эта маска есть наше «более подлинное Я», то Я, которым нам хотелось бы быть. Как бы то ни было, в конце концов наша маска становится неотъемлемой частью нашей личности, нашей второй натурой. Мы приходим в мир как индивиды, вырабатываем характер и становимся персонами.

Человеческое поведение, насколько оно отлично от поведения низших животных, является осознанным и конвенциональным – короче говоря, социально контролируемым. Поведение, которое контролируется подобным образом, можно назвать действием (*conduct*), т.е. поведением морально санкционированным и субъективно обусловленным. Эта субъективность, столь характерная для человеческой природы, есть одновременно и условие, и продукт коллективной жизни. Поскольку действие субъективно, его невозможно адекватно описать в физиологических терминах, на чем настаивает секта ортодоксальных бихевиористов. Поскольку

оно социально, его нельзя описать и в категориях индивидуального поведения; поэтому психология, поскольку она имеет дело с персонами и личностью, неизбежно становится социальной психологией. Мотивы, заставляющие человека покончить жизнь самоубийством, написать стихи или пойти на войну, часто бывают результатом долгого и мучительного конфликта. Акты, в которых они находят свое завершение, имеют, стало быть, предшествующую историю, и если мы хотим понять эти акты, эту историю необходимо знать. Это касается не только большинства внешних актов, но также индивидуальных мнений, религиозных убеждений и политических доктрин. Мнения, убеждения и доктрины становятся доступными нашему пониманию лишь тогда, когда мы знаем их историю, иначе говоря, когда нам известны переживания, из которых они возникли. История и биография существуют не только для того, чтобы протоколировать внешние акты, но и для того, чтобы сделать их понятными.

Все мы не просто прямо или косвенно участвуем в формировании сознаний и определении внешних актов других людей; само стремление к участию в общей жизни, как то желание симпатии, признания, понимания, есть одна из фундаментальнейших черт человеческой природы. Как история в значительной мере является летописью борьбы наций и народов за престиж и статус в международном обществе, точно так же и более неказистые и словоохотливые провинциальные хроники, публикуемые в местной газете, являются в значительной мере летописью конфликтов между индивидами, стремящимися завоевать место и положение в племени, клане, соседском кругу или домохозяйстве.

Человеческие действия, чтобы стать понятными, должны быть истолкованы, и поэтому документы — человеческие документы — важнее для изучения человеческой природы, чем статистические или формальные факты. Документы ценны не потому только, что в них описываются какие-то события, но и потому, что они проливают свет на мотивы, т.е. субъективные аспекты событий и актов, в которых человеческая природа себя проявляет. Не только события, но и институты становятся понятными, когда мы знаем их истории, особенно если нам известны индивидуальные опыты, в которых они берут свое начало и на которых они в конечном счете покоятся.

Наиболее ценен, разумеется, такой документ, которому свойственны наибольшая выразительность и откровенность; и это, в общем-то, жизненная история (life-history), в том смысле, в каком

определили этот термин Томас и Знанецкий в монументальном исследовании *«Польский крестьянин в Европе и Америке»*<sup>1</sup>.

Если ограничивать исследования человеческой природы одной только внешней реакцией, в бихевиористском ее определении, нецелесообразно и нежелательно, то сама попытка подойти к изучению человеческой природы объективно была для социологии и социальной психологии в любом случае благотворной, поскольку направила внимание не на физиологическую реакцию, а на психологический акт, сделав именно его единицей исследования и анализа. Ведь общество, как и умственная жизнь, рождается не просто в попытках индивидов действовать, но в их попытках действовать коллективно.

С этой точки зрения моральные баталии индивидов и политические конфликты наций оказываются лишь эпизодами в процессах, посредством которых общество и социальные группы интегрируют и организуют образующие их индивидуальные единицы и мобилизуют их на коллективное действие. Кроме того, если индивидуальную персону можно понимать в каком-то смысле как продукт индивидуальных актов, то социальные институты можно рассматривать как продукт коллективных действий. И если обычай группы можно считать объективным аспектом привычки индивида, то индивидуальную нравственность можно трактовать как субъективный аспект организации и морального состояния группы.

---

<sup>1</sup> Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America: Monograph of an immigrant group: In 5 vol. — Boston: Badger, 1918.

## ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО КАК ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И МОРАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК\*

Около тридцати лет назад профессор Эугениус Варминг из Копенгагена опубликовал небольшую книжку *«Растительные сообщества»* (Plantesamfund). Наблюдения Варминга привлекли внимание к тому факту, что разные виды растений склонны образовывать постоянные группы, которые были названы сообществами. Оказалось, что растительные сообщества проявляют много черт, роднящих их с живыми организмами. Они складываются постепенно, проходят в своем развитии через определенные характерные стадии и под конец разрушаются, уступая место другим сообществам, очень отличным от них. Эти наблюдения стали отправной точкой для целого ряда исследований, пользующихся с тех пор известностью как «Экология».

Экология – в той мере, в какой она пытается описать действительное распределение растений и животных на земной поверхности, – является в совершенно реальном смысле географической наукой. Человеческая экология, как предпочитают называть эту науку социологи, не тождественна, однако, ни географии, ни даже человеческой географии. Не отдельный человек, а сообщество; не

---

\* Park R.E. The urban community as a spatial pattern and a moral order // Park R.E. Human communities: The city and human ecology. – Glencoe (IL): Free press, 1952. – P. 165–177. Впервые статья была опубликована под другим названием: The concept of position in sociology // Publications of the American sociological society. – Chicago, 1925. – Vol. 20. – P. 1–14. Под настоящим названием она позднее вошла в сборник: The urban community / Ed. by E.W. Burgess. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1926. – P. 3–20. Перевод впервые опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 2000. – № 3. – С. 136–150. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.

связь человека с землей, на которой он обитает, а связь его с другими людьми – вот что прежде всего нас интересует.

В пределах каждого естественного ареала распределение популяции имеет тенденцию принимать определенные и типичные конфигурации. Каждая локальная группа являет взору более или менее определенную констелляцию образующих ее индивидуальных единиц. Форма, которую эта констелляция принимает, или, иначе говоря, положение каждого индивида в сообществе по отношению к любому другому индивиду, поскольку его можно описать в общих терминах, образует то, что Дюркгейм и его школа называют морфологическим аспектом общества<sup>1</sup>.

Человеческая экология, как ее понимают социологи, стремится вынести на передний план не столько географию, сколько пространство. В обществе мы живем не только вместе, но в то же время по отдельности, и человеческие отношения всегда можно рассмотреть с большей или меньшей точностью в терминах дистанции. Поскольку социальную структуру можно определить через позиции, то социальные изменения могут быть описаны в терминах движения; и общество в одном из своих аспектов проявляет свойства, которые можно измерить и описать в математических формулах.

Локальные сообщества можно сравнивать с точки зрения ареалов, которые они занимают, и с точки зрения относительной плотности населения в этих ареалах. Сообщества не являются, однако, простыми скоплениями населения. Города, а особенно крупные города, где отбор и сегрегация населения зашли наиболее далеко, проявляют ряд морфологических свойств, не встречающихся в меньших по размеру популяционных агрегатах.

Одним из сопутствующих размеру свойств является разнообразность. При прочих равных условиях, более крупное сообщество будет иметь более широкое разделение труда. Проведенное несколько лет назад исследование имен выдающихся людей, перечисленных в справочнике *«Who's Who»*, показало, что в одном крупном городе (Чикаго) было, помимо 509 родов занятий, приве-

---

<sup>1</sup> Географов, вероятно, мало интересует социальная морфология как таковая. Социологов, в свою очередь, она очень интересует. Географов, как и историков, традиционно интересует больше действительное, чем типическое. Где действительно располагаются вещи? Что действительно произошло? Вот вопросы, на которые пытаются ответить география и история. См. *«Введение в географическую историю»* Люсьена Февра.



денных в каталоге переписи, еще 116 других родов занятий, классифицируемых как профессии. Число профессий, требующих для практической работы специальной и научной подготовки, есть показатель и критерий интеллектуальной жизни сообщества. Ибо интеллектуальная жизнь сообщества измеряется не только общим уровнем познаний среднего гражданина и даже не только средним для сообщества коэффициентом интеллекта, но и тем, в какой степени для решения проблем сообщества, таких, например, как здравоохранение, промышленность и социальный контроль, применяются рациональные методы.

Одна из причин, по которым города всегда были центрами интеллектуальной жизни, состоит в том, что они делали не только возможной, но и обязательной индивидуализацию и диверсификацию задач. Только когда каждый индивид обретает право и становится вынужденным сосредоточиться на какой-то ограниченной области общего человеческого опыта, только когда он приучается концентрировать свои усилия на каком-то небольшом сегменте общей задачи, может поддерживаться та обширная кооперация, которой требует цивилизация.

В интересном и богатом идеями докладе, прочитанном в 1922 г. на собрании Американского социологического общества в Вашингтоне, профессор Бёрджесс коротко описал процессы, заключенные в росте городов. Обычно рост городов описывался через расширение территории и численный рост населения. Сам город отождествлялся с административным ареалом, населенным пунктом; но город, который нас здесь интересует, — не официальная административная единица. Скорее это продукт естественных сил, расширяющий свои границы вовне более или менее независимо от тех пределов, которые навязываются ему в политических и административных целях. Это стало настолько признанным фактом, что в любом основательном исследовании города, рассматривается ли он как экономическая или социальная единица, теперь считается необходимым ориентироваться на естественные, а не на официальные городские границы. Так, в исследованиях г. Нью-Йорка, проводимых градопланировщиками по заказу Russell Sage Foundation, Нью-Йорк охватывает территорию площадью 5500 кв. миль; сюда включено около сотни меньших административных единиц, городов и деревень с совокупным населением 9 млн. человек.

Мы думали, что рост городов происходит за счет простой агрегации. Но увеличение населения в любой точке городского ареала неизбежно отражается и ощущается во всех других частях

города. Степень, в которой такое увеличение населения в одной части города сказывается на любой другой, зависит во многом от состояния местной транспортной системы. Каждое расширение транспортной системы и умножение транспортных средств, связывающих периферию города с центром, обычно ведет к тому, что в центральный деловой район ездит больше людей и они ездят туда чаще. Это увеличивает скученность населения в центре; в конечном счете это увеличивает высоту офисных зданий и цены на землю, на которой эти здания стоят. Влияние цен на землю в деловом центре расходится из этой точки круговыми волнами во все части города. Если цены на землю в центре быстро растут, это увеличивает радиус прилегающей территории, которая придерживается для спекулятивных целей. Недвижимость, удерживаемая с целью спекуляции, обычно доводится до обветшания. Она легко приобретает характер трущобы, т.е. ареала случайного и непостоянного населения, грязи и запущенности, «благотворительных миссий и потерянных душ». Эти запущенные и иногда полностью заброшенные районы становятся местами первого поселения иммигрантов. Здесь располагаются наши гетто и иногда наши богемные кварталы, или «гринвичские деревни», где художники и радикалы ищут прибежища от фундаментализма и ротарианской буржуазности, да и вообще от всяких ограничений и притеснений мещанского мира. Каждый крупный город обычно имеет свою «гринвичскую деревню», так же как и свой Уолл-стрит.

Рост города заключает в себе не просто прибавление численности, но и все те изменения и движения, которые неизбежно сопряжены с попытками каждого индивида найти себе место в обширных хитросплетениях городской жизни. Рост новых районов, увеличение числа профессий и занятий, рост цен на землю, вызываемый расширением города, — все это включено в процессы роста города и может быть измерено через изменение положения индивидов по отношению к другим индивидам и сообществу в целом. Цены на землю, например, можно рассчитать через мобильность населения. Самые высокие цены на землю существуют в тех точках, через которые в течение 24 часов проходит наибольшее количество людей.

Сообщество, в отличие от индивидов, которые его составляют, имеет неопределенную протяженность жизни. Мы знаем, что сообщества рождаются, расширяются, расцветают на какое-то время, а затем приходят в упадок. Для человеческих обществ это так же верно, как для растительных. Нам до сих пор неизвестен

сколько-нибудь точно ритм этих изменений. Мы знаем, что в потоке времени сообщество переживает составляющих его индивидов. И это одна из причин, по-видимому, неизбежного и постоянного конфликта интересов индивида с интересами сообщества. В частности, именно поэтому в растущем городе поддержание общественного порядка обходится дороже, чем в городе, находящемся в состоянии застоя или упадка.

Каждое новое поколение должно научиться приноравливаться к порядку, который определяют и поддерживают главным образом старшие. Каждое общество навязывает своим членам какой-то род дисциплины. Индивиды растут, включаются в жизнь сообщества, в конечном счете выпадают из нее и исчезают. Сообщество же вместе с моральным порядком, который оно в себе воплощает, продолжает жить дальше. Следовательно, жизнь сообщества включает в себе своего рода метаболизм. Оно постоянно вбирает новых индивидов и столь же регулярно, по факту смерти или иным образом, отторгает старых. Но ассимиляция отнюдь не простой процесс; и, прежде всего, она требует времени.

Ассимиляция коренных уроженцев – вполне реальная проблема. Это проблема воспитания детей в семьях и подростков в школах. Но ассимиляция взрослых мигрантов, нахождение для них мест в организации сообщества – проблема куда более серьезная. Это проблема обучения взрослых, которой мы только в последние годы стали заниматься с действительным пониманием ее значимости.

Есть еще один аспект этой ситуации, на который мы до сих пор почти не обращали внимания. Сообщества, в которых рост населения достигается за счет превышения рождаемости над смертностью, и сообщества, население которых растет за счет иммиграции, проявляют значительные различия. Там, где рост обусловлен иммиграцией, социальное изменение с необходимостью протекает быстрее и оказывается более глубоким. В первую очередь, быстрее растут цены на землю; замена зданий и техники, движение населения, изменения в занятости, рост благосостояния, радикальные изменения в социальном положении – все происходит быстрее. В общем и целом, общество приближается к тем условиям, которые в настоящее время признаются характерными для фронта.

В обществе, в котором происходят масштабные и быстрые изменения, возрастает потребность в общественном просвещении такого рода, которого мы обычно достигаем с помощью прессы, дискуссии и разговора. С другой стороны, поскольку личные наблюдения и традиция, на которых базируются в конечном счете

здравомыслие и более систематические исследования науки, не могут угнаться за изменениями в условиях жизни, появляется то, что Огборн назвал феноменом «культурного отставания». Наши политические познания и здравый смысл отстают от действительных изменений, происходящих в нашей общей жизни. Результатом, по-видимому, становится то, что публика чувствует себя плывущей по течению, и в то время как число законодательных актов все более растет, действительный контроль неудержимо падает. По мере того как публика сознает тщетность законодательных установлений, рождается спрос на более решительные действия, выраженные в аморфных массовых движениях, а нередко и вовсе в простых и грубых бесчинствах толпы. Пример: линчевания в южных штатах и расовые волнения на Севере.

Поскольку эти беспорядки никак не связаны с движениями населения — а недавние исследования расовых бунтов и линчеваний показывают, что так оно и есть, — изучение того, что мы называли социальным метаболизмом, может дать если не объяснение, то хотя бы показатель феномена расовых волнений.

Одним из побочных результатов роста сообщества являются социальный отбор и сегрегация населения, а также создание, с одной стороны, естественных социальных групп и, с другой стороны, естественных социальных ареалов. Этот процесс сегрегации мы осознали на примере иммигрантов, и особенно на примере так называемых исторических рас, т.е. народов, которые — независимо от того, иммигранты они или нет, — отличаются от всех других расовыми признаками. Чайнатауны, Маленькие Сицилии и прочие так называемые «гетто», с которыми хорошо знакомы исследователи городской жизни, представляют собой особые разновидности более общего типа естественных ареалов, которые неизбежно создаются условиями и тенденциями жизни города.

Такие сегрегации населения возникают, во-первых, на основе языка и культуры и, во-вторых, на основе расы. Внутри этих иммигрантских колоний и расовых гетто вместе с тем неизбежно происходят другие процессы отбора, порождающие сегрегацию, основанную на профессиональных интересах, интеллекте и личных амбициях. В результате более прозорливые, энергичные и амбициозные люди быстро покидают свои иммигрантские колонии и гетто и переезжают в ареал второго иммигрантского поселения или, возможно, в космополитический район, где встречаются и проживают бок о бок члены нескольких иммигрантских и расовых групп. По мере того как узлы расы, языка и культуры все больше и

больше ослабевают, удачливые индивиды выходят в люди и в конце концов находят себе места в бизнесе или каких-то профессиях, растворяясь в старейшей популяционной группе, переставшей отождествляться с каким-либо языком или расовой группой. Очень важно, что перемена занятий, личный успех или неудача — короче говоря, изменения в экономическом и социальном статусе — обычно фиксируются в изменениях местоположения. Физическая, или экологическая, организация сообщества в долговременной перспективе реагирует на профессиональную и культурную организацию и становится ее отражением. Социальный отбор и сегрегация, создающие естественные группы, определяют в то же время и естественные ареалы города.

Современный город в одном важном аспекте отличается от древнего. Древний город вырастал вокруг крепости, современный же рос вокруг рынка. Древний был центром региона, являвшегося относительно самодостаточным. Товары, которые в нем производились, предназначались главным образом для внутреннего потребления, а не для торговли за пределами локального сообщества. В свою очередь, современный город — это обычно центр региона с высокоспециализированным производством, имеющим соответствующую широко простирающуюся торговую зону. В этих условиях общие очертания современного города определяются (1) локальной географией и (2) путями транспортных перевозок.

Локальная география, преобразованная железными дорогами и другими основными средствами транспорта, которые неизменно связаны с крупными предприятиями, определяет общие контуры городской планировки. Но эти общие контуры обычно дополняются и преобразуются еще одним, иным по типу распределением населения и институтов, центром которого становится центральный район розничной торговли. Внутри центрального района города разные формы бизнеса, магазины, отели, театры, дома оптовой торговли, офисные здания и банки обычно складываются в определенные и характерные конфигурации, как если бы положение каждой формы бизнеса и каждого типа здания в этом ареале было в какой-то степени фиксированным и определялось их соотношениями со всеми другими.

Точно так же на окраине города промышленные и жилые пригороды, спальные поселки и города-спутники словно как-то естественно и неизбежно находят предназначенные им места. В пределах территории, ограниченной с одной стороны центральным деловым районом, а с другой — пригородами, город стремится

принять форму ряда концентрических кругов. Для разных районов, расположенных на разных относительных расстояниях от центра, характерны разные уровни мобильности населения.

Ареалом наивысшей мобильности, т.е. движения и изменения населения, является, естественно, сам деловой центр. Здесь расположены гостиницы, места проживания временных постояльцев. Если не учитывать немногих постоянных обитателей этих гостиниц, деловой центр, который и есть город *par excellence*, каждую ночь пустеет и каждое утро вновь наполняется людьми. За пределами сити, этого «города» в узком смысле слова, находятся трущобы, места обитания поденных рабочих и бродяг. На окраине трущоб, скорее всего, будут находиться районы, уже пребывающие в процессе обветшания и обозначаемые как «ареалы доходных домов»; здесь проживают богемные типы, заезжие авантюристы всех мастей и неприкаянная молодежь обоих полов. Дальше располагаются ареалы многоквартирных домов; это район небольших семей и гастрономов. И наконец, еще дальше расположены районы двухквартирных домов и частных владений, где люди все еще имеют свои дома и растят детей, что, разумеется, они делают и в трущобах.

На самом деле типичное городское сообщество гораздо сложнее, чем видно из этого описания, а разным типам и размерам городов присущи свои особые вариации. Главное, однако, состоит в том, что сообщество всюду тяготеет к некоторой конфигурации, и последняя неизменно оказывается конstellляцией типичных городских ареалов, каждый из которых может быть географически локализован и пространственно определен.

Естественные ареалы являются средами обитания естественных групп. Каждый типичный городской ареал, скорее всего, будет содержать особую выборку из населения сообщества в целом. В больших городах расхождения в манерах поведения, жизненных стандартах и общих взглядах на жизнь в разных городских ареалах порой поражают воображение. Половозрастной состав, являющийся, пожалуй, важнейшим показателем социальной жизни, в разных естественных ареалах удивительно различен. В городе есть районы, где почти нет детей, например ареалы, занятые резидентными отелями. Есть районы, где число детей относительно велико: трущобы; жилые пригороды среднего класса, куда обычно переезжают молодожены после того, как проведут медовый месяц в комфортабельных апартаментах в центре города. Есть другие ареалы, занятые почти исключительно неженатыми юношами и незамужними

девушками. Есть районы, где люди почти никогда не приходят голосовать, кроме как на общенациональных выборах; районы, где уровень разводов выше, чем в любом штате, и другие районы в том же городе, где разводов почти не бывает. Есть ареалы, кишачи подростковыми шайками и спортивными и политическими клубами, в которые нередко вступают отдельные члены этих шаек или шайки в полном составе. Есть районы, где выходит за все мыслимые пределы уровень суицидов, районы, где статистика фиксирует повышенный уровень юношеской делинквентности, и районы, где всего этого почти нет.

Всем этим подчеркивается значимость местоположения, позиции и мобильности как показателей, необходимых для измерения, описания и в конечном счете объяснения социальных феноменов. Бергсон определял мобильность как «всего лишь идею движения, которую мы формируем, когда мыслим его само по себе, когда мы, так сказать, абстрагируем от движения мобильность». Мобильность служит мерой социального изменения и социальной дезорганизации, поскольку социальное изменение почти всегда включает в себе сопутствующее изменение положения в пространстве, и всякое социальное изменение, даже то, которое мы описываем как прогресс, предполагает некоторую социальную дезорганизацию. В докладе, на который я ссылался, профессор Бёрджесс отмечает, что разные формы социальной дезорганизации, судя по всему, примерно коррелируют с теми изменениями в городской жизни, которые поддаются измерению в терминах мобильности. Все это побуждает нас пойти дальше. Поскольку многое из того, чем обычно интересуются исследователи общества, видимо, тесно связано с положением, распределением и движением в пространстве, то представляется в принципе возможным, что все, обычно понимаемое нами как социальное, будет в конце концов истолковано и описано в терминах пространства и изменений положения индивидов в пределах естественного ареала, т.е. в пределах зоны состязательной кооперации. При столь заманчивых перспективах все социальные феномены могли бы стать со временем предметом измерения, и социология действительно стала бы тем, чем некоторые пытались ее сделать, а именно ветвью статистики.

Если бы мы смогли реализовать такую схему описания и объяснения социальных феноменов без чрезмерного упрощения фактов, то это наверняка стало бы счастливым решением некоторых фундаментальных логических и эпистемологических проблем социологии. Достаточно было бы свести все социальные отноше-

ния к пространственным отношениям, и тогда открылась бы возможность применить к человеческим отношениям фундаментальную логику физических наук. Социальные явления свелись бы к элементарным движениям индивидов так же, как физические явления, химические реакции и свойства материи, тепла, звука и электричества сводятся к элементарным движениям молекул и атомов.

Трудность здесь состоит в том, что в кинетических теориях материи элементы полагаются неизменными. Именно это мы, собственно, и имеем в виду, когда произносим слова «элемент» и «элементарный». Поскольку единственными изменениями, с которыми считаются физические науки, являются изменения в пространстве, то все качественные различия сводятся ими к количественным и делаются тем самым доступными для описания в математических терминах. Что же касается человеческих и социальных отношений, то элементарные единицы, т.е. отдельные мужчины и женщины, вступающие в эти разные комбинации, явно подвержены изменению. Они настолько далеки от того, чтобы быть гомогенными единицами, что всякая серьезная математическая их трактовка выглядит невозможной.

Общество, как заметил Джон Дьюи, существует в коммуникации и через коммуникацию, а коммуникация не содержит такого преобразования энергии, какое, видимо, происходит между индивидуальными социальными единицами, скажем, при внушении или подражании, этих двух состояниях, к которым социологи в разное время пытались свести все социальные явления. Скорее коммуникация предполагает преобразование в самих индивидах, которые общаются. И это преобразование непрерывно продолжается вместе с накоплением индивидуальных переживаний в индивидуальных умах.

Если бы человеческое поведение опять-таки можно было свести, как это попытались сделать некоторые психологи, к немногим элементарным инстинктам, то и тогда применить кинетические теории физических наук к объяснению социальной жизни было бы не менее трудно. Эти инстинкты, если вообще можно говорить об их существовании, пребывают в постоянном изменении вследствие накопления воспоминаний и привычек. И изменения эти столь велики и непрерывны, что трактовка индивидов как постоянных и гомогенных социальных единиц содержит в себе слишком уж много абстракции. Поэтому в объяснении человеческого поведения и общества мы приходим в конце концов к психологии. Чтобы сделать происходящие в обществе изменения по-



нятыми, необходимо считаться с изменениями, происходящими в тех индивидуальных единицах, из которых это общество образуется. Следовательно, социальным элементом перестает быть индивид и становится установка, тенденция индивида к действию. Не индивиды, а именно установки взаимодействуют и, взаимодействуя, поддерживают социальные организации и производят социальные изменения.

Эта концепция означает, что географические барьеры и физические дистанции значимы для социологии только там и тогда, где и когда они определяют условия, в которых актуально поддерживаются коммуникация и социальная жизнь. Вся человеческая география притом глубоко преображена человеческим вмешательством. Телеграф, телефон, газета и радио, превратив мир в один широко раскинувшийся акустический свод, стерли расстояния и разрушили изоляцию, некогда разделявшую расы и народы. Новые средства коммуникации неудержимо умножают и вместе с тем усложняют социальные отношения. История коммуникации есть история цивилизации, в совершенно реальном смысле. Язык, письмо, печатный пресс, телеграф, телефон и радио знаменуют эпохи в истории человечества. Но, надо сказать, они потеряли бы почти всю свою нынешнюю значимость, если бы не несли с собой все более широкое разделение труда.

Выше я уже говорил, что общество существует в коммуникации и через коммуникацию. Благодаря коммуникации индивиды участвуют в общем опыте и поддерживают общую жизнь. И именно потому, что коммуникация имеет основополагающее значение для существования общества, можно говорить, что география и иные факторы, ограничивающие или облегчающие ее, входят в его структуру и организацию. Понятия положения, дистанции и мобильности приобретают в этом свете новую значимость. Мобильность важна как социологическое понятие лишь постольку, поскольку она обеспечивает новый социальный контакт, а физическое расстояние значимо для социальных отношений только тогда, когда возможно истолковать его в терминах социальной дистанции.

Социальный организм — и это одна из главных и наиболее смущающих его черт — образуется из единиц, способных к передвижению. Тот факт, что каждый индивид может перемещаться в пространстве, гарантирует ему опыт, который будет для него частным и особым опытом, и этот опыт, который индивид приобретает в ходе своих приключений в пространстве, дает ему, в силу своей

уникальности, точку зрения для независимого и индивидуального действия. В конце концов, именно обладание уникальным опытом, осознание этого опыта и диспозиция мыслить и действовать в заданных им рамках делают индивида персоной.

Ребенок, чьи действия определяются главным образом рефлексами, не имеет поначалу ни самостоятельности, ни индивидуальности и, по сути дела, персоной не является.

Именно неодинаковость опытов отдельных людей делает необходимой коммуникацию и возможным консенсус. Если бы на одинаковые стимулы мы всегда реагировали одинаково, то, насколько я понимаю, в коммуникации не было бы необходимости и отсутствовала бы сама возможность абстрактного и рефлексивного мышления. Нужда в знании вырастает из необходимости проверять и накапливать несхожие индивидуальные опыты и сводить их к терминам, делающим их понятными для всех нас. Рациональный разум — это всего лишь разум, способный делать свои частные импульсы публичными и внятными. Задача науки заключается в том, чтобы свести нечленораздельное выражение наших личных чувств к общему миру дискурса и создать из наших частных опытов объективный и умопостигаемый мир.

У нас не только есть, у каждого в отдельности, свои частные опыты, но мы также со всей остротой их сознаем и печемся о том, чтобы уберечь их от вторжения извне и неверной интерпретации. Наше самосознание есть осознание этих индивидуальных различий в опыте, соединенное с ощущением их конечной непередаваемости. Это основа всех наших тайн (*reserves*), личных и расовых; и это основа наших мнений, установок и предрассудков. Если бы мы были совершенно уверены, что каждый способен увидеть нас насквозь и узнать все то, что мы в глубине души считаем своим глубоко личным, иначе говоря, если бы мы были наивны как дети или столь же внушаемы и лишены скрытности, как некоторые истерики, то, вероятно, у нас не было бы никогда ни персон, ни общества. Ибо некоторое обособление и некоторая неподатливость социальным влияниям и социальному внушению суть необходимые условия и здорового общества, и здорового личностного существования. Персоны без приватности так же немыслимы, как и общество без персон.

Отсюда видно, что пространство — не единственное препятствие для коммуникации, и социальные дистанции далеко не всегда можно адекватно измерить с помощью чисто физических парамет-

ров. Конечным барьером для коммуникации является самосознание, которое есть также и застенчивость.

Каково же значение этого самосознания, этой замкнутости (reserve), этой застенчивости и стыдливости, которую нам так часто приходится испытывать в присутствии посторонних? Это, разумеется, не всегда страх перед физическим насилием. Это страх перед тем, что мы не произведем хорошего впечатления, боязнь того, что мы предстанем не лучшим образом, что нам не удастся удержаться на высоте нашего представления о себе и особенно что нам не удастся совпасть с тем представлением о нас, которое мы бы хотели иметь со стороны других. Мы переживаем эту застенчивость даже в присутствии собственных детей. Только в кругу ближайших друзей мы можем полностью расслабиться, скинуть с себя бремя своего достоинства и почувствовать себя непринужденно. Если где-то коммуникация и бывает полной, а разделяющие индивидов социальные дистанции целиком рушатся, то только в таких условиях.

Этот мир коммуникации и «дистанций», в котором все мы стараемся сохранять некоторую приватность, личное достоинство и самообладание, динамичен и имеет свой особый порядок и характер. В рамках этого социального и морального порядка представление, которое каждый из нас имеет о себе, ограничивается представлением, которое каждый другой индивид в этом же ограниченном мире коммуникации имеет о себе и о каждом другом. В силу этого — и это истинно для любого общества — каждый индивид оказывается втянутым в борьбу за статус: за сохранение своего престижа, своей точки зрения и своего самоуважения. Он может сохранить их, однако, только в той степени, в какой ему удастся добиться признания со стороны любого другого, чья оценка представляется ему важной, т.е. со стороны каждого, кто входит в его круг общения или в его общество. Из этой борьбы за статус еще ни одной философии жизни не удалось найти выхода. Индивид, который не заботится о своем статусе в том или ином обществе, — это отшельник, даже если местом его уединения становится городская толпа. Индивид, представление которого о себе вообще никак не определяется представлениями, которые имеют о нем другие люди, по всей вероятности, сумасшедший.

В конце концов общество, в котором мы живем, неизменно оказывается моральным порядком, в котором позиция индивида — как и его представление о себе, составляющее ядро его личности, — определяется установками других индивидов и стандартами, которых придерживается группа. В таком обществе индивид становится

персоной. Персона – это просто индивид, который где-то, в каком-то обществе, имеет социальный статус. А статус в конечном счете оказывается вопросом дистанции – социальной дистанции.

Именно в силу того, что география, род занятий и все другие факторы, определяющие распределение населения, задают столь непреодолимо и фатально место, группу и сотоварищей, с которыми каждый из нас вынужден жить, пространственные отношения и приобретают то значение для изучения общества и человеческой природы, которое они имеют.

Именно в силу того, что социальные отношения так часто и неизбежно соотносятся с пространственными отношениями, а физические расстояния так часто являются или выглядят показателями социальных дистанций, статистика обретает реальную значимость для социологии. И это верно в конечном счете потому, что только в той мере, в какой социальные и психические факты могут быть сведены к пространственным фактам или соотнесены с ними, оказывается возможным их измерение.

## СОЦИОЛОГИЯ, СООБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВО\*

### I. Сообщество

Теггарт сформулировал различие между историей и другими науками в одной замечательной фразе. «Наука, — говорит он, — имеет дело с объектами, сущностями, вещами и связями между ними; историю интересуют события»<sup>1</sup>. События случаются; вещи — нет. Напротив, вещи упорядоченным образом возникают, изменяются и исчезают, каждая в соответствии с некоторым правилом, характерным для того класса или типа, к которому она относится и в отношении которого каждая вещь выступает как частный случай. Когда вещи описываются как естественные феномены, имеется в виду именно это. Природа вещи заключена, по сути, в правиле или законе, согласно которому она движется или изменяется<sup>2</sup>.

Научный метод, во всяком случае методы исследования, нельзя изучать в вакууме, совершенно вне всякого соотнесения с вещами. Никакой общей науки о методе на самом деле нет. Ближе всего к ней подходит математика, и именно она задавала образец точности, которого другие науки неизменно стремились достичь.

---

\* *Park R.E. Sociology, community and society // Park R.E. Human communities: The city and human ecology. — Glencoe (IL): Free press, 1952. — P. 178–209. Статья была впервые опубликована в: Research in the social sciences / Ed. by W. Gee. — N.Y.: Macmillan, 1929. — P. 3–49. На русском языке публикуется впервые.*

<sup>1</sup> *Teggart F.J. Theory of history. — New Haven (CT): Yale univ. press, 1925. — P. 71.*

<sup>2</sup> *Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung: Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. — Leipzig: Mohr Siebeck, 1902. — S. 212 (рус. пер.: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в исторические науки. — СПб.: Наука, 1997).*

Концептуальная точность математики и широкое применение, которое она получила в других науках, обусловлены тем, что она ограничивала себя самыми очевидными характеристиками вещей, а именно их формой и следованием во времени. Форма и упорядоченная последовательность — это, по сути, «вещи» математики. И это подводит нас к следующей мысли: каковы будут вещи для той или иной особой науки или для здравого смысла, определяется, собственно, точкой зрения, выбранной для их рассмотрения. Нашей исходной данностью всегда является событие. Каждая наука так или иначе создает свои объекты из событий, являющихся частью общего опыта человечества<sup>1</sup>. Первая задача любой науки состоит в том, чтобы превратить события в вещи — в те особые вещи, которые она предлагает изучать.

Когда социальные науки желали стать систематическими и добиться некоего подобия количественной точности, их преимущественным методом была статистика<sup>2</sup>. Проблема состояла в том, что статистики применяли свой метод к социальным феноменам так, словно социальных наук не было вовсе или словно они были всего лишь компендиумами общеизвестных фактов (*common-sense facts*).

Например, статистики обычно трактовали людей так, как если бы это были просто физические единицы, а общества — так, как если бы это были просто физические агрегаты. Между тем социальные науки — по крайней мере некоторые из них — начали концептуально определять те «вещи», которые являются объектами их исследований. Социологию интересуют не индивиды как таковые, а особый тип связи, в основе своей нефизический, существующий между индивидами и делающий их персонами. Общества, в строгом смысле, образуются из персон, а персоны — это индивиды, имеющие статус в том или ином обществе. Рассматриваемые с этой точки зрения, общества становятся вещами — вещами, у кото-

---

<sup>1</sup> Whitehead A.N. The concept of nature. — Cambridge: Cambridge univ. press, 1920.

<sup>2</sup> «Там, где есть количество, — говорит Тард, — там есть и наука». Далее добавляется: «Социальная наука достигнет автономии, как только сможет указать на специфически свою регулярность (*une mode repetition*)». Иначе говоря, научные факты — это факты, способные повторяться. Следовательно, они поддаются проверке, контролю, подсчету, сведению к классам и в целом количественной обработке. См.: Tarde G. Études de psychologie sociale. — P.: Giard & Brière, 1898. — P. 41–42. См. также: Tarde G. Essais et mélanges sociologiques. — P.: Maloine, 1895. — P. 230–308, где дан обзор попыток применения статистики к изучению установок (*Croyances et desires*).

рых есть своя естественная история и свойства, определяемые взаимодействиями и взаимоотношениями образующих их персон.

Общества образуются из индивидов, имеющих статус, но социологи не всегда соглашались друг с другом касательно природы отношений, которые связывают индивидов так, что те становятся обществом. Среди социологов так и не сложилось согласия в вопросе о том, что представляет собой та связь, которую они называют «социальной».

Ранние авторы, как, например, Конт и Спенсер, описывали общество как «социальный организм». Во всяком случае, для них это был один из способов выразить убежденность в том, что на общества, образующиеся из единиц, столь явно независимых друг от друга, можно смотреть как на нечто большее, нежели просто формальные и статистические сущности. Вместе с тем, глядя на социальный комплекс с несколько разных точек зрения, Конт и Спенсер описывали его по-разному. По мнению Спенсера, существенные связи между людьми, делающие их обществом, лучше всего представлены в *разделении труда*. Для него общество есть в основе своей экономическая организация. Люди живут и трудятся вместе, потому что полезны друг другу. Конкуренция, являющаяся фундаментальным фактом социальной жизни, принуждает к кооперации, и в итоге возникает общество<sup>1</sup>.

Конт, в свою очередь, считал основополагающим для общества фактом не разделение труда, а *консенсус*. Общество – это прежде всего культурная группа, имеющая общие обычаи, язык и институты. Отношения индивидов в обществе, например в семье, которую Конт считал целостной единицей и моделью всех других форм общества, теснее и ближе, чем отношения между органами растения или животного. Они ближе и, как, вероятно, сказал бы Конт, более идеально органичны, поскольку солидарность группы держится на консенсусе, т.е. понимании. В обществе сознания взаимно проникают друг в друга, и индивиды живут и действуют на основе общего опыта<sup>2</sup>.

Итак, не подлежит сомнению, что общества имеют этот двойственный аспект. Они образуются из индивидов, которые

---

<sup>1</sup> Spencer H. The principles of sociology. – L.: Williams & Norgate, 1893. – Vol. 1. – P. 437, 579–580 (рус. пер.: Спенсер Г. Основания социологии. – СПб.: Товарищество И.Д. Сытина, 1898).

<sup>2</sup> Lévy-Bruhl L. The philosophy of Auguste Comte / Authorized translation, with an introduction by F. Harrison. – L.: Swan Sonnenschein, 1903. – P. 337.

действуют независимо друг от друга, конкурируют и борются друг с другом за само существование и воспринимают друг друга, насколько это возможно, как полезные вещи. При этом так же верно и то, что людей связывают привязанности и общие цели; они бережно относятся к традициям, стремлениям и идеалам, не все из коих являются их собственными, и поддерживают, вопреки естественным порывам к противоположному, дисциплину и моральный порядок, которые позволяют им возвыситься над тем, что мы обычно называем природой, и творить своим коллективным действием мир, отвечающий их коллективным чаяниям и их общей воле.

Нет слов, которые бы аккуратно и точно передали эти разные аспекты коллективной жизни. Слова «общество» и «сообщество» в том смысле, в каком мы употребляем их в обыденной речи, предполагают различия, но не определяют их. Слово «сообщество», однако, точнее описывает социальный организм, как понимал его Спенсер. Концепция Конта, в свою очередь, стоит ближе к описанию того, что мы обычно имеем в виду под обществом.

Сообщество, в предельно широком смысле, имеет пространственную и географическую коннотацию. Каждое сообщество имеет местоположение (location), а индивиды, которые его составляют, имеют место жительства в пределах занимаемой сообществом территории (в противном случае они являются временными посетителями и не рассматриваются как его члены). Они имеют также некоторый род занятости в локальной экономике. Поселки, города, деревушки, а в современных условиях и весь мир, со всем присущим ему разнообразием рас, культур и индивидуальных интересов, — все это сообщества. И все они являются сообществами ровно постольку, поскольку благодаря обмену благами и услугами могут рассматриваться как связанные кооперацией и ведущие общую жизнь.

Общество, в свою очередь, всегда включает в себе нечто большее, чем просто соотязательную кооперацию и проистекающую из нее экономическую взаимозависимость. Существование общества предполагает некоторую меру солидарности, консенсуса и общности цели. Образ общества, в более узком смысле этого термина, лучше всего явлен в семье, племени, нации. Общества образуются для действия и в действии. Они вырастают в попытках индивидов действовать коллективно. Структуры, демонстрируемые обществами, являются в целом побочными продуктами коллективного действия. Живя в обществе, индивид определяет свои интересы в соотнесении с более масштабными целями группы, членом которой он является. В этом смысле и в этой степени об-



щество контролирует входящих в него индивидов. Закон, обычай, конвенция, по словам Томаса, «определяют ситуацию» и этим, а также иными способами навязывают дисциплину всем, кто стремится участвовать в общей жизни.

Термин «сообщество» используется в более широкой коннотации. Его применяют к растениям и животным – к области, в которой индивиды и виды как будто бы ведут своего рода общее хозяйство. В таких случаях, однако, нет общества в том смысле, в котором употребил бы этот термин Конт, ибо в таких сообществах нет никакого консенсуса, никаких конвенций и никакого морального порядка. Порядок, который при этом существует, – природный порядок.

Ясно, что эти два термина совпадают далеко не во всех отношениях. Строго говоря, общество и сообщество – разные вещи. Вместе с тем, видимо, верно и то, что каждое сообщество, если область применения этого термина ограничить людьми, есть в каком-то смысле и в какой-то степени общество. Человеку еще никогда не удавалось на практике достаточно долго относиться к другим людям как к низшим животным, как к принадлежности фауны или просто как к физическим объектам окружающего ландшафта<sup>1</sup>. С другой стороны, несомненно, не каждое общество является сообществом.

Хотя сообщество не всегда тождественно обществу, оно является как минимум средой обитания (*habitat*), в которой общества только и вырастают. Оно дает экономическую организацию и необходимые условия, в которых общества укоренены и на которых, как на физическом базисе, они могут установиться.

Это одна из причин, по которым социологическое исследование вполне правомерно начинать с сообщества. Более практической причиной служит то, что сообщество – зримый объект. Мы можем его показать, определить его территориальные границы и нанести его составные элементы, население и институты на карты. Его характеристики больше поддаются статистической трактовке, чем общество в контовском смысле.

## II. Популяционные пирамиды

Сообщество в наиболее очевидном его аспекте, т.е. в том, в котором его обычно мыслит статистик, – это, как я уже сказал, просто количественная совокупность, популяционная группа, оп-

---

<sup>1</sup> Dewey J. Education and democracy. – N.Y.: Macmillan, 1916. – P. 6.

ределяемая пространством, которое она занимает. Простейший метод исследования общества, понимаемого столь абстрактно, состоит в переписи индивидов, из которых оно состоит. Прежде всего перед человеческой географией стоит задача определить существующее распределение населения земного шара и выяснить относительные плотности населения в каждом географическом регионе и в каждом локальном сообществе внутри этих регионов. Плотность населения не только связана с еще много чем значимым для жизни каждого сообщества, но и сама является для социологии важным видом данных. В знак признания этого факта Росс делает исследования населения введением в свой учебник социологии<sup>1</sup>.

Известный французский социолог Дюркгейм и его школа отводят исследованиям населения важное место в своей концепции социологии под именем социальной морфологии<sup>2</sup>.

Размер и численность – столь важный аспект не просто общества, но любого общества, что были попытки классифицировать и определить города и меньшие популяционные агрегаты в чисто количественных терминах<sup>3</sup>.

Учет населения между тем обычно включает в себе разделение его на классы по возрасту и полу и представление его в виде пирамиды, называемой популяционной пирамидой. Оказалось, что популяции разных сообществ проявляют множество типичных отклонений, характеризующих сообщества, которые они представляют.

Было предположено – и новейшие исследования это подтверждают, – что популяции, реагируя на физическую и человеческую среду, неизменно стремятся достичь устойчивого равновесия. Мальтус считал, что рост населения ограничивают только ресурсы питания, и на больших временных отрезках это, наверное, так. Позднейшие исследования, однако, показывают, что в случае

---

<sup>1</sup> Ross E.A. Principles of sociology. – N.Y.: Century, 1920.

<sup>2</sup> См.: Durkheim É. Morphologie sociale // L'Année sociologique. – P., 1899. – Vol. 2. – P. 520–521.

<sup>3</sup> См. статью Уолтера Ф. Уилкокса: Proceedings of the American sociological society. – Wash., 1926. – Vol. 20. – P. 97. Эта и другие статьи на смежные темы перепечатаны в сборнике «Городское сообщество» под редакцией Эрнеста У. Бёрджесса (The urban community / Ed. by E.W. Burgess. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1926). См. также библиографию: Park R.E., Burgess E.W. The city. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1925. – P. 165–166.

некоторых популяций и некоторых классов важную роль играют стандарт жизни и другие не вполне ясные причины<sup>1</sup>.

Действительно, в некоторые времена и в ответ на некоторые условия популяции быстро растут либо вследствие естественного воспроизводства, либо благодаря иммиграции. В другие времена и в ответ на другие условия они либо сокращаются, либо сохраняют прежнюю численность. Во всяком случае, в популяционную группу неизбежно входят и инкорпорируются новые индивиды, заменяющие собою тех, кто выбывает из нее по причине смерти или эмиграции. На самом деле процесс, посредством которого в старое население включаются новые элементы, гораздо сложнее, чем кажется, причем независимо от того, из каких групп рекрутируются новые элементы, из коренных или иммигрантских. Новое поколение приходится воспитывать, а иммигрантов — ассимилировать.

Если абстрактно взглянуть на процесс, посредством которого вводятся новые элементы и выводятся старые, то можно описать его как своего рода социальный метаболизм, и скорость, с которой он происходит, поддается измерению. Скорость, с которой происходит метаболизм, как и общий объем движения и мобильности, который я рассмотрю позже, служит показателем и мерой интенсивности социального процесса<sup>2</sup>. В больших городах, в которые так неудержимо стремится, особенно в последние годы, волна иммиграции, явно происходят огромные революционные изменения не только в форме, но и в содержании нашей социальной жизни. В свою очередь, в небольших уединенных фермерских поселениях, ставших характерной чертой сельской жизни в Америке, особенно на Среднем Западе, мало что происходит, несмотря на все изменения, которые принес с собой автомобиль.

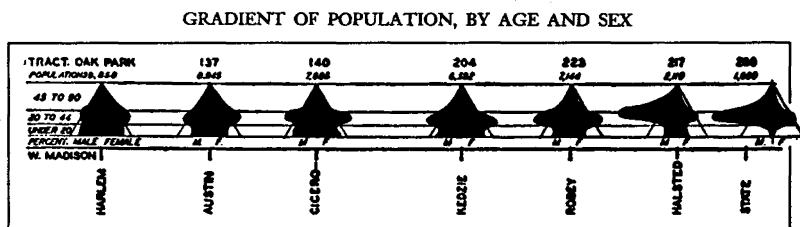
Эти изменения в социальном метаболизме регистрируются не только в цифрах, показывающих действительный рост и оборот населения, но также и в популяционных пирамидах. Популяцию,

---

<sup>1</sup> *Malthus T.R.* An essay on the principle of population. — 2<sup>nd</sup> ed. — L.: Norton critical editions, 1803; Carr-Saunders A.M. The population problem: A study in human evolution. — Oxford: Oxford univ. press, 1922.

<sup>2</sup> В социальных науках, как и во всех других, мы очень заботимся о показателях. Лишь благодаря показателям мы можем установить единицы и применить к нашим описаниям вещей количественные методы. Разумеется, бывает иногда, что социологи, как и психологи с их тестами интеллекта, не знают, что именно они измеряют. Тем не менее так можно придать точность нашим сравнениям одного объекта с другим, даже если мы не до конца понимаем, что измеряется нашими измерениями.

растущую преимущественно за счет иммиграции, представляет тип пирамиды, очень отличный от того, в котором представлено население, обязанное своим приростом простому превышению рождаемости над смертностью, и это не зависит от того, каков рост в числовом выражении. Аналогичным образом и характерные различия городских и сельских сообществ тоже отражаются в форме соответствующих им популяционных пирамид. Но самые поразительные различия в составе и обороте популяций обнаруживаются в пирамидах, получаемых при изучении возрастных классов и половых групп в разных естественных ареалах больших городов.



Градиент населения, по полу и возрасту

Использование популяционной пирамиды как показателя движений и изменений населения, видимо, впервые встречается у итальянских исследователей населения (см.: *Annali di statistica*. — Series 2 a. — Roma, 1878. — Vol. 1). Одним из первых авторов, обсудивших и развивших теоретические импликации популяционной пирамиды, был Левассёр (см.: *Levasseur É. La population française*. — P., 1891. — Vol. 2, ch. 15). Левассёр отмечает, что существует определенная функциональная связь между возрастными и половыми группами; так что если было бы дано некоторое распределение возрастных групп в той или иной популяции, мы могли бы ожидать соответствующего распределения по полу. Возможности и ограничения популяционной пирамиды как показателя социальных условий в естественных ареалах были практически и теоретически проработаны в статье, которую готовит в настоящее время Чарльз Ньюкомб, преподаватель колледжа YMCA в Чикаго.

Уже сам факт наличия этих расхождений и контрастов служит одним из поразительных свидетельств той роли, которую играют в современной жизни города. Они, разумеется, сводят воедино все концы земного шара, людей всех сортов, типов и классов; но, со-

брав их вместе, города просеивают, сортируют и перераспределяют свои неоднородные населения, формируя новые группы и классы в соответствии с новыми и неожиданными паттернами. Объясняется это тем, что конкуренция, неприкрытая борьба за существование заставляет в конце концов каждого индивида искать и находить себе задачу, которую он лучше всего сможет выполнять, а все более расширяющееся разделение труда лишь умножает для него возможности найти такое занятие, к которому он пригоден. Этот процесс просеивания и сортировки подрывает старые ассоциации, изымает индивидов из их наследственных и расовых групп, рушит семьи — фактически ослабляет все связи. И это часть — или по крайней мере сопутствующее обстоятельство и побочный продукт — процесса социального метаболизма.

Популяционная пирамида, поскольку она демонстрирует отклонения в соотношениях возрастных классов и половых групп, зарекомендовала себя как полезный инструмент социального исследования. Представляя аномалии и отклонения от нормального распределения в городском населении, она становится не только показателем проблем городского сообщества, но и мерой изменения. Ведь в обществе, в котором достигнуто устойчивое равновесие, вообще говоря, нет ни бедности, ни преступности, ни порока — никаких проблем и никакого прогресса. А социальные проблемы, как и болезни, возникают в попытках индивида и организма приспособиться к меняющейся среде<sup>1</sup>.

Сортировка и сегрегация населения сообщества, помещая индивидов в новые местоположения (*locations*) и новые виды занятий — чему сопутствуют ослабление семейных уз и разрушение локальных ассоциаций, — соотносятся в общем и целом с тем, что мы называем социальным метаболизмом, но не тождественны ему. Когда население быстро растет за счет иммиграции или в силу превышения рождаемости над смертностью, движение и сегрегация составляющих его индивидов происходят быстрее. Кроме того, изменения, неизбежно происходящие в растущем сообществе, умножаются и ускоряются изобретением новых механических средств

---

<sup>1</sup> Предположение, что болезнь можно считать обстоятельством, сопутствующим биологическому приспособлению, подтверждают исследования в области патологии (*Bland-Sutton J. Evolution and disease.* — L.: Scott, 1890) и факты, отмечаемые Карр-Сондерсом (*Carr-Saunders A.M. Op. cit.* — P. 156–157). Они показывают, что болезни если и не порождаются, то по крайней мере умножаются с эволюцией цивилизации.

производства товаров, новыми средствами транспорта и коммуникации и сопутствующим расширением разделения труда<sup>1</sup>.

Так, в последние годы, среди всего прочего, появление транспорта на электрической тяге загнало под землю транспортные перемещения, стальные конструкции сделали возможными небоскребы, а пассажирские лифты сделали осуществимым их строительство. Все это, вместе с телеграфом и телефоном, необычайно расширившими радиус эффективной организации и контроля, вероятно, внесло свой большой вклад в трансформацию условий коллективной и корпоративной жизни.

Эти наблюдения во многом основываются на недавних исследованиях характера и последствий быстрого роста городов. Вместе с тем их можно считать конкретными примерами действия более общего принципа, давно признанного исследователями цивилизации и социальной жизни. Он состоит в том, что движение и миграция — не просто сопутствующее обстоятельство, а причина почти всех форм социального изменения. Теггарт цитирует Вайтца, немецкого антрополога: «Где бы мы ни находили народ со сколько угодно высокой или низкой степенью цивилизации, не живущий в контакте и взаимодействии с другими, везде мы находим, как правило, некоторый застой, духовную инертность и недостаток активности, делающие изменение социального и политического состояния едва ли не невозможным». Наглядная иллюстрация, на которую ссылается Вайтц, — это Китай. Китай являет нам классический образец того, что Теггарт называет «процессами, выражающими себя в фиксированности, устойчивости, стагнации и конвенциональности»<sup>2</sup>. Объяснением здесь служит не какой-то присущий китайскому уму недостаток сообразительности или изобретательности, а всего лишь отсутствие вторгающихся факторов — коммерции, миграции, войны, — способных прервать процессы фиксации и отвердения культуры и обеспечить тем самым «высвобождение индивидуального суждения из оков конвенциональных способов мышления».

С точки зрения социологического исследования напрашиваются два наблюдения, касающиеся этой общей теории социального изменения.

---

<sup>1</sup> Burgess E.W. The growth of the city // Park R.E., Burgess E.W. The city. — Ch. 2 (рус. пер.: Бёрджесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект // Личность. Культура. Общество. — М., 2002. — Т. 4, вып. 1–2. — С. 168–181).

<sup>2</sup> Teggart F.J. Theory of history. — New Haven (CT): Yale univ. press, 1925. — P. 189.

1. Если процессы, которые мы можем изучить интенсивно и из первых рук в городе, и в самом деле сопоставимы с теми более масштабными вековыми изменениями, которые наблюдает историк в своем более широком поле обзора, то можно, взяв городское сообщество как объект исследования, не только описать, но и изучить процессы цивилизации.

2. Если движение, миграция и коммерция столь непосредственно связаны с социальными изменениями, как мы предположили, то мобильность можно принять как показатель социального изменения, а интенсивность социальных процессов, посредством которых происходят эти изменения, можно сделать предметом количественного исследования.

### **III. Мобильность и цены на землю**

Все движения, миграции и изменения местоположения, происходящие в пределах сообщества или любым способом воздействующие на рутину жизни, включаются в понятие мобильности. Сорокин расширил этот термин, включив в него межпоколенные изменения в профессиональном статусе. Иными словами, он попытался определить статистически, в какой степени дети следуют или не следуют в профессиональной области по стопам своих родителей. Он различает горизонтальную и вертикальную мобильность. Термин «вертикальная мобильность» он применяет к изменениям в профессиональном статусе; термин «горизонтальная мобильность», в свою очередь, ограничивается у него изменениями в местоположении<sup>1</sup>.

Это расширение понятия «мобильность» за счет включения в него изменений в статусе вполне соответствует исходной интенции термина, по крайней мере как его употребляли социологи. Пространственное движение и профессиональная мобильность социологически значимы, главным образом и в целом, лишь в той мере, в какой они служат показателями для измерения «контактов», т.е. шоков, столкновений и сопутствующих им прерываний и крушений обычных способов мышления и действия, неизбежно вызываемых этими новыми личными столкновениями (encounters). Между тем изменения в профессиональном статусе – лишь один из многих способов прерывания социальных ритуалов и рутин, кото-

---

<sup>1</sup> Sorokin P. Social mobility. – N.Y.: Harper, 1927 (рус. пер.: Сорокин П.А. Социальная мобильность. – М.: Academia: LVS, 2005).

рые в противном случае увековечивались бы «весом авторитета, суеверия и общественного мнения», и высвобождения сил индивидов для новых начинаний и приключений. Важность изменений в статусе с точки зрения исследования состоит в том, что их можно выразить в количественных терминах.

Самые быстрые социальные изменения происходят, естественно, в больших городах, с их всемирной торговлей и огромными космополитическими населеннями; в них движения населения достигают наибольших масштабов, а сопутствующие этому столкновения личностей и культур – наибольшей интенсивности. Если города всегда были центрами цивилизации и интеллектуальной жизни, то отчасти потому, что они являются местами неизбежных встреч чужаков и центрами новостей. Суматошность, суетность и оживленность жизни города – всего лишь отражение той более интенсивной социальной жизни, абстракцию которой мы попытались выделить и измерить в терминах мобильности.

Движения и миграции популяций многочисленны и разнообразны. Не все изменения местоположения городских популяций вызваны социальным метаболизмом и ростом. Кроме того, при измерении роста городов мы не всегда принимали в расчет движения вовне, обычно уравнивающие движение внутрь. В больших городах, как и по стране в целом, миграционная статистика показывает, что иммиграция по большей части уравнивается эмиграцией. Так, по имеющимся оценкам, население одного из районов Чикаго, населенного в основном временными рабочими, колеблется в течение года в диапазоне от 30 до 75 тыс. человек<sup>1</sup>.

Статистика временных жителей городов, какая есть в Европе, не всегда бывает в наличии в Соединенных Штатах. Сегодня мы только начинаем принимать во внимание сезонные и циклические движения наших все более кочевых населений, ежегодные движения иммигрантского труда за океан и обратно, сезонные движения на север и на юг, на запад и на восток, наши толпы туристов, временных и сезонных рабочих, автомобильных бродяг, необычайный рост населения наших гостиниц<sup>2</sup>.

Вдобавок к этому есть еще полугодовые движения (весной и осенью) жильцов наших многоквартирных домов и ежедневная

---

<sup>1</sup> *Anderson N.* The hobo: The sociology of the homeless man. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1923.

<sup>2</sup> *Hayner N.S.* The hotel: The sociology of hotel life / University of Chicago Ph.D. thesis, 1923.



волна, каждое утро врывающаяся в центры наших больших городов и каждый вечер откатывающаяся назад, на окраины. Эти движения настолько тесно связаны со всеми аспектами нашей коммерческой жизни и настолько симптоматичны в отношении более глубоких и неясных изменений в нашей политической и культурной жизни, что мы словно кладем руку на пульс сообщества.

Существует, конечно, далеко не один способ измерения мобильности и ее интерпретации. На самом деле до сих пор так и не изобретено никаких стопроцентно удовлетворительных единиц или формул для описания этих более сложных популяционных движений в количественных терминах. Ясно, что мобильность, измеряемая через изменение места жительства в пределах города, имеет совершенно иную значимость, нежели мобильность, явленная в ежедневных притоках населения в деловые центры и оттоках из них. Маккензи предпочитает отличать рекуррентные и циклические движения этого типа от миграции, включающей изменение места жительства, употребляя в отношении них термин «текучесть»<sup>1</sup>.

Это кажется, однако, ненужным умножением слов, поскольку очевидно, что мобильность, определяемая как «изменение местоположения или позиции», соотносится с термином «позиция». Из того, что мы будем считать позицией, вытекает, в отношении какой единицы будет учитываться мобильность. Когда позиция определяется в терминах проживания, такие движения, как ежедневные перемещения в центр города и из него, просто не принимаются во внимание, как бы важны они ни были для других целей.

Интересным в этой связи представляется тот факт, что цены на землю, судя по всему, довольно отчетливо коррелируют с движениями населения и с мобильностью вообще<sup>2</sup>. Видимо, не нужно и говорить, что с движением и ростом населения цены на землю растут. Не столь очевидно то, что рост цен на землю в любой части сообщества способствует, в свою очередь, перераспределению населения в сообществе в целом. Города, особенно с внедрением

---

<sup>1</sup> *McKenzie R.D.* The scope of human ecology // *Proceedings of the American sociological society*. – Wash., 1926. – Vol. 20. – P. 141–154 (рус. пер.: *Маккензи Р.Д.* Область человеческой экологии // *Личность. Культура. Общество*. – М., 2003. – Т. 5, вып. 3–4. – С. 174–188).

<sup>2</sup> *MacGill H.G.* Land values: An ecological factor in a community in South Chicago / University of Chicago M.A. thesis, 1927.

новых форм транспорта и передвижения – например, трамвая и автомобиля, – быстро росли посредством территориальной экспансии. Между тем появление нового пригорода на окраинах города не уменьшает давления на центральный деловой район. Как раз наоборот. Пригороды вырастают вдоль локальных транспортных линий. Всякий прирост населения в пределах так называемого спального пригорода (commuting area) означает, что каждый день в деловой центр, или собственно «город», будет ездить больше людей – по торговым делам, ради досуга и отдыха и для всех целей общественной жизни. Прибавление населения на периферии повышает цены на землю в центре, а давление цен на землю в центре, расходясь круговыми волнами, накрывает весь город. Одним из следствий этого становится появление сразу за пределами центрального делового района «переходного ареала», как назвал его Бёрджесс, иначе говоря, – трущоб<sup>1</sup>.

Вторжение трущоб в резидентные ареалы производит обычно второй переходный ареал, или так называемый ареал «доходных домов». Ареал доходных домов – это почти всегда то, что является или было некогда жилой территорией, которая в силу надвигающихся изменений была брошена ее первоначальными владельцами и отдана под временные нужды постояльцев (transients). За пределами района доходных домов, с повышением цен на землю, индивидуальные жилые дома сменяются многоквартирными домами, и высота многоквартирного здания определяется стоимостью земли. На окраинах внутреннего города, гранича с пригородным ареалом, преобладают особняки, двухквартирные дома и бунгалов; здесь – последнее прибежище традиционного американского дома.

Таким образом, оказывается, что цены на землю, в значительной мере сами по себе являющиеся продуктом популяционных агрегатов, в конечном счете придают этому агрегату в пределах сообщества упорядоченное распределение и характерный паттерн. Под давлением цен на землю, устанавливающихся в центре, города стремятся принять форму, складывающуюся из ряда концентрических окружностей, каждая из которых очерчивает ареал убывающей мобильности и падающих цен на землю. Поскольку самые высокие цены на землю приходятся на ареал розничной торговли, то обычно

---

<sup>1</sup> См.: *Burgess E.W. The growth of the city* // *Park R.E., Burgess E.W. The city.* – Ch. 2.

они локализуются в точке, где в течение 24 часов собираются и случайно проходят наибольшие количества людей.

Если бы допущения, из которых мы исходили, были полностью верны, то следовало бы ожидать, что цены на землю, начиная с высокого значения в центре, будут падать регулярными градиентами по мере движения к окраинам. Но все далеко не так просто, отчасти потому, что вмешательство таких факторов, как преимущества географического местоположения и транспортные возможности, модифицирует и усложняет паттерн, который давление цен на землю могло бы навязать, действуя в одиночку, отчасти потому, что на распределение промышленности и торговли влияют силы, относительно независимые от сил, определяющих местоположения жилых ареалов и центров рознично-торгового бизнеса.

В распределении промышленности и торговли, как и в распределении населения, первичной тенденцией является тенденция к концентрации всего – населения, общественных учреждений, промышленности и торговли – вокруг центрального рынка. Но по мере того как цены на землю растут, население неуклонно смещается к периферии. Это центробежное движение населения, нагляднее всего представленное в Лондоне, изучалось в Америке в основном телефонными компаниями для долгосрочного прогнозирования будущего использования и местоположения телефонных линий и станций.

Результатом центробежного движения становится появление внешнего кольца городов-спутников, более или менее самостоятельных, но все же находящихся под господством метрополиса. Тенденция к сосредоточению розничной торговли в центральном торговом районе, проявляющая себя в росте универмагов, со временем видоизменяется центростремительными тенденциями, обусловленными высокой арендной платой и большими транспортными издержками. В то время как магазины, в которых ведется торговля, движутся вовне, контроль над бизнесом остается в центре. Тип организации, возникающий при этом, – это сеть магазинов с территориально рассредоточенными распределительными подразделениями и контролем, локализованным в центре.

Центробежное движение в современных городах очень велико, и оно еще больше возрастает, когда город через организацию банковского и кредитного обслуживания распространяет свое господство на все более широкие ареалы. Большие города посто-

янно выдавливают и исторгают вовне ими же самими созданные отрасли.

Но торговля и промышленность мигрируют из метрополиса и из его центрального делового района, только став стандартизированными и в силу этого поддающимися контролю на расстоянии. В то же время контроль над промышленностью и коммерцией тяготеет к сосредоточению в центральном банковском сити и в центральном банковском центре, поскольку это центры коммуникации и кредита. Кредит держится в конечном счете на информации; поэтому кредитные и банковские институты должны находиться поближе к новостям<sup>1</sup>.

Из сказанного видно, что цены на землю вносят в нашу человеческую географию что-то вроде третьего измерения. Каждый отдельный член сообщества и каждый институт занимают относительно других индивидов и институтов сообщества некоторое положение, которое можно описать в виде расстояния, измеряемого в пространственных или временных терминах. Но, кроме того, мы занимаем положение, определяемое ценностью пространства,

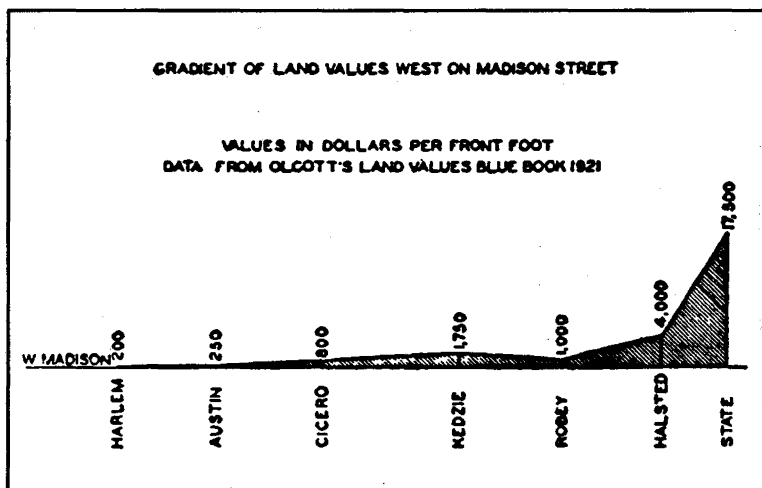
---

<sup>1</sup> «Осуществление этой управленческой функции координации и контроля кажется на первый взгляд единственно независимым от транспорта. Оно не требует перемещения огромных количеств материалов. Оно оперирует почти исключительно информацией. Решающее значение имеет транспортировка интеллекта. Почта, кабель, телеграф и телефон доставляют для этой функции сырье и отправляют назад конечный продукт. Принципиально важна внутренняя легкость контакта человека с человеком. Конечно, обильно используется телефон, но методом, с помощью которого делается наибольшая часть важной работы, остаются в конечном счете личные встречи. Обмены мнениями со служащими корпорации, с банкирами, с юристами и бухгалтерами, с партнерами и заместителями заполняют собой весь день. Работа ускоряется бережным обращением со временем тех людей, чье время наиболее дорого. Район должен быть таким, чтобы до него было удобно добраться, и должен находиться в самом сердце системы коммуникации. Его нужно подобрать так, чтобы он максимально облегчал установление контакта между людьми, присутствие которых желательно при принятии решений. В результате финансовый район представляет собой одно большое строение; улицы, практически очищенные от всего, кроме пешеходного движения, мало чем отличаются от коридоров и вентиляционных шахт. Когда наступает деловое утро, на углу Уолл-стрит и Бродвея гораздо спокойнее, чем во многих пригородных деловых центрах. Геометрическое положение, согласно которому площади двух сфер относятся друг к другу как кубы их диаметров, отправило небоскребы высоко в небо. Это было экономичным способом обеспечения доступности в центре». (*Haig R.M. Toward an understanding of the metropolis // Quarterly j. of economics.* — Oxford, 1926. — Vol. 40, N 2. — P. 427).

которое мы занимаем, и арендной платой, которую мы платим. Карты ставок арендной платы стали незаменимым подспорьем для так называемых аналитиков рынка и профессиональных рекламных агентов. Они содержат в себе индикаторы социального статуса, покупательной способности и общей кредитоспособности. Карты цен на землю становятся, стало быть, еще и примерным «указателем» к культурной жизни сообщества. Образно говоря, они помогают очертить культурный контур сообщества. Во всяком случае, цены на землю дают нам новый инструмент, с помощью которого мы можем охарактеризовать экологическую организацию сообщества, социальную среду и ареал обитания цивилизованного человека.

Составление карты цен на землю, которая графически представляла бы необычайные вариации цен на землю внутри городского сообщества, — одна из технических задач методологии, с которой исследователи человеческой экологии начали недавно экспериментировать. При составлении такой карты географические уровни игнорируются, а вместо них изображаются цены на землю. Это делается либо путем нанесения на плоскую поверхность контурных линий, либо с помощью пластических моделей. Благодаря недавно изобретенному средству, известному как «процедура Уэншоу», теперь можно механически размножать пластические модели, которые прежде производились вручную в единственных экземплярах.

Новейшие исследования, проведенные в Чикаго, показывают, что хотя цены на землю, как мы и ожидали, имеют тенденцию постепенно и регулярно падать по мере удаления от центра, симметрия этого паттерна нарушается на оживленных улицах, расходящихся радиально из центра города. Эти радиальные транспортные линии, занятые бизнесом, в основном розничной торговлей, высятся на манер горных хребтов над простирающейся между ними территорией, занятой жилыми кварталами. По мере приближения к центру города эти хребты растут в высоту — сначала медленно, а затем быстро, на подходе к центральному куполу высоких цен на землю. Представленные в виде профиля, цены на землю на одной из этих радиальных улиц выглядят так, как показано на рисунке «Градиент цен на землю на Мэдисон-авеню».



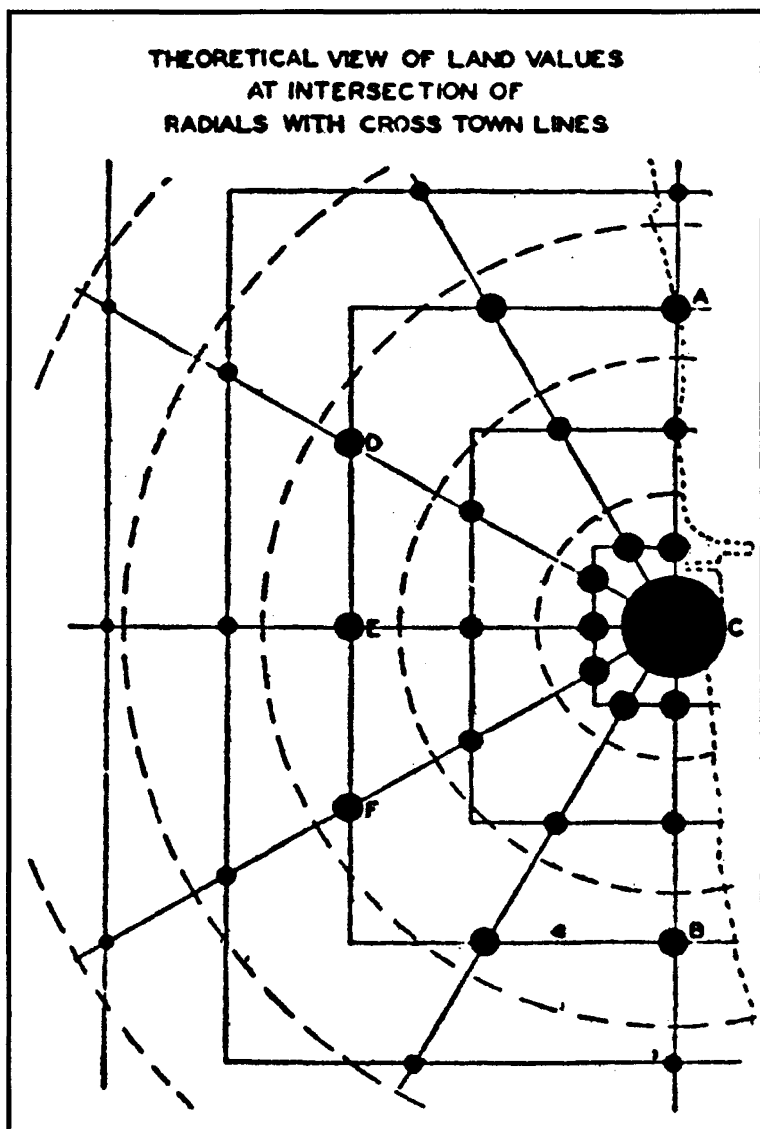
Градиент цен на землю, запад, на Мэдисон-стрит

Цены в долларах за квадратный фут

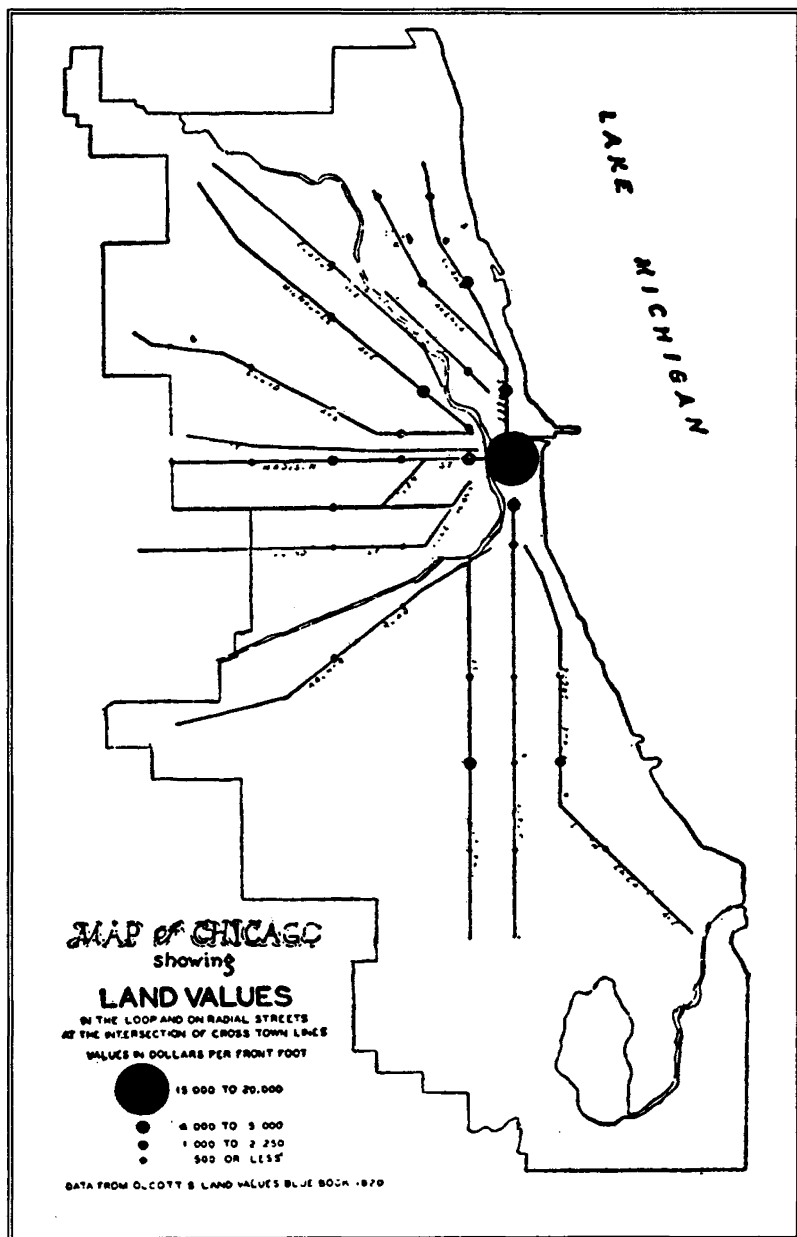
Данные из: Olcott's Land Values Blue Book of Chicago

Карта цен на землю в Чикаго может быть схематически представлена так, как показано на сопровождающем рисунке. Здесь «С» означает центр города, где цены на землю наиболее высоки, «АВ» показывает линию самых высоких цен на землю, проходящую вдоль берега озера, а линии «D», «E» и «F» — улицы, идущие из центра на запад, северо-запад и юго-запад. Эти радиальные линии пересекаются диагоналями, идущими на запад, север и юг. В точке пересечения обычно возникает новый деловой центр; в этих центрах цены на землю растут, и в целом эти подчиненные центры проявляют все характеристики, свойственные исходному центральному деловому району на берегу озера.

Из всех фактов, которые могут быть выражены географически, цены на землю являются для социолога, вероятно, самыми важными. Они важны тем, что дают сравнительно точный показатель сил, определяющих организацию занятости и культурную организацию сообщества, а также тем, что с их помощью можно выразить в числах и количествах очень многое из того, что является социологически значимым.



Теоретическое видение цен на землю на пересечении  
радиальных транспортных линий с кольцевыми





#### IV. Рамки соотнесения

При внимательном рассмотрении городское сообщество оказывается мозаикой меньших сообществ, многие из которых разительно отличаются друг от друга, но все более или менее типичны. В каждом городе есть свой центральный деловой район – средоточие всего городского комплекса. В каждом городе, особенно крупном, есть свои более или менее замкнутые жилые районы или пригороды, ареалы легкой и тяжелой промышленности, города-спутники и рынок временной рабочей силы, где вербуют мужчин для тяжелого неквалифицированного труда на дальних окраинах, в шахтах и лесах, на строительстве железных дорог и на буровых и земляных работах, необходимых необъятным структурам наших современных городов. В каждом американском городе есть свои трущобы, свои гетто и иммигрантские колонии – районы, сохраняющие более или менее чуждую и экзотическую культуру. Чуть ли не в каждом крупном городе есть свои богемные и бродяжно-богемные районы, где в жизни больше свободы, авантюризма и одиночества, чем в других местах. Это так называемые *естественные ареалы* города. Они являются продуктами сил, постоянная работа которых создает упорядоченное распределение популяций и функций внутри городского комплекса. Они «естественны», потому что никто их не планировал, и порядок, который они нам являют, – не результат чьего-либо умысла, а скорее выражение тенденций, присущих самой городской ситуации, тенденций, которые городское планирование пытается, хотя не всегда успешно, контролировать и корректировать. Короче говоря, структура города, какой мы ее находим, является в такой же степени продуктом борьбы и попыток людей жить и работать сообща, как и его локальные обычаи, традиции, социальный ритуал, законы, общественное мнение и преобладающий моральный порядок.

Более того, структура, выявленная недавними исследованиями городского сообщества, вообще характерна для городов. Иначе говоря, проявляемый ею паттерн можно описать в понятиях. Городские ареалы – не просто «события»; это вещи, и районы одного города сопоставимы с районами другого.

Итак, факт первостепенной важности состоит в том, что социальная статистика – рождаемости и смертности, браков и разводов, самоубийств и преступности – приобретает новую значимость, когда ее данные собираются и перегруппируются так, чтобы охарактеризовать эти естественные ареалы. Ареал характе-

ризуется (1) численностью и расовым составом популяции, которая его занимает, (2) условиями, в которых она живет, и (3) привычками, обычаями и поведением, которые она проявляет. Короче говоря, место, люди и условия, в которых они живут, понимаются здесь как некий комплекс, элементы которого более или менее полностью связаны воедино, пусть даже способы этой связи не были до сих пор ясно установлены. Одним словом, мы исходим из того, что отчасти в результате отбора и сегрегации, а отчасти ввиду заразительности культурных паттернов люди, живущие в естественных ареалах одного и того же общего типа и подверженные влиянию одних и тех же социальных условий, будут проявлять, в общем и целом, одни и те же характеристики.

Исследования показали, что это предположение достаточно верно, чтобы можно было принять его как рабочую гипотезу. Во всяком случае, оказывается, что, когда в основу статистических исследований кладутся естественные ареалы, а не официальные административные районы, разные районы обнаруживают неожиданные и значимые расхождения, остававшиеся сокрытыми до тех пор, пока статистические данные распределялись по районам, определяемым не естественно. Как показали исследования Маурера, посвященные семейной дезорганизации, в городе Чикаго есть ареалы, в которых вообще нет разводов, и есть ареалы, в которых во все исследованные годы уровень разводов был выше, чем в любом штате страны, за исключением мекки желающих развестись, штата Невада. Распределение статистических данных по разводам и уходам из семьи показывает, кстати, что для большей части населения развод — непозволительная роскошь и что уход из семьи становится для бедного человека его равнозначной заменой<sup>1</sup>.

Недавние исследования самоубийств, по всей видимости, показывают обратно пропорциональную связь между тяжкими преступлениями и самоубийствами: самоубийство есть форма насилия, направленная не против других, а против самого себя. Немцы и японцы, всюду демонстрирующие относительно низкий уровень преступности, вносят сравнительно высокий вклад в годовую квоту самоубийств. В свою очередь, негры и ирландцы, занимающие высокие строчки в статистике насильственных пре-

---

<sup>1</sup> Mowrer E.R. Family disorganization. — Chicago: Univ. of Chicago press, 1927. — P. 12.

ступлений, редко совершают самоубийства<sup>1</sup>. Район, который Нельс Андерсон в своей работе о бродячих рабочих называет «Хобогемией» («бродяжно-богемным районом»), демонстрирует необычайно высокий уровень смертности от алкоголизма, который, кстати, как и самоубийство, является способом самоуничтожения. С другой стороны, «Богемия» – район молодости и разочарования – проявляет заметное превышение в уровне суицидов.

Естественные ареалы города, как видно из вышесказанного, могут выполнять для нас важную методологическую функцию. Взятые вместе, они образуют то, что Хобсон назвал «рамкой соотношения», т.е. понятийный порядок, в рамках которого статистические факты приобретают новую, более общую значимость. Они не только говорят нам, каковы факты, относящиеся к условиям в некоем данном районе, но и – поскольку они характеризуют ареал, являющийся естественным и типичным, – устанавливают рабочую гипотезу в отношении других ареалов того же рода<sup>2</sup>.

Очевидно, что ареалы городского сообщества можно характеризовать указанным способом до бесконечности. Наверное, не все, но большинство статистически представимых фактов, стоит только нам поместить их в эту концептуальную схему – эту экологическую рамку соотношения, – могут дать основу для общих утверждений, которые можно будет, в конце концов, свести к абстрактным формулам и научным обобщениям.

Возможность извлечения из того, что кто-то наблюдал и описывал в Лондоне, выводов о том, что мы могли бы ожидать в Нью-Йорке или Чикаго, базируется, надо сказать, на допущении, что одни и те же силы везде создают условия, в существенных чертах одинаковые. На практике может оказаться, что это ожидание не подтверждается или вроде не подтверждается фактами. По крайней мере, оно может быть верифицировано, и это главное. Если бы ожидания касательно Лондона, основанные на исследованиях, проведенных в Нью-Йорке и Чикаго, не подтвердились фактами, это по крайней мере поставило бы вопрос о том, насколько силы, сделавшие Лондон тем, что он есть, отличаются от сил, сотворивших Чикаго и Нью-Йорк. А это привело бы, в свою очередь, к более основательному и точному анализу действительных сил, работавших в том и другом случае.

---

<sup>1</sup> *Shonle R.* Suicide: A study of personal disorganization / University of Chicago Ph.D. thesis, 1926.

<sup>2</sup> *Hobson E.W.* The realm of nature. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1922.

Таким образом, результат каждого нового конкретного исследования должен подтверждать или переопределять, уточнять или расширять гипотезу, на которой изначально это исследование базировалось. Результаты должны не только увеличивать наш запас информации, но и позволять сводить наши наблюдения к общим формулам и количественным утверждениям, верным для всех случаев одного и того же типа. Возможность общей дедукции покоится в настоящем случае на обоснованности концепции естественного ареала. Экологическая организация сообщества становится рамкой соотнесения только тогда, когда сама она, как и естественные ареалы, из которых она складывается, может быть рассмотрена как продукт общих и типичных факторов. Знание становится систематическим и общим, когда мы можем делать утверждения относительно вещей, а не просто описывать события<sup>1</sup>. Именно с помощью такой рамки соотнесения, которую я описал, становится возможным переход от конкретного факта к систематическому и концептуальному знанию.

## V. История

Естественные ареалы, на которые разбивается городское сообщество и фактически любой другой тип сообщества, являются, по крайней мере в первом случае, продуктом процесса просеивания и сортировки, который можно назвать сегрегацией. Каждое изменение в условиях социальной жизни проявляется в первую очередь и очевиднее всего в возросшей мобильности и передвижениях, увенчивающихся сегрегацией. Эта сегрегация определяет физические конфигурации, последовательно принимаемые изменяющимся сообществом. А эта физическая форма, в свою очередь, вызывает изменения в культурной организации сообщества.

Движения населения обычно вызываются экономическими изменениями, и новое равновесие достигается лишь тогда, когда сложится более эффективная экономика. Однако общество не сводится к экономике, и человеческая природа всегда приводится в движение мотивами, которые являются личностными и социальными, а не только экономическими. Если с одной из сторон сообщество можно охарактеризовать как разделение труда и не-

---

<sup>1</sup> Whitehead A.N. An enquiry concerning the principles of natural knowledge. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1919. – Pt. 4: The data of science.

которую форму соревновательной кооперации, то с другой стороны его характеризуют консенсус и моральный порядок. В рамках этого морального порядка индивиды обретают характер персон, сознающих себя и свою роль в сообществе. Одним из самых настоятельных и неискоренимых человеческих мотивов является тот, который заставляет каждого из нас поддерживать, защищать и по возможности улучшать свой статус. Однако статус — предмет консенсуса. В каждом конкретном случае он во многом определяется тем, насколько индивид способен участвовать в достижении общих целей сообщества, подчиняться его стандартам, соблюдать его дисциплину или, опираясь на силу личного престижа и влияния, навязывать собственные цели своим сотоварищам.

В сложном обществе вроде нашего индивид становится членом многих разных обществ и социальных групп, в которых он имеет разные статусы и играет разные роли. Миграция, движение и изменение экономических условий разрушают существующие формы социального порядка и подрывают статус. Новые средства передвижения, в частности автомобиль, уже глубоко изменили условия и характер современной жизни. Автомобиль объявлен ответственным за появление новых форм преступности и новых типов преступников. Кино и газета принесли с собой удивительные изменения в наших манерах и нравах. Невозможно даже представить, до какой степени радио и аэроплан усложнили и изменяют в конечном счете наши международные отношения. Новые контакты требуют новых приноровлений, создают новые формы социального общения и распространяют на более широкие массы людей возможность и необходимость участия в общей жизни. Ведение летописи этой общей жизни, интерпретация и осмысление общей культурной традиции — задача истории. Передача этой традиции и тем самым сохранение исторической преемственности общества и социальной жизни — функция образования<sup>1</sup>.

Этнология и антропология, являющиеся, во всяком случае в исходных посылах, историческими науками, интересовались до сих пор главным образом культурными формами и артефактами примитивных обществ или культурными останками уже не существующих обществ. Но культурные останки, фольклор, культурные формы и социальная организация, как бы ни были они сами по себе интересны, не обеспечивают адекватного описания обще-

---

<sup>1</sup> *Dewey J. Democracy and education.* — N.Y.: Macmillan, 1923.

ства или социального порядка, пока мы не раскроем их смысл. Мы хотим знать, как использовались орудия, с какими чувствами и установками относились к ним народы, которые ими пользовались. Институты продолжают представлять свои древние внешние формы, давно перестав служить тем целям, ради которых они изначально были созданы. Религиозные формы и церемонии, бывшие некогда выражением живой веры и источником утешения и воодушевления для тех, кто их практиковал, со временем становятся лишь почитаемыми, но уже непонятными рудиментами. Ритуальные формы, некогда символические и экспрессивные, вырождаются в простые магические формулы. Социальным наукам, в том числе социологии, присуще желание не просто знать, что некие вещи существуют или когда-то существовали, но знать также, что они значили для людей, частью культуры которых они были.

Социологию, в отличие от социальной антропологии, интересовали в основном так называемые социальные проблемы – бедность, преступность, проституция, личностная и семейная дезорганизация, злоупотребления политической властью – и направленные на них реформаторские усилия. Попытки понять эти проблемы вели между тем ко все более беспристрастному исследованию форм нынешней жизни, ее институтов и ее культур. При этом социологи выяснили, что каждый естественный ареал является или имеет тенденцию становиться при естественном ходе событий культурным ареалом. Каждый естественный ареал имеет или склонен иметь *свои* особые традиции, обычаи, конвенции, стандарты порядочности и приличия, и если не свой особый язык, то по крайней мере общий *универсум дискурса*, в котором слова и поступки имеют смысл, ощутимо специфичный для каждого локального сообщества. Нетрудно заметить это в случае иммигрантских сообществ, сохраняющих в более или менее нетронутом виде народные обычаи своих родных стран. Труднее увидеть, что это относится и к тем космополитическим районам города, где смешивается в сравнительно хаотичной круговерти разношерстное и непостоянное население. Однако в этих случаях сама свобода и отсутствие конвенции являются если уж не конвенцией, то по крайней мере секретом полишинеля. Даже в районах, где обычай больше не поощряет совесть,

осуществляют могущественный внешний контроль общественное мнение и мода<sup>1</sup>.

Изучая сообщество или любой естественный ареал под углом зрения его культуры, социология пользуется теми же методами, что и культурная антропология или история. В меру своих возможностей она пишет историю конкретного сообщества или ареала, которые собирается изучить<sup>2</sup>.

Местные газеты – кладези информации о местных традициях, чувствах и мнениях. Имена и биографии местных персонажей часто заслуживают того, чтобы их документировали. Значимо не то, что случилось, а то, что осталось в памяти. Локальные институты, подобно произведениям искусства и литературы, являются символическими выражениями общей жизни. Подобно искусству и литературе, они обладают протяженностью и формой, но в то же время имеют и четвертое измерение – смысл. Этот смысл не доступен нам непосредственно. Мы постигаем смысл социальных институтов так же, как узнаем значение слов, т.е. наблюдая способы их употребления, вникая в поводы и обстоятельства их зарождения и развития и обращая внимание на все необычное или уникальное в их истории. Социология, как и всякая естественная наука, классифицирует свои объекты, и, чтобы определить их понятийно и произвести из них абстракции, опираясь на которые можно получить общие выводы, ей приходится в конце концов пренебречь тем, что является в них уникальным и не поддается классификации. Но прежде чем классифицировать свои объекты, социология должна их иметь.

Что такое социальный объект? Артефакт; что-то сделанное; церемония, обычай, ритуал, слова; нечто такое, что, как слово, имеет значение и не есть то, чем оно кажется. Физический объект становится социальным объектом только тогда, когда мы знаем его применение, его функцию, его значение, его разные значения для разных людей. Взять, например, такой объект, как всем известный христианский символ – крест, или, пожалуй, даже еще лучше, – распятие. Надо выяснить, какие разные значения оно имело

---

<sup>1</sup> Tarde G. Les lois de l'imitation: Étude sociologique. – 2ème éd. – P.: Alcan, 1895. – Ch. 8. – P. 267–396.

<sup>2</sup> В связи с исследованиями локальных сообществ, проводимыми уже несколько лет Чикагским университетом, мисс Вивьен М. Палмер пишет в настоящее время историю примерно 80 локальных сообществ, находящихся в черте города Чикаго.

и имеет для ревностных христиан и правоверных иудеев. Видимо, только история может сделать для нас понятными эти разные значения. Тем не менее эти значения — неотъемлемая часть самой вещи. Именно потому, что история была *хроникой событий*, а не *описанием вещей*, она дала социологии большую, если не большую, часть ее предметного содержания. Что-то вроде истории — истории нынешней жизни — должно, по всей видимости, продолжать выполнять эту функцию.

## VI. Жизненные истории

При изучении современной жизни у социолога есть один инструмент исследования своего предмета, не доступный в равной степени ни историку, ни антропологу<sup>1</sup>. Он может интервьюировать индивидов, участвующих в том социальном порядке, который он хочет изучить, и являющихся частью этого порядка. Пользуясь интервью или интимными личными документами, он может выстраивать то, что называют на специальном языке «жизненными историями» (life histories).

Связь индивида с обществом, в котором он живет, вероятно, гораздо реальнее и теснее, чем до сих пор считали даже те, кто впервые привлек к ней внимание<sup>2</sup>. Люди, которым довелось жить вместе, хотя бы и совершенно случайно, неизбежно приобретают со временем общий запас воспоминаний, или традицию, некоторый общий стандарт приличия, некоторые принятые формы общения, этикет, манеры поведения и социальный ритуал, даже если их более глубокие мотивы и жизненные интересы остаются относительно нетронутыми. И столь же неизбежно продолжение взаимо-

---

<sup>1</sup>Трудности, с которыми сталкивается антрополог, изучая примитивные народы, — не просто обычные трудности, связанные с языком. Особое затруднение обусловлено тем, что примитивный человек лишен изощренного и точного мышления, и у него нет слов для передачи тонких смысловых оттенков вещей — вещей, которые до такой степени принимаются им как само собой разумеющиеся, что он не говорит о них иначе, кроме как символическим и экспрессивным языком. — См. статью Бронислава Малиновского в книге «*Значение значения*» под редакцией Ч.К. Огдена и А.А. Ричардса (Malinowski B. The problem of meaning in primitive languages // The meaning of meaning / Ed. by C.K. Ogden, I.A. Richards. — L.: Routledge, 1923. — P. 146–152).

<sup>2</sup>Cooley C.H. Human nature and the social order. — N.Y.: Scribner's sons, 1902 (рус. пер.: Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. — М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2000).



действия сводит личные привычки к конвенциональным формам, а последние приобретают со временем характер обязательных социальных обычаев.

В таком мире индивид рождается и живет. Обычаи сообщества становятся его привычками. При обычном ходе событий он принимает роль, предписанную ему сообществом, и пытается, по крайней мере внешне, ей соответствовать. Он делает это по разным причинам, помимо прочего потому, что нуждается в признании, уважении, статусе. Независимости в поступках, выходящей за рамки некоторых предписанных ограничений, от него не ждут, и пока он подчиняется требованиям, он скорее всего будет оставаться наивным, не проявлять к себе интереса и не осознавать свое поведение.

Тем не менее индивид развивает свою личность, а общество перестает быть просто инертной массой именно благодаря неконформности. Индивид может выделить себя среди других и стать амбициозным, может потерпеть неудачу, может смошенничать, может совершить что-то непростительное и мучиться угрызениями совести. В любом случае в результате столкновения с существующим социальным порядком и соразмерно силе этого столкновения он начинает сознавать самого себя. В итоге образуется тот неизбежный личностный тыл (*personal reserve\**), который конституирует его частную жизнь. Этот тыл, которым маленькие дети, кстати говоря, не обладают, приобретает со временем и при определенных обстоятельствах характер чего-то священного и пугающего. Сам индивид воспринимает его как нечто совершенно или почти недоступное другим умам. Общество складывается из таких самосознательных личностей, и эти что-то в себе вынашивающие, субъективные, непроницаемые Я – такой же продукт личностной ассоциации, как и те традиции, обычаи и объективные формы социальной жизни, которым они в своей недостижимой приватности себя противопоставляют.

Итак, оказывается, что привычка и обычай, личность и культура, персона и общество являются в некотором роде разными аспектами одного и того же. Личность описывалась как субъективный и индивидуальный аспект культуры, а культура – как объективный, родовой или общий аспект личности. Но связь между культурной жизнью сообщества и личной жизнью составляющих его индивидов реальнее и динамичнее, чем видно из этого утверждения. Ин-

---

\* См. пояснение этого термина в примечании переводчика к статье «Понятие социальной дистанции». – *Прим. перев.*

тимные устные и письменные свидетельства, на которых основаны жизненные истории, помогают обнаружить взаимодействие между этой частной жизнью, которую индивид обычно интенсивно создает, и теми более объективными аспектами его личности — а именно обычаями и нравами его круга, общества или социальной группы, — которые обычно им не осознаются, по крайней мере до тех пор, пока он не оказывается с ними в конфликте.

Кстати говоря, этот конфликт тоже обычно имеет как внутреннюю и субъективную, так и внешнюю и объективную стороны. Иными словами, индивид становится проблемой и для себя, и для общества. В первом случае конфликт принимает в целом характер моральной борьбы, а во втором может принять форму культурного и, в конце концов, политического конфликта. Подходящий пример дает борьба за введение сухого закона. Миграция, сводя народы с разным культурным наследием, неизбежно вызывает культурные конфликты сначала между местными и пришлыми группами, а затем, особенно в силу того, что второе поколение перенимает местную культуру быстрее первого, — между иммигрантами первого и второго поколений.

Такие жизненные истории, как иммигрантские биографии, которых за последние годы было много опубликовано, проливают свет на эту борьбу и делают понятным характер заключенного здесь культурного процесса.

Жизненные истории, как их понимают социологи, не являются, однако, автобиографиями в привычном смысле слова. По сути это скорее исповеди, интимные личные документы, нацеленные не столько на фиксацию внешних событий, сколько на обнаружение чувств и установок. Из раскрываемых жизненными историями установок для социолога важнее всего те, которые индивид совершенно не сознает или не сознавал до тех пор, пока на них не обратили его внимание. Люди знают себя так, как они знают других людей и как те их знают. Они тонко чувствуют уникальное и отличающее, а то, чем один человек кажется на другого похожим, их не интересует. Так, мнения индивида, которые всегда вполне ясно им осознаются, обычно оказываются наименее важными из его личных установок. Именно те вещи, которые люди воспринимают как само собой разумеющиеся, раскрывают одновременно и персону, и общество, в котором она живет. Наивное поведение индивида служит, следовательно, надежным индикатором того общества, членом которого он является.

Изучать общество — семью, локальное сообщество, мальчишеские шайки, политические партии, общественность, общественное мнение — в частных жизнях и опытах его индивидуальных членов социологи стали лишь недавно. Томас и Знанецкий первыми попытались это сделать, и результат был впечатляющим. Они собрали 15 тыс. личных писем, которыми обменивались польские крестьяне, жившие в нашей стране и в Польше<sup>1</sup>. Они опубликовали в полном объеме биографию одного анонимного польского авантюриста. В опоре на этот и прочие подобные материалы им удалось осуществить подробный анализ нынешней польской крестьянской культуры в Европе и тех последствий, которые имел для польского иммигранта крах этой культуры под влиянием городской среды нашей страны<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America: In 5 vol. — Boston: Badger, 1918.

<sup>2</sup> Во введении к третьему тому «Польского крестьянина», содержащему то, что авторы называют «жизнеописанием иммигранта», Томас и Знанецкий высказали интересное соображение относительно природы и ценности документов этого рода. Помимо прочего, они пишут:

«Мы с уверенностью утверждаем, что личные жизнеописания, как можно более полные, представляют собой *совершенный* тип социологического материала, и если социальной науке вообще приходится пользоваться другими материалами, то только в силу практических трудностей, связанных с одномоментным получением достаточного числа таких документов, чтобы ими покрывался весь круг социологических проблем, а также в силу огромного объема работы, требующегося для адекватного анализа всех личных материалов, необходимых для характеристики жизни социальной группы.

Ясно, на самом деле, что даже для характеристики единичных социальных данных, таких, как установки и ценности, личные жизнеописания дают нам наиболее точный подход. Установка, манифестируемая в одном обособленном акте, всегда может быть проинтерпретирована неправильно, но эта опасность снижается в той мере, в какой мы способны связать этот акт с прошлыми актами этого же самого индивида. Социальный институт можно в полной мере понять, только если мы не ограничимся абстрактным изучением его формальной организации, а сделаем предметом анализа то, как он проявляется в личном опыте различных членов группы, и проследим влияние, которое он оказывает на их жизни. И с особенной силой превосходство жизнеописаний над всеми другими видами материала, используемыми для социологического анализа, проявляется тогда, когда мы переходим от характеристики единичных данных к определению фактов, ибо нет более надежного и эффективного способа найти среди бесчисленных antecedentov социального события (happening) реальные причины этого события, чем проанализировать прошлое тех индивидов, через вмешательство которых свершилось это событие. Развитие социологических исследований в течение последних пятнадцати — двадцати лет, особенно все больший акцент, который под

Чуть позже Морис Т. Прайс опубликовал книгу *«Христианские миссии и восточные цивилизации»*, основанную по большей части на личных записях миссионеров об их работе на Востоке<sup>1</sup>. Еще позже Чарлз С. Джонсон в рамках Обследования расовых отношений в Чикаго, проводившегося под руководством комиссии штата, провел исследование установок американской общественности по отношению к неграм<sup>2</sup>. Это исследование, как и другие вышеупомянутые, опиралось в значительной степени на личные документы и интерпретации этих документов.

Если мы и впрямь должны исследовать личные опыты индивидов, чтобы найти истоки и значение наших культурных форм, то столь же верно и то, что действия индивида можно понять и объяснить только посредством рассмотрения их в том социальном и культурном контексте, в котором они происходят. Социология всегда была склонна делать упор на «среду» как на определяющий фактор человеческого поведения, и многие реформы последних лет, если не большинство, – переустройство жилья, разбивка детских игровых площадок и общее улучшение физических условий жизни в наших городах – опирались на особую инвайронментальную теорию социальной причинности. Например, предпринимались попытки обосновать строительство игровых площадок теорией, согласно которой они снижают подростковую делинквентность. Если делинквентность при этом все-таки возрастала, то объяснение этому находили чаще всего в растущей популярности кино и танцевальных залов. В последнее время более детальные и конкретные исследования позволили нам яснее понять социальную среду и ее связь с преступностью и пороком.

В декабре 1926 г. на собрании Американского социологического общества Клиффорд Р. Шоу из Института подростковых исследований выступил с докладом, основанным на некоторых исследованиях подростковой делинквентности, в которых он ис-

---

давлением практических нужд делается на конкретные и действительные эмпирические проблемы, в противовес общим спекулятивным рассуждениям предшествующего периода, ведет к растущему осознанию того, что мы должны собирать более полные социологические документы, нежели те, которыми мы обладаем» (Thomas W.I., Znaniecki F. Op. cit. – Vol. 3. – P. 1932–1933).

<sup>1</sup> Price M.T. Christian missions and Oriental civilizations: A study in culture contacts. – Shanghai, 1924.

<sup>2</sup> Johnson C.S. The Negro in Chicago: A study of race relations and a race riot. – Chicago: Chicago Commission on Race Relations, 1922.

пользовал то, что мы называли жизненно-историческим материалом<sup>1</sup>. Эти подробные исследования, основанные на интервью с делинквентными подростками, членами их семей и их соседями, едва ли не впервые показали, в каком мире делинквентные подростки на самом деле живут.

Трэшер в исследовании шайки, тоже основанном на личных интервью и личных документах, уже дал нам живописную картину того, что он назвал «миром шаек» (gangland)<sup>2</sup>. Однако материалы, на которых базировалось исследование Шоу, брались из своего рода неформального суда, на котором члены семьи выступали в роли обвинителей, делинквентный подросток – в роли обвиняемого, а исследователь – в роли судьи. По сути, процедура сбора материала для таких единичных жизненных историй мало чем отличается от более формальной процедуры, принятой во французских уголовных судах, где обвинителя и обвиняемого сводят лицом к лицу, предоставляя каждому возможность изложить свою позицию по делу с помощью вопросов и ответов. В этих условиях, когда все акторы активно вовлечены в процесс, не только язык, но также акценты и жесты участников становятся значимыми и, насколько это возможно, регистрируются в отчете.

Разница в процедуре начинается после того, как в неформальном суде объявляется перерыв и запись прекращается. Поскольку построенное таким образом расследование не является судебной процедурой, а «семейное интервью» – не свидетельское показание, а всего лишь поведенческий документ, последнее не делается основой для юридического разбирательства, а служит, в совокупности с психологическими тестами и психиатрическими записями, основанием для социального диагноза. Поскольку такой диагноз может затрагивать и часто затрагивает не только самого делинквентного подростка, но также его семью, соседство и игровую группу, последующая процедура часто оказывается весьма трудноосуществимой. Нередко, однако, делинквентность обусловлена – и это особенно верно для иммигрантов – неумением родителей понять тот особый мир, в котором живет их ребенок. Иногда

---

<sup>1</sup> Proceedings of the American sociological society. – Wash., 1927. – Vol. 21. – P. 149–157.

<sup>2</sup> Thrasher F.M. The gang. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1927 (см. перевод автореферата этой работы на русский язык: Трэшер Ф.М. Шайка: Исследование 1313 шаек Чикаго // Личность. Культура. Общество. – М., 2003. – Т. 5, вып. 3–4. – С. 237–244).

проблема не в семье, а в соседстве. В «смешанном» сообществе семье нелегко поддерживать дисциплину среди своих членов. Когда в соседстве не находится поддержки тем стандартам и нравам, которых старается придерживаться семья, дисциплина в семье почти неизменно рушится.

Эрнест У. Бёрджесс в докладе, сделанном на собрании Американского социологического общества в 1926 г.<sup>1</sup>, показал, помимо прочего, что уровень делинквентности достигает пика, 443 на 1000, в трущобе и падает до 54 в ареале доходных домов; начиная с этой точки он продолжает снижаться в форме плавной кривой до тех пор, пока в шести-семи милях от «петли», где высока доля частного домовладения и сообщество относительно гомогенное и стабильное, не достигает нуля. Эти цифры, показывающие, насколько разной частотой подростковых правонарушений характеризуются разные культурные ареалы города, становятся еще более понятными и значимыми, если видеть их в свете предпринятых Шоу более интенсивных и тщательных исследований индивидуальных случаев. Так жизненные истории и статистические исследования дополняют друг друга.

Жизненные истории, когда есть возможность их собрать, почти всегда интересны, ибо почти всегда высвечивают какой-нибудь аспект социальной и моральной жизни, который мы до сих пор могли знать лишь косвенно, через статистику или формальные сведения. В одном случае мы сродни человеку, который стоит в темноте, смотрит снаружи на дом и пытается угадать, что происходит внутри. В другом — мы сродни человеку, который открыл дверь и, войдя внутрь, видит перед собой все то, о чем он прежде только гадал. Трудность в том, что личные истории очень объемны, и нам в интересах экономии приходится в конце концов редуцировать их к более или менее формальным типам. Меж тем никто до сих пор так и не предложил вполне удовлетворительной схемы классификации личностных типов, хотя на эту тему много написано и проведено немало экспериментов. Социологическая схема классификации личностных типов должна опираться на жизненные истории, но, за исключением трех типов, выделенных Томасом и Знанецким, а именно филистера, божественной личности и творческого человека (гения), никакой подобной классификации не существует.

---

<sup>1</sup> Burgess E.W. The determination of gradients in the growth of the city // Proceedings of the American sociological society. — Vol. 21. — P. 178—184.

Если теперь спросить, какие факты в личной истории индивида являются для большинства или всех целей подлинно значимыми, то, как мне кажется, мы обязаны сказать, что самый важный факт, касающийся любого человека, — это: чем обычно поглощено его внимание; каковы темы его грез и мечтаний; и какова та роль, в которой он сам себя мыслит? Какими были его акты и каковы сейчас его привычки — это мы можем знать. Помимо этих фактов его истории, важно, однако, знать его незавершенные акты: на что он надеется; о чем мечтает; каковы его изменчивые импульсы, «искушения»?

При изучении семьи нам интересно знать, передаются ли детям традиции родителей, переходят ли к младшему поколению и реализуются ли в нем планы и чаяния старшего поколения. Если этого не происходит, мы, можно сказать, уже имеем семейную дезорганизацию, ибо семья — носитель традиции, и, передавая эту традицию, семья вовлекается в коллективный акт. Именно благодаря таким коллективным актам и передаче незавершенного акта одного поколения индивидам другого поколения не только возникает, но и сохраняет свою жизнь культура.

Точно так же как важнейшим фактом, касающимся индивидуальной персоны, являются ее надежды и чаяния, важнейшим фактом в случае народа, или нации, является литература. Устремлен ли взор наших писателей и социальных пророков в будущее или в прошлое? Не просто ли они критичны и ворчливы? Какие грезы они нам внушают? К каким будущим действиям они нас зовут? Если привести какой-нибудь яркий пример, то самое значительное, что произошло с неграми после эмансипации, — это, на мой взгляд, рождение негритянской литературы. Точно так же последним ключевым событием в жизни евреев стал сионизм, а в жизни Азии — китайский национализм. Этот феномен тоже можно изучить систематически, но это уже другая история, требующая иной исследовательской техники.

## **СИМБИОЗ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ: СХЕМА СООТНЕСЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВА \***

### **I. Человеческое общество и человеческая экология**

Человеческое общество всюду явлено беспристрастному наблюдателю во множестве разных аспектов, но прежде всего в двух. Общество – это явно собрание индивидов, живущих вместе, подобно растениям и животным, в пределах общего хабитата, и оно, конечно, есть нечто большее. Оно является, хотя, возможно, и не всегда, собранием индивидов, способных к тому или иному роду слаженного и согласованного действия.

Рассматриваемое абстрактно, так, как оно, возможно, предстанет взору географа или демографа, исследующего его с точки зрения числа, плотности и распределения образующих его индивидуальных единиц, любое общество, возможно, покажется не более чем агломерацией дискретных индивидов, ни один из которых не связан зримо ни с кем другим и ни от кого не зависит.

Более внимательное наблюдение этого якобы нескоординированного скопления скорее всего обнаружит в территориальном распределении его составных элементов более или менее типичный порядок и паттерн. Кроме того, с увеличением численности этот паттерн будет скорее всего проявлять типичную последовательность изменений. Такое оседлое и территориально организованное общество обычно описывается как сообщество.

Еще более пристальный взгляд скорее всего обнаружит тот факт, что это конкретное общество и другие, схожие с ним по типу, вовсе не являются, как, возможно, склонен воспринимать их демо-

---

\* *Park R.E. Symbiosis and socialization: A frame of reference for the study of society // American j. of sociology. – Chicago, 1939. – Vol. 45, N 1. – P. 1–25.*  
Перевод публикуется впервые.



граф, всего лишь агрегатами статистических сущностей, но что лучше описывать их как конstellляции взаимодействующих индивидов, в которых каждая индивидуальная единица как-то стратегически размещена с точки зрения ее зависимости от каждой другой единицы, а также от общего хабитата. И еще один момент: вся эта конstellляция будет находиться в состоянии более или менее неустойчивого равновесия.

Состояние неустойчивого равновесия позволяет сообществу сохранять как функциональное единство, так и преемственность — т.е. идентичность во времени и пространстве — путем постоянного перераспределения своей популяции, сопровождающегося относительно небольшими переналадками функциональных связей между его элементами. Территориальный порядок, существующий в таком сообществе, и функциональные связи индивидов и групп, образующих популяцию, будут в известной мере контролироваться конкуренцией, или, если прибегнуть к более широкому термину, тем, что Дарвин назвал «борьбой за существование».

Таким, вкратце и по существу, выглядит человеческое общество с точки зрения человеческой экологии. Главное здесь то, что сообщество в таком его понимании есть одновременно территориальная и функциональная единица.

Описываемое таким образом, абстрактно и безотносительно к другим, более конкретным его характеристикам, человеческое сообщество по сути не отличается от растительного. Я бы добавил, если бы это не было совершенно не относящимся к делу, что в наши дни смуты и потрясений уютно думать, что общество и люди в спокойном состоянии сохраняют и демонстрируют достоинство и безмятежность, свойственные растениям.

Можно взглянуть на общество и с другой точки зрения, и с этой точки зрения оно представляется не сообществом или, во всяком случае, не просто скоплением относительно фиксированных и оседлых единиц, а ассоциацией индивидов, участвующих в коллективном акте. Самый наглядный пример такого единства — это семья, сохраняющая свою идентичность и целостность не только в оседлом состоянии, но и при миграции. О сообществах вряд ли можно говорить, что они мигрируют. Другими примерами действующих коллективных сущностей являются толпы, шайки, политические партии, группы давления, классы, касты, национальности и нации. Все, что массово мигрирует — пчелиный рой, стая волков или стадо скота, — скорее всего будет проявлять

некоторые или все характеристики таких обществ, способных к коллективному действию.

По всей видимости, каждая возможная форма ассоциации является или должна при определенных обстоятельствах быть способной к коллективному действию. Вместе с тем есть такие типы сообществ, индивидуальные члены которых живут в состоянии взаимозависимости, описываемой иногда как социальная, но которые совершенно неспособны к коллективному действию. С распространением торговых сношений в каждый естественный регион земного шара можно, пожалуй, сказать, что весь мир живет теперь в своего рода симбиозе; но мировое сообщество, по крайней мере в настоящее время, совершенно неспособно к коллективному действию.

Обычно симбиоз определяют как совместную жизнь разных, несхожих друг с другом видов, особенно когда эта связь для них взаимовыгодна<sup>1</sup>. Уилер в своей замечательной книге об общественных насекомых говорит, что социальную жизнь — всякую социальную жизнь — «можно на самом деле считать просто особой формой симбиоза»<sup>2</sup>. Другие авторы, похоже, склонны считать любую форму симбиотической связи в каком-то смысле и в какой-то степени социальной. Во всяком случае, во многих формах человеческой ассоциации обнаруживается сотрудничество, достаточное для поддержания общей экономики, но нет коммуникации и консенсуса, достаточных для того, чтобы обеспечить хотя бы подобие эффективного коллективного действия<sup>3</sup>. Любую ассоциацию, в которой территориально рассредоточенные индивиды неосознанно конкурируют и сотрудничают, или посредством обмена благами и услугами конституируются как экономическое единство, можно описать как сущность скорее симбиотическую, чем социальную в том ограниченном смысле, в каком мы употребляем этот термин, мысля семью как прототип любого другого вида социальной группы.

Между тем есть такие формы ассоциации, при которых люди живут за счет общества так, как хищники или паразиты за счет хозяина, или совместно живут в связи, в которой ими выполняются

---

<sup>1</sup> См.: An ecological glossary. — Norman: Univ. of Oklahoma press, 1938. — P. 268.

<sup>2</sup> Wheeler W.M. Social life among the insects. — N.Y.: Harcourt, Brace & co., 1923. — P. 195.

<sup>3</sup> Park R.E. Reflections on communication and culture // American j. of sociology. — Chicago, 1938. — Vol. 44, N 2. — P. 192..

прямо или косвенно обоюдно полезные функции, но которой ни они сами, ни их симбионты не осознают. Все эти различные формы ассоциации можно назвать примерами симбиоза, но эти формы ассоциации не социальные в том смысле, в каком этот термин обычно применяется к человеческим отношениям, особенно таким, которые признаны обычаем и подкреплены ожиданиями тех, кто его придерживается.

Вспоминается так называемая «безмолвная торговля» (*silent trade*), несколько случайных описаний которой мы находим в истории европейских контактов с примитивными народами. Здесь есть контакт, т.е. своего рода понимание, но нет обычая. Была ли эта форма ассоциации симбиотической или социальной? Это явно пограничный случай<sup>1</sup>. В Индии есть «преступные племена» и народы-парии, живущие в своего рода симбиотической связи с другими народами этой страны. Наконец, есть профессиональные касты, в случае которых индивиды и группы индивидов живут и трудятся сообща на условиях некоторого общего понимания, но не едят вместе и не заключают взаимных браков. Касты не являются биологическими видами и, несмотря на запрещающие это правила, скрещиваются. Однако кастовые связи можно рассматривать в каком-то смысле как симбиотические, поскольку они сводят народы в экономических и промышленных отношениях, но запрещают ту близость и то понимание, которые, видимо, необходимы для участия в одном моральном порядке — таком порядке, обнаружения которого мы ожидаем в демократически организованном обществе.

Касты вполне могут жить вместе, выполняя свои особые функции в той экономике, частями которой они являются. При этом кастам обычно трудно, хотя и не невозможно, участвовать в коллективном акте такого рода, какой нужен для образования национального государства. Индийское государство, когда (и если) оно добьется независимости от Англии, скорее всего сохранит свой имперский характер, поскольку будет оставаться собранием этнических и языковых меньшинств. Национализм и империализм в этом плане тоже неизменно предполагают своего рода солидарность, обычно создаваемую в процессе коллективного действия, но подразумевающую активное участие всех индивидуальных единиц в общем деле.

Видов коллективного действия, разумеется, очень много; наиболее элементарным и повсеместным, несомненно, является

---

<sup>1</sup> *Hamilton Grierson P.J.* The silent trade. — Edinburgh: Green, 1903.

массовая миграция. Пчелы роятся, птицы мигрируют, и люди вдруг срываются с места в поисках какого-нибудь нового Эльдорадо или в надежде отыскать какую-то новую Утопию. Коллективное действие любого рода требует той или иной формы коммуникации; только так возможно обрести и сохранить ту слаженность и согласованность в движениях индивидуальных единиц, которую мы обычно приписываем акту, в противоположность случайным и ненаправленным движениям, в которых находит выражение простой импульс<sup>1</sup>.

Ясно, что здесь мы имеем дело с разными типами ассоциации, которые порождаются и поддерживаются, в общем и целом, один конкуренцией, а другой – коммуникацией или тем и другим. Один является симбиотическим и обыкновенно принимает форму разделения труда между конкурирующими организмами или группами организмов. Другой является социальным в обычном, более узком смысле этого термина и базируется на коммуникации и консенсусе, что подразумевает тип солидарности, основанный на участии в общем предприятии и предполагающий более или менее полное подчинение индивидов замыслу и задаче группы в целом.

Как функционируют конкуренция и коммуникация, первая из которых вызывает все большую специализацию и индивидуацию индивида, а вторая – интеграцию и подчинение индивидов интересам общества, я уже показал в упомянутой выше статье о коммуникации. Остается лишь прояснить, как эти два типа организации, симбиотический и социальный, взаимодействуя и сочетаясь, порождают специфические типы ассоциации – экологические, экономические, политические (или обычные) и культурные, – отличающие институты общества, или типы социальной организации, которые конституируют предметы нескольких социальных наук (экологии, экономики, политики и социологии).

Социологию, в обычном ее понимании, интересуют в первую очередь природа и естественная история институтов, процессы, посредством которых институты развиваются и постепенно отличаются в те особые и стабильные формы, в которых они нам известны. Между тем обычные, культурные и моральные связи явным образом зависят от политических, экономических и в конечном счете тех более элементарных ассоциаций, которые создаются чистой борьбой за существование, и восприимчивы к ним. Кроме того, более тесные и семейные типы ассоциации вырастают в среде,

---

<sup>1</sup> *Heape W.* Emigration, migration and nomadism. – Cambridge: Heffer & sons, 1931. – P. 137–146; *Elton C.* Animal ecology. – N.Y.: Macmillan, 1927. – P. 132–133.

порождаемой более свободной, индивидуалистической и мирской ассоциацией политического и экономического общества.

## II. Институты и коллективное поведение

Институты коренятся в действительных интересах и делах обыденной жизни и иногда возникают совершенно неожиданно в ответ на давление какой-то неотвратимости — наводнения, голода, войны, — чего-то такого, что делает настоятельно необходимым коллективное действие. Во всяком случае, именно таким путем возникли фашистские институты в Италии и Германии. Профсоюзные организации, например, возникли для проведения забастовок и управления вялотекущей революцией, постепенно трансформирующей капиталистическую систему. Арбитражные суды возникли таким же образом для урегулирования конфликтов между капиталом и трудом в ситуациях, в которых, в силу существования конституционной борьбы, административное право уже не могло быть эффективно применено для разрешения проблем.

Не каждое социальное движение увенчивается формированием нового института, однако необходимость осуществления программ, берущих начало в той или иной социальной неожиданности, была ответственна за рождение многих, если не большинства, современных и новейших институтов. Не всегда можно точно определить тот момент, когда социальное движение превращается в институт. Девушки из YWCA, бывало, говорили, что у них не институт, а движение. Наверное, этим они хотели указать на свое отличие от YMCA, которое, как предполагается, было движением, но стало институтом. Каждое социальное движение, однако, можно описать как потенциальный институт. А каждый институт, в свою очередь, можно описать как движение, которое когда-то было активным и извергалось подобно вулкану, но с тех пор улеглось и превратилось в нечто вроде рутинной деятельности. Если взять другую метафору, оно определило свои цели, нашло свое место и свою функцию в социальном комплексе, достигло организации и, скорее всего, обзавелось штатом функционеров для осуществления своей программы. Оно окончательно становится институтом, когда сообщество и публика, которую оно стремится обслуживать, принимают его, знают, чего от него ожидать, и приспосабливаются к нему как к постоянно действующему предприятию (*going concern*). Институт можно считать окончательно установленным, когда сообщество и публика, в которых и для которых он существует,

претендуют как на причитающиеся им по праву на те услуги, к которым они привыкли.

Другие институты вырастают медленнее и не так заметно. Институты, родившиеся при таких обстоятельствах, скорее всего, глубже укоренены в традиции, а также в привычках и человеческой природе индивидов, которые образуют сообщество. При естественном ходе вещей институты могут таким образом возникать не столько как инструменты для выполнения социальных функций, сколько как интересы их функционеров или одного из образующих сообщество классов. В последнем случае они обычно навязывают себя как дисциплину и как внешние формы контроля поколениям, вырастающим под влиянием их традиции.

Много больше можно было бы сказать относительно того, как возникают социальные движения и как на смену им постепенно приходят институты. Во многих случаях социальные движения, по-видимому, являются источником не только новых институтов, но и новых обществ. Между тем есть и другие аспекты коллективного поведения, которые с точки зрения задач настоящей статьи более интересны и значимы.

Самнер проводит различие между (1) институтами, которые вводятся, и (2) институтами, которые вырастают сами собой, — т.е. между институтами, вырастающими и обретающими форму в ходе исторического процесса, и институтами, которые, будучи продуктом рефлексии и рациональной цели, имеют характер скорее артефакта, чем организма. В конечном счете, однако, каждый институт будет обычно чем-то таким, что как минимум соприродно (*indigenous*) ситуации и обществу, в которых он существует. Проводимое Самнером различие достаточно очевидно. Мы устанавливаем институты и ожидаем, что они будут работать как машины. Общество — это всегда в той или иной степени произведение искусства. Но в то же время институты — это всегда в конце концов аккумулированные следствия традиции и обычая; они всегда пребывают в процессе становления тем, чем им предназначено быть исходя из человеческой природы, а не тем, чем они являются или были.

В каждом институте, говорит Самнер, заключены некоторый концепт и некоторая философия. Этот концепт рождается, а эта философия, прежде имплицитная, становится эксплицитной в попытках совместно действующих людей придерживаться устойчивого курса действия в изменяющемся мире. Такая философия может принимать форму рационализации или оправдания существования

института; это можно было бы назвать *apologia pro vita sua* института. Хотя идея и философия могут скрыто содержаться в практиках каждого института, только в изменяющемся обществе, в котором становится необходимо защищать или переопределять его функции, эта философия с наибольшей вероятностью принимает вид формального и догматического утверждения; но даже и тогда корпус чувств и идей, поддерживающих эти принципы, может оставаться, подобно айсбергу, более или менее полностью погруженным в «коллективное бессознательное», чем бы оно ни было. Кроме того, только в политическом обществе, где существует публика, делающая возможной дискуссию, в противовес обществу, организованному на основе семьи и авторитета, рациональные принципы обычно вытесняют традицию и обычай как основу организации и контроля. Более того, ни в поведении, ни в мышлении человечество никогда не было целиком рациональным, каким его некогда считали. Как отмечает Самнер, «собственность, брак и религия по-прежнему почти целиком заключены в нравах»<sup>1</sup>.

Между тем политическому обществу присуще то, что каждый класс, каста, институт или иная функциональная единица должны иметь свою догму и свою индивидуальную жизненную программу. В семейном обществе догма и идеология существуют, так сказать, потенциально и в зародыше. Маловероятно, что они закрепятся формально — как правило или принцип действия.

Одним из последних расширений сферы социального было включение в область социологического исследования самого знания как такового. Как говорил на этот счет Маннгейм, «основной тезис социологии знания состоит в том, что есть способы мышления, которые не могут быть адекватно поняты до тех пор, пока не прояснены их социальные источники»<sup>2</sup>.

Это значит, что с точки зрения социологии коллективного поведения идеология общества или социальной группы является, подобно их обычаям и обыкновениям (*folkways*)<sup>3</sup>, неотъемлемой частью их социальной структуры, и больше нельзя исходить из допущения, что «мыслит единичный индивид. Скорее, правильное будет настаивать на том, что он участвует в дальнейшем продумывании того, что думали до него другие люди»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sumner W.G. Folkways. — N.Y.: Ginn & co., 1906. — P. 54.

<sup>2</sup> Mannheim K. Ideology and Utopia. — N.Y.: Harcourt, Brace & co., 1936. — P. 2.

<sup>3</sup> Ibid. — P. 3.

В функционировании коллективного единства идеология класса, касты или социальной группы, видимо, выполняет такую же роль, какую выполняет представление индивида о себе в функционировании его личности. Как представление индивида о себе проецирует его акты в будущее и тем самым служит контролю и направлению хода его карьеры, так и об обществе можно сказать, что его идеология направляет и контролирует его коллективные акты и придает им согласованность вопреки превратностям меняющегося мира.

Психиатры, по-видимому, первыми обратили внимание на важность самосознания индивида для понимания его поведения. Также они одни из первых учли тот факт, что представление индивида о себе, пока он социально ориентирован и душевно здоров, всегда является более или менее точным отражением его статуса в одной или более социальных группах.

Примерно так же и социологи, часть которых была вдохновлена Карлом Марксом и взяла у него отправную точку, пришли к выводу, что идеологии – не просто экономических классов, а вообще культурных групп – суть побочный продукт их коллективных актов. По словам Маннгейма, «мыслят не люди вообще и даже не обособленные индивиды, а люди в определенных группах, у которых развился особый стиль мышления в бесконечной череде реакций на типичные ситуации, характеризующие их общее положение»<sup>1</sup>.

Это расширение области социологического исследования, включившее в нее естественную историю идей, идеологий, интеллектуальных догм и тех неосознанных пониманий, которые делают возможным слаженное коллективное действие, и прежде всего разговор и дискуссию, ввело в сферу систематического изучения как раз те элементы личности и общества – а именно понятийные и рациональные, – которые схоластика всегда выводила за рамки эмпирической науки и самой возможности натуралистического объяснения.

Теория, гласящая, что государство есть правовая конструкция и в этом смысле логический артефакт, осталась последним бастионом социологии, считающей себя скорее философией, чем естественной, или эмпирической, наукой. В сущности, социология знания вполне могла бы служить введением в изучение того, что называют, хотя и на языке, который Маннгейм открыто отвергает,

---

<sup>1</sup> *Mannheim K. Ideology and Utopia.* – N.Y.: Harcourt, Brace & co., 1936. – P. 2.



«групповым разумом» (group mind)<sup>1</sup>. Довольно-таки призрачные концепции «группового мышления», «группового сознания» и, в том числе, «общей воли» захватывали умы авторов, пишущих о политической науке и социологии, всякий раз, когда они пытались осмыслить сущностную природу той связи, которая удерживает людей вместе таким образом, что становится возможным коллективное действие.

Едва ли не первой попыткой исследовать и описать коллективное поведение была книга Лебона «Психология толп»<sup>2</sup>. Особенность толпы, или одухотворенной толпы, как назвал ее Лебон, состоит в том, что разнородная группа под влиянием некоторого заразительного возбуждения достигает недолговечной, но относительно полной моральной солидарности, в которой каждый индивид полностью растворяется, подчиняясь настроению и цели группы в целом. Он писал:

«Одухотворенная толпа представляет собой временное существо, образованное из разнородных элементов, которые на какой-то миг соединяются друг с другом, точь-в-точь как клетки, составляющие живое тело, образуют своим соединением новое существо, проявляющее свойства, очень отличные от свойств, коими обладают эти клетки каждая по отдельности»<sup>3</sup>.

Между тем солидарность, посредством которой разношерстное и случайно образовавшееся скопление индивидов преобразуется в «новое существо», не является, естественно, чем-то физическим. Она, если использовать термин Лебона, «психологическая». Став организованной, толпа ведет себя согласно «закону ментального единства толпы», и именно достигаемые таким образом консенсус и моральную солидарность Лебон описывает как «душу толпы», придающую этому *omnium-gatherum* характер социального единства.

Толпе организованной, или одухотворенной, противостоит толпа в состоянии распада, т.е. толпа, находящаяся в состоянии

---

<sup>1</sup> Mannheim K. Ideology and Utopia. — N.Y.: Harcourt, Brace & co., 1936. — P. 2.

<sup>2</sup> Le Bon G. The crowd: A study of popular mind. — N.Y.: Macmillan, 1900 (рус. пер.: Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб.: Макет, 1995). См. также: Park P.E., Burgess E.W. Introduction to the science of sociology. — Chicago: Univ. of Chicago press, 1924. — P. 869.

<sup>3</sup> Le Bon G. The crowd: A study of popular mind. — N.Y.: Macmillan, 1900 (рус. пер.: Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб.: Макет, 1995). См. также: Park P.E., Burgess E.W. Introduction to the science of sociology. — Chicago: Univ. of Chicago press, 1924. — P. 889.

паники, панического бегства. При таком паническом бегстве возбуждение может быть настолько же заразительным, как и в организованной толпе, но не будет выражаться в коллективном акте. Напротив, толпа в состоянии паники действует так, как если бы каждый был сам по себе — и «пусть дьявол схватит последнего».

Лебону больше, чем кому-либо, удалось придать своей концепции коллективного разума реалистичность, отсутствующую в других описаниях этого феномена. Мэри Остин, пишущая интересно, но несколько мистически о поведении овец и пастухов, говорит о «стадном духе». В других местах мы слышим об «общественном духе», «духе Средневековья» или «духе современности», и в этом контексте у нас нет уверенности в том, относятся ли данные термины к индивидуальному типу или к коллективной единице.

Между тем ни в одном из случаев речь не идет о социальной единице того типа, который интересовал Маннгейма в исследованиях по социологии знания. Коллективный дух, который он пытался исследовать, — это не дух толпы, в котором имеется полное единодушие, а скорее дух общественности, или публики, предполагающий разнообразие чувств и мнений. Тем не менее в основе такой публики лежит более или менее неосознаваемое единодушие в целях и намерениях. Консенсус в таких обстоятельствах принимает более сложную форму, описываемую в логике как «универсум дискурса». Одна из целей исследования Маннгейма состояла, видимо, в том, чтобы довести до ясного осознания это глубинное единство и тождество намерений, которое существует или может существовать при очевидном разнообразии мнений и установок. Характерной чертой публики или любой группы, вовлеченной в разговор и дискуссию, является то, что я мог бы назвать диалектическим процессом. Но диалектическое движение мысли в ходе дискуссии обычно принимает характер коллективного акта<sup>1</sup>.

Так называемый групповой разум, что бы еще ни подразумевалось под этим термином, всегда есть продукт коммуникации. Но в толпе и публике эта коммуникация приобретает разные формы. В случае одухотворенной толпы коммуникация, разумеется, происходит, но индивид *A* неспособен отличить свою установку от установки *B*, и наоборот. Как говорит на этот счет Мид, «одна форма не знает, что происходит коммуникация с другой». Лебон пытается выразить эту же мысль, когда описывает как одно из

---

<sup>1</sup> Mead G.H. Mind, self and society. — Chicago: Univ. of Chicago press, 1934. — P. 7, примечание.

обстоятельств, сопутствующих образованию толпы, «исчезновение сознательной личности и обращение чувств и мыслей в одном направлении»<sup>1</sup>.

В публике коммуникация принимает форму разговора, взаимобмена установками, или, по выражению Мида, «коммуникации жестов». При этой форме коммуникации индивид *A* сознает собственную установку, принимая роль *B*. Тем самым *A* видит собственный акт с точки зрения *B*, и каждый участвует со своей точки зрения в коллективном акте. Это, по словам Мида, «заводит процесс кооперативной деятельности дальше, чем он может зайти в стаде как таковом или в обществе насекомых»<sup>2</sup>.

### III. Растительные сообщества и общества животных

Тем временем на границах социальных наук, хотя и не вполне в их рамках, вырос корпус организованного знания, которое называется иногда биологическим, чаще социологическим, но в любом случае относится к связям, обычно не считаемым социальными; оно относится к организмам, таким как растения и животные, живущим вместе в формах ассоциации, которые в том смысле, в каком термин «социальное» применяется к людям, не образуют из них общества. Таковы, например, растительные ассоциации, впервые наблюдавшиеся и описанные географами растительности, одним из которых был датский эколог Эугениус Варминг.

В 1895 г. Варминг опубликовал книгу, озаглавленную «*Plantensamfund*» («Растительное сообщество»), в которой описал разные растительные виды, живущие вместе в пределах общего хабитата, как «практикующие» своего рода естественную экономику и поддерживающие таким образом отношения, делающие их естественным сообществом. Эта экономика и это сообщество являются особым предметом науки экологии<sup>3</sup>. Экология описывалась как «расширение экономики на весь мир жизни»<sup>4</sup>. Но в то же время, по

---

<sup>1</sup> Park R.E., Burgess E.W. Introduction... — P. 887.

<sup>2</sup> Mead G.H. Op. cit. — P. 253–255.

<sup>3</sup> Термин «экология» был впервые употреблен в 1878 г. выдающимся немецким биологом Эрнестом Геккелем и происходит от греческого *ойкос*, означавшего «дом» и являвшегося корнем, от которого образовалось слово «экономика».

<sup>4</sup> Wells H.G., Huxley J.S., Wells G.P. The science of life. — N.Y.: Doubleday, Doran & co., 1931. — Vol. 3, ch. 5. — P. 961.

словам Чарлза Элтона, это не столько новая наука, сколько новое имя для старой. Это своего рода естественная история<sup>1</sup>.

После первой попытки Варминга описать и систематизировать то, что в то время было известно о коммунальной жизни растений, появилось много литературы на эту тему, и на смену ей, в свою очередь, пришли аналогичные исследования растительных и животных сообществ и обществ насекомых и животных. Экологию интересуют скорее сообщества, нежели общества, хотя между ними нелегко провести различие. Социология растений и животных, видимо, включает в поле зрения обе формы ассоциации. Но растительное сообщество является ассоциацией разных видов. Животное же общество, как и общества насекомых, чаще всего оказывается ассоциацией семейного или генетического происхождения.

Первые экологические исследования были, однако, географическими и были посвящены как зависимости растений и животных от их физических хабитатов, так и их миграции и распределению. Позднее, следуя образцу, предложенному Дарвином в «Происхождении видов», экологические штудии стали посвящаться не просто взаимодействиям и взаимозависимостям между растениями, а также между растениями и животными, в том числе человеком, живущими в одном и том же хабитате, но и биотическому сообществу как таковому, поскольку оно казалось проявляющим единство, или органический характер. Этот акцент на коммунальной организации растений и животных все более и более предрасполагал исследователей к описанию социальных и экологических связей между всеми живыми организмами на языке социальных наук — экономики, социологии и даже политической науки.

Недавно У.К. Олли опубликовал книгу с подзаголовком «Изучение общей социологии»<sup>2</sup>. На самом деле это была в своем роде первая книга по социологии животных, поскольку посвящена она была тому, что происходит с животными, когда большое их число на какое-то время собирается вместе, как, например, летучие

---

<sup>1</sup> Elton C. Animal ecology. — N.Y.: Macmillan, 1927. — P. 1. «Образующие общество виды должны либо практиковать одну и ту же экономику, предъявляя приблизительно одинаковые требования к своей среде [в отношении питания, света, влажности и т.д.], либо один вид должен зависеть в своем существовании от другого вида, причем иногда в такой степени, что... между ними, видимо, образуется симбиоз» (*Warming E. Oecology of plants. — Oxford: Oxford univ. press, 1909. — P. 12*).

<sup>2</sup> Allee W.C. Animal aggregations: A study in general sociology. — Chicago: Univ. of Chicago press, 1931.

мыши в пещере или пчелы в рое. Возникающие в этих условиях ассоциации неизбежно были ассоциациями элементарного, или абстрактного, типа, порождаемыми просто физическим соседством. Такие ассоциации – по сути дела просто популяционные единицы, в которых есть, разумеется, пространственная интеграция, но нет даже признаков социальной солидарности.

За этой публикацией последовал перевод с немецкого внушительного труда Ж. Брауна-Бланке<sup>1</sup>, в котором систематически проанализированы и описаны сложные взаимосвязи и взаимодействия растений и растительных видов, образующих растительное сообщество, включая физические условия, при которых поддерживается эта коммунальная жизнь.

Похоже, экология движется к тому, чтобы стать социальной наукой, не перестав быть наукой биологической. Она еще занимается физическими условиями, делающими возможной растительную и животную жизнь, но жизнь, для которой эти условия существуют, есть жизнь не просто разных видов, но своего рода социального единства, или сверхорганизма, в котором эти виды являются неотъемлемыми частями.

Вследствие этого расширения понятия общества и социального за счет включения в него всех форм ассоциации, кроме паразитизма, в которых организмы одного или нескольких разных видов практикуют естественную экономику, видимо, беспрельдно расширяются число и разнообразие социальных связей и социальных объединений, которыми занимается общая социология. «За содержание общей социологии, – говорит Олли, – должна быть взята вся область взаимосвязей между организмами»<sup>2</sup>. Это понимание социального дает широкий простор для таксономического исследования, ибо подразумевает, что сфера социального соразмерна активному взаимодействию живых организмов в том, что Дарвин называет «паутиной жизни». Именно в этом смысле теорию происхождения видов Дарвина, как говорит Дж. Артур Томпсон, можно считать применением социологического принципа к фактам естественной истории.

Меж тем ареал, в пределах которого действует всемирная борьба за существование, настойчиво расширяется, и если иметь в виду, что микробы путешествуют теми же транспортными средствами, что и люди, то ясно, что опасности болезней и войн *pari*

---

<sup>1</sup> Braun-Blanquet J. Plant sociology. – N.Y.: McGraw-Hill, 1932.

<sup>2</sup> Allee W.C. Op. cit. – P. 37.

*passu* обычно возрастают вместе с ростом использования каждой формы транспорта, включая новейшее — аэроплан. Таким образом, паутина жизни, удерживающая в своих сетях все живые организмы, зримо уплотняется, и в каждом уголке мира наблюдается явный рост взаимозависимости всех живых существ, витальной взаимозависимости, которая оказывается сегодня шире и теснее, чем в любой другой период долгого исторического процесса.

Несмотря на необычайное многообразие ассоциаций, открываемых исследованиями растительных и животных социологов, все их общие типы или большинство, видимо, представлены в человеческом обществе. И одной из тех вещей, которые делают изучение ассоциаций растений и животных интересным, является то, что растительные и животные сообщества очень часто демонстрируют в удивительно разных контекстах формы ассоциаций, в основе своей схожие с теми, с которыми мы знакомы в человеческом обществе. Кроме того, они демонстрируют в отдельности и обособлении типы ассоциации, на которые в человеческом обществе наслаиваются другие, более поздние и более сложные формы. Например, растительное сообщество является ассоциацией, в которой связи между отдельными видами можно описать как чисто экономические. Иначе говоря, растительное сообщество не является, в отличие от обществ насекомых и животных, генетической ассоциацией, в которой индивидуальные единицы скреплены естественными и инстинктивными узами семьи и нуждами продолжения рода и защиты потомства.

Растения сбрасывают свои семена на землю, откуда они разносятся ветром, волной или любым другим случайно подвернувшимся способом. Таким образом, растения, однажды закрепившиеся в почве и в хабитате, явно немобильны, но растительные виды распространяются легче и шире, чем животные. Растения одного вида, предъявляющие одни и те же требования к природным ресурсам хабитата, скорее всего рассеиваются конкуренцией. По той же причине растения, предъявляющие к природным ресурсам — свету, влаге, химическим элементам, которые они забирают из почвы и воздуха, — разные требования, обычно ассоциируются, так как конкуренция по мере того, как каждый вид находит в сообществе нишу, снижается, а совокупная производительность растительного сообщества, если в таком случае можно говорить о производительности, возрастает.

Растительные сообщества, разумеется, не действуют коллективно, как животные, однако ассоциации, образуемые ими отчасти

благодаря видовому естественному отбору, отчасти благодаря адаптации и аккомодации индивидов (как в случае виноградной лозы и фигового дерева), уменьшают конкуренцию внутри и сопротивляются вторжению извне, делая тем самым жизнь сообщества и образующих его индивидов более безопасной.

Растительное сообщество – наверное, единственная форма ассоциации, в которой конкуренция свободна и ничем не сдерживается, однако даже и здесь конкуренция ограничивается в какой-то степени простым пассивным сопротивлением, оказываемым ассоциацией и координацией разных видов, образующих сообщество. Это ограничение конкуренции между тем чисто внешнее и не является результатом инстинктивного или интеллектуального сдерживания, как это имеет место в случае животных и человека<sup>1</sup>.

Потребности у растений, как и у любого другого организма, двойки. Есть потребность в сохранении индивида в его борьбе за завершение своего жизненного цикла и потребность в сохранении дальнейшего существования вида. Растения, однако, удовлетворяют эти две потребности способами, в корне отличными от тех, которыми пользуются животные или по крайней мере те из животных, которые ведут семейное и социальное существование. Браун-Бланке пишет:

«В растительном мире не существует принципов полезности, разделения труда, сознательной поддержки, направления всех ресурсов на осуществление общей цели. Здесь правит борьба за существование в чистом виде. Она прямо или косвенно регулирует все неосознаваемые выражения социальной жизни животных. Именно здесь кроется глубокое и фундаментальное различие между жизненными связями растительных сообществ и жизненными связями сообществ животных»<sup>2</sup>.

В противоположность свободе и анархии растительных сообществ, общества насекомых являют нам почти идеальные образцы регламентации трудовой деятельности и коммунизма, в

---

<sup>1</sup> «Примитивный человек в такой же степени, как и цивилизованный, обладает сильными внутренними и внешними узами и ограничениями, за рамки которых он не может выйти (Турнвальд); и поведение животного определяется точно таким же образом внутренними и внешними ограничениями, которые на него накладываются. Всякий, кто считает, что у животных не существует сексуальных сдерживаний, стоит на совершенно ложном пути» (*Alverdes F. Social life in the animal world.* – L.: Kegan Paul, Trubner & co., 1927. – P. 12–13).

<sup>2</sup> *Braun-Blanquet J. Op. cit.* – P. 5.

которых индивид всецело подчинен интересам общества. Объясняется это тем, что общества насекомых – просто большие семьи, в которых функции не только полов, но и так называемых каст закреплены от рождения в их физиологической структуре<sup>1</sup>.

Это не значит, что в обществах насекомых нет ничего такого, что соответствовало бы симбиотическим формам ассоциации, характерным для растительных сообществ. Напротив, социальные насекомые, в особенности социальные муравьи, живут в симбиотической связи со множеством других насекомых. На самом деле, как отмечает Уилер, «муравьи, можно сказать, приручили даже больше животных, чем мы, и то же самое может оказаться верным в отношении употребляемых ими в пищу растений, тщательно ими изученных»<sup>2</sup>.

В случае общественных животных труднее, чем в случае общественных насекомых, определить разницу между симбиотическими и социальными формами ассоциации. Так, Альвердес проводит различие между тем, что он называет ассоциациями (простыми скоплениями), и обществами<sup>3</sup>. Под ассоциациями он имеет в виду агрегации животных, которые обычно ведут одиночное существование, но сходятся в какой-то период своего сезонного или жизненного цикла под воздействием случайных и внешних

---

<sup>1</sup> «...Муравьи разительно отличаются от людей тем, что самим своим устройством должны быть предназначены для выполнения тех или иных работ. Они не изготавливают орудий; они выращивают их как части своих тел... Итак, каждый вид муравьев особым образом устроен для особого рода жизни и совершенно не приспособлен ни к какому другому. Даже внутри одного сообщества существует этот же род специализированного физического разнообразия. Только у самцов и самок есть крылья; рабочие муравьи растут бескрылыми. У рабочих муравьев мозг гораздо крупнее, чем у самцов и маток; но так как им никогда не приходится летать, у них мельче глаза... Это физическое разнообразие идет рука об руку с разнообразием поведения. Самцы ничего не делают, но в назначенный срок оплодотворяют маток. Матки вечно откладывают яйца. У рабочих муравьев есть инстинкт заботы о потомстве; солдаты вынуждены жалить и кусаться при защите колонии. Рабочие муравьи одного вида содержат муравьев-коров, но никогда не ищут зерно и не совершают набегов на других муравьев. Рабочие муравьи второго вида исключительно травоядны, третьи живут рабским трудом. Таким образом, разделение труда в сообществе муравьев, в отличие от разделения труда в человеческом сообществе, основано на явных врожденных индивидуальных различиях между его членами в структуре и инстинктивном поведении» (The science of life / Wells H.G., Huxley J.S., Wells G.P. Wells H.G., Huxley J.S., Wells G.P. – N.Y.: Doubleday, Doran & co., 1931. – Vol. 4. – P. 1163–1164).

<sup>2</sup> Wheeler W.M. Social life among the insects. – N.Y.: Harcourt, Brace & co., 1923. – P. 17.

<sup>3</sup> Alverdes F. Op. cit. – P. 14–16.



причин. Под обществами, в свою очередь, понимаются те более постоянные группы, в том числе общества насекомых, в которых индивиды сходятся вместе в ответ на потребности и инстинктивные побуждения индивидуальных организмов. Это значит, что форма, принимаемая животным обществом, — это форма, принять которую ему предопределено природой наследственности тех индивидов, из которых оно образовалось. «Короче говоря, — пишет Альвердес, — никакого социального инстинкта, никакого общества».

Помимо упомянутых случайных агрегаций, есть два типа ассоциации, которые могут возникать в ответ на «инстинкты», а не на внешние силы. Это семья и стадо. В обоих случаях особая форма, принимаемая солидарностью, несомненно, имеет наследственную и инстинктивную основу. Тем, что модифицирует эту форму ассоциации и определяет коллективные деятельности связанных ею особей, является, среди всего прочего, характер коммуникации, к которой способна группа. Так, среди человекообразных обезьян, как и среди птиц и часто между человеком и его собакой, видимо, существуют отзывчивость, понимание и близость, в чем-то схожие с теми, которые характерны для личных отношений между людьми<sup>1</sup>.

Насколько животные в стаде отзывчивы к экспрессивному поведению других животных, нагляднее всего видно в тех случаях, когда возбуждение, подогреваемое толкотней в стаде, достигает точки, в которой оно перерастает в панику, или паническое бегство. Перетаптывающееся стадо в столь многих отношениях схоже с организованной толпой, как понимает ее Лебон, что возникает удивление по поводу того, что оно, в отличие от толпы, не выражает свое возбуждение в коллективном акте. Толпа — это по существу сборище, которое действует. Но поскольку в случае панического бегства импульсы и действия втянутых в него индивидов нескоординированы, оно не принимает форму коллективного акта. В паническом бегстве нет «разума», или «духа».

Стадо не действует. Пока оно бродит туда-сюда, оно исполняет нечто такое, что можно было бы назвать танцем. Мэри Остин пишет:

---

<sup>1</sup> См.: Köhler W. The mentality of apes. — N.Y.: Harcourt, Brace & co., 1927. — Appendix: Some contribution to the psychology of chimpanzees. Особенно с. 282–311. См. также: Alverdes F. Op. cit. — Ch. 9: Mutual understanding and imitation. — P. 164–178.

«Сомнительно, чтобы пастух был для стада чем-то большим, нежели случайностью в пределах пастбища, разве что источником соли, ибо единственная мольба, которую оно обращает к нему, — это мольба о соли. Когда это естественное желание становится настоятельным, животные сбиваются в кучу вокруг его стоянки или хижины, отвлекаясь ради этого от пищи; а если ничего другого не будет, то они продолжают это безудержное кружение вокруг какого-нибудь большого камня или любого другого возвышающегося поблизости объекта, отдаленно напоминающего на вид человека, словно с тех пор, как они были свободны найти себе предметы для облизывания, они не научились ничему, кроме того, что соль поступает как подарок и в соединении с совершенно непонятными комьями вещества, ассоциирующимися с человеком... Это дрожащее блеяние (мольба о соли), безошибочно узнаваемое пастухом даже на расстоянии, — единственная новая нота в словаре овцы и единственное, что намеренно передается от нее к человеку. Что касается сигнала о боли, который вожак, поднятый рукой, может подать своему хозяину, то он не нов, не является общим для стада и полностью тонет в одержимости стадного духа»<sup>1</sup>.

Почему этот танец обеспокоенного стада не принимает, как кажется возможным из описания Мэри Остин, форму церемонии? Иначе говоря, почему это коллективное возбуждение не приобретает характер ритуала или символического акта? Массовые игры, описанные Гроосом (в книге «Игра животных»), а также притворные и иногда совершенно реальные поединки, в которые вовлекаются во время брачного сезона птицы и другие животные, по видимому, в основе своей всего лишь экспрессивны. Гроос определяет их характер как оргиастический<sup>2</sup>.

Массовое поведение такого рода у животных не сильно отличается от такого же экспрессивного и оргиастического поведения у людей, поскольку толпа, скорее танцующая, чем действующая, есть толпа по меньшей мере «одухотворенная», если не «организованная». Поведение животных под влиянием коллективного возбуждения до такой степени схоже с поведением толп, где бы они ни возникали, что Альвердес, пытаясь определить характер солидарности, создаваемой в стаде подъемом заразительного возбуждения, вновь обращается к концепции «коллективного духа». Это выражение нельзя, однако, считать объяснением тех феноменов, к которым оно относится. Как и «инстинкты», на которые Альвердес ссылается при описании животного общества, оно может быть

---

<sup>1</sup> *Austin M.* The flock. — Boston: Houghton Mifflin & co., 1906. — P. 127–129.

<sup>2</sup> *Alverdes F.* Op. cit. — P. 144–151.

необъяснимым. В таком случае «коллективный дух» – всего лишь название, которое мы даем феномену, нуждающемуся в дальнейшем исследовании.

Что это за феномены? Альвердес пишет:

«У социальных видов смелость и драчливость возрастают пропорционально числу присутствующих индивидов; это верно для муравьев, пчел, шмелей, ос, шершней и т.д. У медоносных пчел маленькое и слабое сообщество часто не защищает себя от врагов, коим оно могло бы легко дать отпор, тогда как сильное сообщество всегда готово к нападению и изгоняет каждого нарушителя его границ. Согласно Форелю, один и тот же муравей может быть полон мужества среди своих товарищей, но может обратиться в бегство перед лицом гораздо более слабого противника, если вдруг окажется в одиночестве. Насекомые, строящие государства, впадают в глубокое уныние, если исчезает их гнездо»<sup>1</sup>.

Коллективный разум низших животных отличается от коллективного разума человеческой толпы тем, что возникающие в стаде заразительные возбуждения не вызывают, как это бывает в случае одухотворенной толпы, ни коллективного действия, ни чего-либо подобного церемониальному поведению. И, что еще важнее, эти возбуждения не принимают в конечном счете форму институтов. Именно обладание институтами отличает общества людей от обществ животных. А институты, видимо, являются в конечном счете продуктом того типа диалектического, или рационального, процесса, который специфически характерен для человека.

#### **IV. Социализация**

Этот краткий обзор коммунальных и социальных форм ассоциации, в которых индивидуальные организмы поддерживают тот или иной род коллективного существования, предполагает, что здесь уместно повторить в отношении социализации – процесса, посредством которого формируется ассоциация, – то, что мы ранее сказали несколькими иными словами о двух типах ассоциации, или двух аспектах общества. Социализация и социальная организация, видимо, вызываются в любом случае совместной работой двух основополагающих типов взаимодействия. В каждом обществе есть процесс или процессы индивидуации и процесс или процессы интеграции. Следствия конкуренции состоят в рассеивании суще-

---

<sup>1</sup> *Alverdes F. Op. cit. – P. 142.*

ствующих агрегаций организмов и в порождении в результате адаптации к новым средам новых родов и видов. Но существование внутри хабитата разных видов и родов делает возможной новую ассоциацию и естественную экономику, основанную на генетическом разнообразии, а не на генетическом тождестве.

В человеческих обществах разделение труда, основанное на разнице занятий и навязываемое экономической конкуренцией, реализует функцию, выполняемую в растительном сообществе и других биотических ассоциациях симбиозом.

Однако как в животных, так и в человеческих обществах есть или возникает необходимость в более стабильной форме ассоциации, чем та, для создания которой достаточно биотической или экономической конкуренции и кооперации. Такая более стабильная форма ассоциации обычно возникает всякий раз, когда взаимодействие конкурирующих организмов – благодаря адаптации к хабитату или любым иным способом – достигает относительно стабильного равновесия. В такой ситуации с постепенным возникновением у животных видов способности к коммуникации и средств коммуникации – благодаря которым животные, как и люди, способны реагировать на разумы и намерения других животных – становится возможен новый, более тесный тип солидарности, а именно такой ее тип, который позволяет обществам координировать и направлять акты своих индивидуальных компонентов в соответствии с интересами и целями всего общества.

Итак, можно сказать, что общество вырастает на основе сообщества. Разница в том, что в сообществе, как в случае растительного и животного сообществ, нексусом, объединяющим индивидов, из которых сообщество состоит, является некоторый род симбиоза, или какая-то форма разделения труда. Общество, в свою очередь, конституируется более тесной формой ассоциации, основанной на коммуникации, консенсусе и обычае.

Социальный организм в понимании Герберта Спенсера базировался на наличии в обществе разделения труда. Именно в этом смысле растительное сообщество описывалось как организм Ф.Е. Клеменсом и другими<sup>1</sup>. Но, как отмечает Спенсер, у социального организма в таком его понимании нет сенсориума. Нет центрального аппарата, в котором ощущения и импульсы индивидуальных единиц, образующих общество, могли бы сортироваться, ассимилироваться и интегрироваться, дабы общество могло в от-

---

<sup>1</sup> *Braun-Blanquet J. Op. cit. – P. 21.*

вет на них действовать согласованно. У общества и сверхорганизма, разумеется, нет чувствительного центра, но индивиды в обществе коммуницируют и как-то достигают консенсуса, который, по мнению Конта, является существенной и основополагающей особенностью любого общества. Эту коммуникацию и сложившийся корпус традиции, на котором она базируется, называют иногда «коллективным разумом».

Общество, отмечает Олли, начинается, по крайней мере теоретически, с простой агрегации, т.е. с популяционной единицы. Но даже на этом уровне ассоциации имеется некоторого рода взаимодействие. На экономическом уровне, насколько мы знаем экономические отношения в человеческом обществе, конкуренция и борьба за существование продолжают, но по мере умножения социальных отношений эта борьба все больше сдерживается пониманиями, обычаями, формальными и договорными отношениями и правом. Все они накладывают ограничения в интересах эволюционирующего общества и многообразных социальных и коллективных единиц, из которых такое общество состоит, на свободную конкуренцию индивидов в исходном агрегате, или популяционной единице.

На политическом уровне свобода и конкуренция индивидов еще более ограничиваются недвусмысленным признанием верховных и суверенных интересов и прав государства или сообщества в целом, в противоположность враждебным интересам или притязаниям индивидов или групп индивидов, живущих в государстве или иной политической единице или под их опекой. Существование такого суверенитета, какой осуществляется государством, зависит, однако, от наличия внутри государства или иной территориально-политической единицы солидарности, достаточной для поддержания этой власти и проведения в жизнь ее распоряжений, когда они входят в конфликт с интересами и целями индивидов.

В конечном счете на личностном и моральном уровне ассоциации конкуренция индивидов ограничивается и сдерживается требованиями, которые к нам предъявляют тесные связи с потребностями, установками и чувствами других и знание их, особенно когда они подкреплены традицией, обычаями и нормальными человеческими ожиданиями. Каждый индивид, который уже включен или со временем будет включен в общество, будь то чужак, пришедший из другой этнической или культурной группы, или человек, родившийся в этой ассоциации и обществе, членом которых он является, неизбежно проходит через такой процесс

социализации. Процесс социализации, происходящий при формировании любой современной социальной группы, отражает так или иначе филогенетические процессы, посредством которых в ходе исторического процесса появились на свет существующие типы ассоциации, или общества, и институтов.

Глядя в исторической перспективе, мы замечаем, что прогрессивная социализация мира, т.е. инкорпорация всех народов земли во всемирную экономику, заложившую основу для становления мирового политического и морального порядка – или великого общества, – есть всего лишь повторение процессов, происходящих везде и всегда, где и когда индивиды сходятся вместе, дабы вести общую жизнь и образовать институты – экономические, политические и культурные, – делающие эту общую жизнь эффективной.

Ниже уровня этих форм ассоциации, называемых нами социальными, находятся биотическое сообщество и экологическая организация, в которой человек вовлечен в конкуренцию и кооперацию со всеми другими живыми организмами. Таким образом, мы можем представить человеческое общество как своего рода конус, или треугольник, в основании которого находится экологическая организация человеческих существ, совместно живущих в некоторой территориальной единице, регионе или естественном ареале. На этом уровне борьба за существование может и будет происходить незаметно и будет относительно неограниченной.

Если человек чужак, то он может довольно долго жить в обществе в отношениях по существу симбиотических, т.е. в отношениях, в которых он не чувствует давления обычаев и ожиданий окружающего общества. Либо, если он сознает социальное давление, он может все же переживать его как нечто ему чуждое и продолжать относиться к людям, с которыми входит в контакт, как к части флоры и фауны; в таком случае их социальные давления не предъявляют к нему моральных требований, которые бы он чувствовал себя обязанным уважать. Но постепенно само присутствие чужака, обладающего такой бесстрастной и мирской установкой по отношению к обычаям, конвенциям и идеалам общества, в котором он в силу физического соседства и независимо от его воли стал составным элементом, непременно приводит его – как бы отстраненно он себя ни вел – в конфликт с теми, для кого собственные обычаи если не сакральны, то по крайней мере до такой степени приняты, что слишком большая отстраненность от них определенно неприятна или даже немного шокирует. Такая установка чужака в любом случае неизбежно пробуждает в местных

жителях всеохватывающее неприятное чувство, как если бы они находились в присутствии чего-то не вполне понятного и, следовательно, всегда немного пугающего.

Конечно, это не единственный способ возникновения так называемых «культурных конфликтов». Но это, видимо, самая коварная форма, в которой они обычно проявляются. Конфликт, являющийся всего лишь осознанной конкуренцией – т.е. конкуренцией в ситуации, когда конкурент знает, с кем и за что конкурирует, – создает, разумеется, солидарность в конкурирующих группах. Солидарность в мы-группе, как отмечал Самнер, всегда в большей или меньшей степени есть следствие конфликта с они-группой.

Между тем конфликт, как и конкуренция, является индивидулирующим фактором в обществе. Он воздействует на индивида не просто в его занятии и в его положении в экономическом порядке, но и в его личных отношениях. Он влияет на его статус и во многом определяет представление, которое он формирует о себе. Именно в конфликтных ситуациях экономическая конкуренция, или борьба за средства существования, перерастает в борьбу за политический и социальный статус.

Вместе с тем конфликт ведет и к пониманиям – пониманиям не просто имплицитным, а эксплицитным и формальным. Конфликт является наиболее элементарной формой политического поведения, а формальные понимания, предполагающие спор и дискуссию, находят завершение в аккомодациях, образовании классов и всякого рода формальных и договорных отношениях. Когда политический конфликт не приводит к образованию классов, он по крайней мере порождает классовое сознание, и политика, видимо, есть всего лишь классическая и типичная форма, в которой ведется классовая борьба.

Более тесные ассоциации в семье и соседстве, так же как и основанные на занятии и классе, обычно развивают более интимные личные понимания. В особенности это происходит внутри того, что Кули называет «первичной группой», т.е. в семье, соседстве и деревне.

О процессе социализации можно сказать, что он находит завершение в ассимиляции, предполагающей более или менее полное включение индивида в существующий моральный порядок, а также более или менее полное сдерживание конкуренции. В этих условиях конфликт принимает форму более или менее благородного соперничества.

О ребенке, рожденном в обществе, можно сказать, что он проходит через тот же процесс социализации, что и чужак, принимаемый в итоге в новое общество. Разница заключается в том, что в случае ребенка процесс начинается с ассимиляции и заканчивается индивидуацией и эмансипацией, т.е. освобождением от традиций и требований семьи и первичной группы. Процесс индивидуации обычно продолжается с его участием во все более широком круге политической и экономической ассоциации. Жизнь ребенка начинается, разумеется, без тех человеческих черт, которые мы описываем как личностные. Большинство личностных черт ребенок приобретает, по всей видимости, в тесных ассоциациях с другими людьми. Однако дети очень быстро и очень полно инкорпорируются в общества, в которые их забросили рождение или случай. Лишь со временем они достигают самостоятельности и индивидуальности, которые мы связываем со зрелостью. Ассимилируется человек в маленький мир семьи, а самостоятельность и индивидуальность приобретает в более широком и более свободном мире людей и дел.

Человек вступает в жизнь как индивидуальный организм, втянутый в борьбу с другими организмами за самое существование. Эту элементарную форму ассоциации мы как раз и называем экологической. Впоследствии он вовлекается в личные и моральные, а со временем — в экономические и профессиональные и в конечном счете политические ассоциации, короче говоря, во все формы ассоциации, которые мы именуем социальными. Таким образом, общество и персона, или социализированный индивид, появились в результате по существу одних и тех же социальных процессов и в результате одного и того же цикла, или последовательности (succession) событий.



## РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОММУНИКАЦИИ И КУЛЬТУРЕ\*

### I. Коммуникация в культурном процессе

Коммуникация – столь очевидный и вездесущий фактор социальной жизни, что меня часто удивляло, почему о ней так мало говорят и пишут. Теперь, когда я попытался кое-что написать на эту тему, меня это больше не удивляет; теперь я знаю, почему это так.

Одна из причин, по которой на эту тему написано очень мало, состоит в том, что написать нужно было очень много, а многое из все же написанного посвящено тому, как коммуникация функционирует неким особым образом в какой-то особой области социальной жизни.

Во всяком случае, эта статья почти целиком свелась к отчету о моих изысканиях и умственных поисках, направленных на определение границ предмета, о котором, как мне казалось до того, как я начал писать, у меня уже было некоторое общее знание.

Есть, разумеется, масса литературы на тему речи и языка, в том числе о таких разных технических инструментах, как идеограммы каменного века и газета и радио современного мира, с помощью которых человек пытался усовершенствовать свои средства коммуникации и расширить действенные пределы своего мира. Радио и газета были, однако, лишь инструментальными расширениями речи. Меньше писали о многообразных типах символизма, в том числе о так называемых изящных искусствах, посредством которых коммуницируются не только идеи, но и чувства и установки.

---

\* *Park R.E. Reflections on communication and culture // American j. of sociology. – Chicago, 1938. – Vol. 44, N 2. – P. 187–205.* Перевод впервые опубликован в сборнике: *Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. – М., 2010. – С. 201–219.*

Есть также обширная психологическая и социологическая литература, подходящая к теме коммуникации окольно и с точки зрения какого-то скрытого интереса. В сочинениях шотландских моральных философов, от епископа Батлера до Юма и Адама Смита, мы замечаем постоянные ссылки на факты симпатии и подражания, дающие одновременно свидетельство и объяснение того понимания и той солидарности, которые составляют основу морального порядка. Чуть позже, в 1872 г., Уолтер Беджгот в книге «Физика и политика», ставшей социологической классикой, подчеркивает важность подражания и указывает на его роль в культурном процессе и в социальной жизни. Восемнадцать лет спустя Габриель Тард, опубликовав свои «Законы подражания», отождествил подражание, описываемое им как «воздействие одного ума на другой на расстоянии», с фундаментальным социальным и культурным процессом. Формы, в которых происходит коммуникация, явно многообразны. Они включают не только симпатию и подражание, ставшие общепризнанными в качестве таковых в литературе на эту тему, но также дискуссию, диалектику и внушение.

Природа и функция коммуникации предстают в новом свете в исследованиях личности и самосознания и в работах столь разных по своим точкам зрения людей, как Дж. Марк Болдуин, Чарльз Х. Кули и Джордж Г. Мид. Коммуникация и природа процесса, посредством которого один разум знает другой, оказывается опять же важнейшей проблемой в так называемой «понимающей социологии» (*verstehende Soziologie*) Макса Вебера и в трудах Вильгельма Дильтея, работавшего раньше него и на него повлиявшего.

Есть, наконец, семантики. Наиболее видными их представителями являются, видимо, Ч.К. Огден и А.А. Ричардс, авторы «Значения значения». Они интересуются прежде всего не коммуникацией, а вразумительностью, и ее, насколько я могу судить, они не всегда достигали. Наконец, когда я пишу эти строки, мое внимание привлекло появление новой книги Стюарта Чейза «Тирания слов», в которой он пытается рассказать нам простыми словами о том, что Огден и Ричардс имели в виду, когда писали «Значение значения».

Во всем этом обсуждении неявно содержится — и это, как мне кажется, важно — представление о том, что коммуникация есть форма взаимодействия, или процесс, происходящий между персонами, т.е. между индивидами со своими эго, индивидами со своими точками зрения, сознающими себя и более или менее ориентирующимися в моральном мире. Следовательно, коммуникация не

просто форма взаимной стимуляции. Этот термин не подошел бы к двум индивидам, которые, занимая одну постель, согревают друг друга. Коммуникация в завершенном виде предполагает интерпретацию неким *А стимула*, идущего от *В*, и обратное соотнесение этой интерпретации с лицом, экспрессией чувства или установки которого он себя являет.

Позвольте привести пример. Если я невинно, как это обычно со мной и бывает, прогуливаюсь по улице и вдруг на мою голову или, по крайней мере, достаточно близко, чтобы прервать мои размышления, падает кирпич, то это само по себе просто физический факт. Но если я, взглянув наверх, вижу над стеной, с которой упал этот кирпич, злобно ухмыляющуюся в мой адрес физиономию, то падение этого кирпича перестает быть просто физическим феноменом и становится социальным фактом. Оно изменяет свой характер сразу, как только я интерпретирую его как выражение установки, или намерения, а не как «дела Господни» (так на мирском языке мы описываем происшествие, в котором отсутствует какое-либо намерение и за которое, следовательно, никому нельзя приписать ответственность).

Итак, коммуникация – это форма взаимодействия, имеющая место, по крайней мере обычно, между индивидами, обладающими эго. Пока я оставляю без внимания род и качество коммуникации, которая явно имеет место между менее утонченными созданиями, чем мы.

Вы, без сомнения, наблюдали, как церемонно приближаются друг к другу две незнакомые собаки. Это не просто взаимная стимуляция; это коммуникация. Эти собаки понимают друг друга, хотя и не говорят. Так же обстоит дело с курицей, квохчущей что-то своим цыплятам. Это не разговор, но это коммуникация. Естественную историю этого процесса я не берусь здесь обсуждать. Происхождение языка – одна из классических проблем лингвистов. Пример с курицей и цыплятами был одной из излюбленных тем Джорджа Мида в его лекциях по социальной психологии.

Самая интересная вещь, которую мне удалось найти в книгах на тему коммуникации, – это статья Эдварда Сепира о «Языке» в «Энциклопедии социальных наук», а также еще две статьи, более короткие, того же автора, одна о «Коммуникации», другая о «Символизме». Сепир, вслед за Огденом и Ричардсом, проводит различие между языком, который символичен и безличен – как, например, математическая формула или система чисел, – и языком, который экспрессивен и личен, как, например, жест, брань или

даже крик вопиющего в пустыне. В первом случае функция языка является чисто «референциальной», как, например, в научном дискурсе. Он выделяет свой объект, идентифицирует, классифицирует и описывает его. Во втором случае язык, модулируемый произношением, интонацией и изменением высоты тона, стремится быть просто экспрессивным. В этом случае функция слов состоит, видимо, в выражении настроений и чувств того, кто их произносит, а не в определении и выражении идеи.

Это же различие в разной степени применимо к столь разным формам коммуникации, как язык знаков, используемый глухонемыми, и то, что я могу назвать «экспрессивными искусствами», особенно музыка и танец. В каждой форме, которую принимает процесс коммуникации, и во всех его разновидностях, обусловленных использованием разных средств, сохраняет силу различие между референциальной, или дидактической, функцией, когда коммуницируются идеи, и экспрессивной функцией, когда манифестируются чувства и установки. В одном случае идеи, в другом чувства, установки и эмоции передаются отчасти через посредство (*medium*) конвенциональных символов, отчасти — через жестикуляцию и экспрессивное поведение. Под последним я подразумеваю поведение, которое может интерпретироваться интуитивно. Музыка и танец — экспрессии этого рода. Видимо, они являются выражениями того, что Шопенгауэр называет чистой волей. В том же смысле математику и логику можно описать как выражения чистой формы, или идеи.

Дальнейшее развертывание этих расходящихся линий изысканий привело бы к обсуждению того, как логика и наука, с одной стороны, и экспрессивные искусства — с другой, развились из импульса и усилий людей к коммуникации их идей и выражению их чувств. Но мне хотелось бы, скорее, подчеркнуть то, что коммуникация, как я ее понимаю, если и не тождественна культурному процессу, то по крайней мере незаменима для него. У разных народов в разные времена и в разных местах культура может принимать многочисленные и разнообразные формы, материальные и нематериальные; язык, брачные обычаи и артефакты, такие как мотыга и плуг, все в равной мере являются культурными элементами (*traits*). Однако именно тот факт, что они понимаются конкретным народом, культурной группой, придает им качество, которое мы называем культурным. Тогда культура включает все, что коммуницируемо, и ее фундаментальными компонентами, в каких бы формах и символах они ни воплощались, являются — в том

смысле, в каком эти термины использовал Шопенгауэр, – Воля и Идея. Установки и чувства, народные обычаи и нравы – это основа и уток той паутины понимания, которую мы называем «культурой». Я принимаю, вслед за Сепиром, посылку, что сущность культуры – это понимание.

## **II. Коммуникация и конкуренция**

Что делает коммуникация и как она функционирует в культурном процессе? По-видимому, она делает несколько разных вещей. Коммуникация создает или, по крайней мере, делает возможными те консенсус и понимание между индивидуальными компонентами социальной группы, которые со временем придают ей и им характер не просто общества, а культурного единства. Она прядет паутину обычаев и взаимных ожиданий, связывающую воедино такие разные социальные сущности, как семейная группа, профсоюзная организация или торгующиеся участники деревенского рынка. Коммуникация поддерживает согласованность (concert), необходимую для того, чтобы они функционировали, каждый по-своему.

У семейной группы и профсоюзной организации, вообще у всех форм общества, кроме самых мимолетных, есть жизненная история и традиция. Именно посредством коммуникации эта традиция передается. Именно этим способом непрерывность общих предприятий и социальных институтов поддерживается не просто изо дня в день, но и из поколения в поколение. Таким образом, функция коммуникации, видимо, состоит в поддержании единства и целостности социальной группы в двух ее измерениях – пространстве и времени. Признавая этот, факт, Джон Дьюи писал: «Общество не только продолжает существовать посредством трансмиссии, посредством коммуникации, но, можно даже сказать, существует в самой трансмиссии, в самой коммуникации».

В утверждении Дьюи, однако, неявно содержится представление об обществе, не всеми и не везде принимаемое, ибо социальное в нем, видимо, отождествляется с моральным порядком. И термин «социальное» охватывает только те отношения индивидов, которые являются личными, обычными (customary) и моральными.

«Когда одни индивиды пользуются другими для достижения целей, не считаясь с их эмоциональным или интеллектуальным предрасположением и согласием», – говорит Дьюи, они входят с ними в отношения, не являющиеся социальными. Для прояснения он добавляет: «В той мере, в какой отношения между родителем и

ребенком, учителем и учеником остаются на этом уровне, они не образуют никакой подлинной социальной группы, как бы сильно они ни затрагивали друг друга своими деятельностями».

Вместе с тем очевидно, что хотя коммуникация является типичным социальным процессом, это не единственная форма взаимодействия между индивидуальными элементами социальной группы. «Приходится признать, — пишет Дьюи, — что даже в самой социальной группе многие связи все же не социальные». Не «социальны», во всяком случае, в том смысле, в каком он использует этот термин. Так, конкуренция выполняет социальную функцию несколько иного рода, но по крайней мере сопоставимую с функцией коммуникации. Экономический порядок в обществе, видимо, является в значительной степени побочным продуктом конкуренции. Во всяком случае, конкуренция, по словам Кули, есть «самое сердце экономического процесса». Однако то, что мы обычно называем экономической конкуренцией, не есть конкуренция в мальтузианском смысле, в котором она тождественна борьбе за существование. Экономическая конкуренция — это всегда конкуренция, контролируемая и регулируемая в какой-то мере конвенцией, пониманием и законом.

Исследования растительных и животных экологов показали, что даже когда конкуренция свободна и ничем не ограничена — как это имеет место в так называемых растительных и животных сообществах, — в кругу существ, живущих в одном хабитате, существует своего рода естественная экономика. Эту экономику характеризуют разделение труда и неосознанная кооперация конкурирующих организмов. Где бы в природе конкуренция, или борьба за существование, ни рождала стабильную организацию среди конкурирующих индивидов, это всегда происходит потому, что они достигают в той или иной форме разделения труда и осознанной или неосознанной кооперации. В таком случае конкурирующие виды или индивиды, занимая каждый свою, подходящую ему нишу, будут создавать среду, где все могут жить вместе в условиях, в которых каждый не мог бы жить отдельно. Эта естественная экономика растений и животных называется симбиозом.

Связь человека с другими людьми в гораздо большей степени, чем до сих пор признавалось, скорее симбиотическая, чем социальная в том смысле, в каком этот термин употреблял Дьюи. Конкуренция между растениями и животными обыкновенно вызывает взаимную адаптацию и упорядоченное распределение видов, живущих вместе в общем хабитате. Конкуренция между людьми вызвала

или, во всяком случае, помогла вызвать не просто территориальное, а профессиональное (occupational) распределение рас и народов. Она породила то неизбежное разделение труда, которое имеет основополагающее значение для всякой постоянной формы общества, от семьи до нации.

Если борьба за существование, в дарвиновском ее понимании, была определяющим фактором в порождении того разнообразия типов жизни, которое описано в «Происхождении видов», то экономическая конкуренция, или борьба за средства к существованию, видимо, была решающим фактором в порождении сопоставимого профессионального разнообразия у людей. Но это разделение труда, где бы оно ни существовало в человеческом обществе, всегда ограничивается обычаем, а обычай – продукт коммуникации.

На самом деле конкуренция и коммуникация протекают внутри одного и того же локального хабитата и внутри одного и того же сообщества везде, но относительно независимо друг от друга. При этом ареал конкуренции и симбиотической связи неизменно оказывается шире и включительнее, чем ареал тех интимных, личных и моральных отношений, которые создаются коммуникацией. Коммерция неизменно распространяется шире и быстрее, чем языковое или культурное понимание. Видимо, именно это культурное отставание порождает большинство наших политических и культурных проблем. Главное, однако, состоит в том, что везде, где бы ни существовала коммуникация, она неизменно видоизменяет и ограничивает конкуренцию, и культурный порядок накладывает ограничения на порядок симбиотический.

Большинство из нас, вероятно, вспомнит самнеровское описание примитивного общества: территорию, занятую маленькими разрозненными этноцентрическими группами, каждая из которых является средоточием и центром маленького мира, все члены которого связаны узами взаимного понимания и лояльности.

Вне этих маленьких племенных и семейных единиц люди, однако, живут в таких связях друг с другом, которые мало чем отличаются от их связей с растениями и животными; это своего рода симбиоз, очень мало модифицированный взаимным пониманием и всякого рода соглашениями. В этих обстоятельствах фундаментальный социальный и экономический порядок навязывается и поддерживается конкуренцией, но такой, которая все более модифицируется и контролируется обычаем, конвенцией и правом.

Фактически общество всюду демонстрирует две основополагающие формы организации: семейную и коммунальную. Семейное

общество, по всей видимости, имеет свой источник в интересе и стремлении индивидов не просто жить в качестве индивидов, а продолжить род. Таким образом, семья, видимо, в конечном счете базируется на инстинктивной основе. В свою очередь, коммунальное общество возникает из потребности индивидов выжить в качестве индивидов. В этих условиях люди сходятся друг с другом не в ответ на некий стадный импульс, сравнимый с половым инстинктом, а по той более прагматичной и разумной причине, что они полезны друг другу.

Несмотря на все изменения, внесенные в существующий социальный порядок временем и цивилизацией, человек ныне живет, как и всегда, в двух мирах: маленьком мире семьи и большом мире коммерции и политики. В маленьком мире преобладающий порядок интимный, личный и моральный. В более широком мире человек волен преследовать свои индивидуальные интересы своим индивидуальным способом, относительно не ограниченным теми ожиданиями и притязаниями, которые интересы других могли бы ему навязать в более интимном социальном порядке. В семье источником и принципом порядка являются коммуникация и те личные влияния, которые ею опосредуются. В мире коммерции и, в меньшей степени, политики существующий порядок навязывается конкуренцией, а также конкуренцией в более сублимированной форме конфликта и соперничества.

Все это предполагает, хотя, возможно, и не так очевидно, как мне бы хотелось, что конкуренция и коммуникация, хотя они выполняют разные и не координируемые социальные функции, тем не менее в действительной жизни общества дополняют и завершают друг друга.

В жизни персоны и общества конкуренция, видимо, служит принципом индивидуации. Под влиянием этого принципа индивид адаптируется и аккомодируется не просто к человеческому хабитату, но к профессиональной (occupational) организации общества, членом которого он является. Он следует призванию (vocation) и делает то, что умеет делать, а не то, что, возможно, хотел бы делать. Коммуникация, в свою очередь, действует прежде всего как интегрирующий и социализирующий принцип.

Когда новые формы коммуникации создают более тесные связи между индивидами или народами, ранее культурно изолированными друг от друга, первым следствием этого может быть, разумеется, обострение конкуренции. Вместе с тем под влиянием коммуникации конкуренция обычно принимает новый характер.



Она становится конфликтом. В этом случае борьба за существование чаще всего усиливается страхами, враждебными чувствами и завистью, которые возбуждаются присутствием конкурента и знанием его целей. В таких обстоятельствах конкурент становится врагом.

С другой стороны, всегда можно договориться с врагом, которого знаешь и с которым коммуницируешь, и в долгосрочной перспективе большая близость неизбежно несет с собой более глубокое понимание, результатом которого становятся гуманизация социальных отношений и утверждение морального порядка на месте порядка, в основе своей скорее симбиотического, чем социального (всегда в ограниченном смысле этого термина).

### III. Диффузия

Коммуникация, происходит ли она через посредство жестикуляции, членораздельной речи или любого рода конвенциональных символов, всегда предполагает, как мне кажется, интерпретацию установки, или намерения человека, слово или жест которого обеспечили стимул. То, что что-нибудь когда-нибудь для кого-нибудь значит, есть по существу то, что оно значит, значило или будет значить для кого-то еще. Коммуникация – это процесс, или форма взаимодействия, имеющая межличностный, или социальный (в узком смысле слова) характер. Этот процесс обретает завершенность только тогда, когда приводит к некоторого рода пониманию. Другими словами, коммуникация никогда не сводится к стимулу и реакции в том смысле, в каком эти термины используются в индивидуальной психологии. Скорее это экспрессия, интерпретация и реакция.

В некоторых случаях – возможно, даже в большинстве случаев – и прежде всего там, где вовлеченные персоны пребывают *en rapport*, реакция индивида *A* на экспрессивное действие индивида *B* оказывается скорее всего непосредственной и более или менее автоматической. Это явно имеет место в случае гипнотического внушения и особенно в условиях того, что называют «изолированным раппортом», когда субъект реагирует только на внушения гипнотизера и больше ни на что.

Мы должны мыслить жизнь индивидов в обществе как постоянную погруженность в атмосферу подсознательной суггестии. В этой атмосфере они постоянно отзывчивы не просто к внешним актам, но к настроениям и самому присутствию других лиц – при-

мерно так же, как они чутки к погоде. То, что мы называем флуктуациями общественного мнения, общественных умонастроений и моды, есть фактически своего рода социальная погода. Эти изменения в социальной погоде вызывают изменения во внутренних напряжениях лиц, находящихся *en rapport*; изменения эти столь тонки, что их можно рассматривать как своего рода ясновидение (*clairvoyance*). Только в моменты абстрагирования это состояние ясновидения прерывается, да и то лишь частично. Внушение — это, разумеется, не просто стимул, а стимул, который интерпретируется как выражение желания, или установки. Книги о гипнотизме показывают, сколь мягкими могут быть внушения и насколько чутко люди могут на них реагировать при некоторых условиях.

Бывает, конечно, что смысл и значение поведения и языка тех, кто нас окружает, нам непонятны. Это заставляет нас думать и оставляет у нас порой в виде осадка чувство фрустрации и замешательства. В других случаях это побуждает нас не к определенному действию, а к смутному эмоциональному протесту или безотчетному сопротивлению. Это эмоциональное выражение беспокойства, умножаемое и усиливаемое зеркальным влиянием разума на разум, может в итоге принять форму социальной мозговой бури, подобной танцевальной мании Средневековья или коммерческой панике 1929 г. При более обычных условиях беспокойство может выражать себя в социальной взвинченности или в менее насильственной форме дискуссии и дебатов.

Таковы некоторые из множества способов, которыми коммуникация, протекающая в пределах культурной группы, изменяет прямо или косвенно паттерн культурной жизни. Если здесь я говорю об этих проявлениях лишь походя, то только потому, что более полное их обсуждение предполагает углубление в проблемы коллективного поведения, а они столь многообразны и многочисленны, что стали в социальных науках предметом специальной дисциплины.

Обычно культурный процесс проявляет себя в двух измерениях, или аспектах, тесно связанных с условиями, в которых неизбежно происходит коммуникация, и определяемых ими. Это — диффузия и аккумуляция.

Поскольку коммуникация происходит между людьми, она неизбежно вплетена во все осложнения, сопутствующие передаче стимула от источника *a quo* к адресату *ad quem* — т.е. от человека, экспрессией разума которого он является, к человеку, в разуме которого он находит отклик. Очевидными условиями, способствующими или препятствующими этим процессам, являются прежде

всего физические условия, и в современную эпоху они все более преодолевались с помощью таких технических средств, как алфавит, печатный пресс, радио и т.д.

Менее очевидными препятствиями для эффективной коммуникации являются трудности, проистекающие из разницы языка, традиции, опыта и интереса. Под интересом в данном случае я понимаю то, что Томас называет «направленностью внимания». Всегда и везде какие-то интересы, люди и события находятся в фокусе внимания; какие-то вещи пребывают в моде. Все, что на данный момент имеет важность и престиж, способно некоторое время направлять потоки общественного мнения, даже если не изменяет в долгосрочной перспективе тренд событий. Все эти вещи являются факторами коммуникации и либо облегчают, либо затрудняют передачу новостей из одной страны в другую. Оборот новостей – типичный пример одного из способов, которыми осуществляется диффузия культуры.

Дискуссии о недостатках прессы часто базируются на имплицитном допущении, что передача новостей из одного культурного ареала в другой – например, с Востока на Запад или из Берлина в Нью-Йорк – является такой же простой операцией, как транспортировка товара, например кирпичей. Слова, разумеется, можно переправлять через культурные барьеры, однако интерпретации, которые они получают по разные стороны политической или культурной границы, будут зависеть от контекста, который в них привнесут разные интерпретаторы. А этот контекст, в свою очередь, будет больше зависеть от прошлого опыта и нынешнего настроения людей, которым слова адресуются, чем от мастерства или доброй воли тех, кто их передает.

Зарубежные корреспонденты в силу своего опыта знают лучше кого бы то ни было, как трудно бывает в обычных условиях заставить публику читать новости из-за рубежа. Знают они и то, насколько еще труднее сделать понятными для среднего обывателя события, происходящие за пределами его жизненного горизонта. Вообще говоря, новость распространяется в каждом направлении тем дальше, чем она интереснее и понятнее. В этом отношении она не сильно отличается от любого другого культурного объекта, скажем, от нефтяных канистр «Стандард ойл» или швейных машинок фирмы «Зингер»; последние из всех наших современных культурных артефактов получили на сегодняшний день, пожалуй, самое широкое распространение.

Любые и каждые артефакт или новость неизбежно стремятся добраться до мест, где они будут оценены и поняты. Культурные черты усваиваются лишь настолько, насколько они понятны, а понятны они лишь настолько, насколько они усвоены. Это не значит, что культурный артефакт или новость будут иметь везде одинаковый смысл; как раз наоборот. Но разные смыслы, которые они имеют в разных местах, будут все больше сближаться по мере того, как за диффузией будет следовать аккультурация.

Поразительно, насколько далеко и с какой скоростью новость обычно доносится до умов тех, для кого заключенное в ней сообщение, при условии его понятности, является важным. С другой стороны, так же важна, хотя и не так заметна, трудность передачи сообщения, не являющегося для адресатов ни важным, ни понятным. Последнее – проблема школ и, прежде всего, механической зубрежки.

Тридцать три года назад исход Русско-японской войны стал новостью, которая, подозреваю, разнеслась шире и быстрее, чем любая другая весть о событиях, путешествовавшая когда-либо раньше. Отзвуки ее были слышны в столь далеких друг от друга регионах, как горные отроги Тибета и леса Центральной Африки. Новым было то, что нация цветных одержала верх над нацией белых. Сегодня эта новость могла бы распространиться еще дальше и с еще большей скоростью, но той важностью она бы уже не обладала. Вопрос о том, как, почему и при каких обстоятельствах расходится новость, важен и заслуживает большего внимания, чем до сих пор ему уделялось.

Всем известно наблюдение исследователей культурного процесса, что артефакты, или элементы материальной культуры, распространяются легче и усваиваются быстрее, чем аналогичные элементы нематериальной культуры, например политические институты и религиозные практики. Это всего лишь означает, что торговля распространяется в целом быстрее, чем религия. Но и это зависит от обстоятельств. Взять для примера неожиданно стремительную диффузию коммунизма в современном мире.

Одной из причин того, что элементы материальной культуры так широко разносятся и так легко усваиваются, является то, что их применения очевидны, а их ценности, какими бы они ни были, рациональны и секулярны. Не нужно ни обрядов, ни церемоний, чтобы посвятить человека в таинства, заключенные в использовании тачки или ружья. Когда в Южную Африку привезли первый плуг, старый вождь, которого пригласили попристутствовать на его показе

и взглянуть на этот предмет, сразу распознал его ценность. Он сказал: «Это великая вещь, которую белый человек нам принес». После чего, немного поразмыслив, добавил: «Она стоит десяти жен».

То, что мы называем цивилизацией, в отличие от культуры, состоит по большей части из таких артефактов и технических средств, которые могут распространяться без подрыва существующих социальных институтов и без ущерба для способности людей действовать коллективно, т.е. согласованно и слаженно. Институты же, видимо, существуют в первую очередь для того, чтобы облегчать коллективное действие, и все, что подразумевает общество, а не индивидов, из которых это общество образуется, трудно экспортировать. Диффузия происходит легче, когда социальное единство ослаблено.

Ни для кого, полагаю, не секрет, что между коммерцией и новостями неизменно существует тесная и неразрушимая связь. Центры торговли – это всегда и центры новостей, центры, куда они неизбежно стекаются и откуда они разносятся сначала в локальное сообщество, а затем, соответственно их интересности и важности, в разные концы земного шара.

В ходе этой диффузии непременно происходит процесс отбора. Одни новости разносятся дальше и быстрее других. Это верно даже тогда, когда все или большинство физических барьеров для коммуникации преодолены. Причина, разумеется, проста. Она связана с неизбежной эгоцентричностью людей и этноцентричностью человеческих отношений. Событие важно лишь постольку, поскольку мы считаем, что можем в связи с ним что-то сделать. Чем более далекой кажется возможность это сделать, тем более оно теряет для нас важность. Землетрясение в Китае оказывается для нас в силу нашего неисправимого провинциализма менее важным, чем похороны в нашей деревне. Это пример того, что имеется в виду под социальной дистанцией; с помощью этого термина социологи пытаются концептуализировать и в каком-то смысле измерить личные отношения и личные близости. Важность есть в конечном счете личное дело, вопрос социальной дистанции.

Принцип, заключенный в распространении новостей, не отличается от принципа, заключенного в культурном процессе диффузии, где бы он ни протекал. Легче всего индивиды и общества, как я уже говорил, усваивают то, что одновременно интересно и доступно для понимания.

#### IV. Аккультурация

Если рынок является центром, из которого распространяются новости и разносятся культурные влияния, то это также и центр, где старые идеи погружаются в перегонный куб и рождаются новые идеи. Рыночное место, где люди собираются поторговаться и поболтать, есть по сути своей что-то вроде форума, на котором люди с разными интересами и разными умами вступают в миролюбивый спор. Они стараются договориться о ценностях и ценах, пытаются — посредством процесса, в основе своей диалектического, — разубедить разные значения, которыми вещи обладают для людей с разными интересами, и стремятся достичь пониманий, основанных в большей степени на рассудительности и в меньшей степени на традициях и предрассудках, санкционированных, если не освященных обычаем. Вот почему большие столичные города — Рим, Лондон и Париж, — в которые прибывают и которые покидают люди со всех концов света, находятся в постоянном брожении просвещения, непрерывно погружены, если употребить немецкое выражение, в *Aufklärung*. В подобных условиях исторический процесс убыстряется, и аккультурация — взаимопроникновение умов и культур — протекает с высокой скоростью.

Когда народы разных рас и несхожих культур пытаются жить вместе в пределах одной локальной экономики, они, вероятнее всего, живут какое-то время в отношениях, которые я назвал скорее симбиотическими, чем социальными, используя последнее слово так, как употребляли его Дьюи и другие, т.е. как тождественное «культурному». Короче говоря, они живут в физическом соседстве, но в более или менее полной моральной изоляции, и ситуация эта соответствует по существу, если не фактически, самнеровскому описанию примитивного общества.

Это было и еще остается ситуацией, характерной для некоторых из тех маленьких религиозных сект, вроде меннонитов, которые время от времени ищут прибежища в Соединенных Штатах или где-нибудь еще. Они селятся на фронтах европейской цивилизации, где надеются жить в своего рода племенной изоляции, дабы их не затронуло и не испортило общение с миром иноверцев.

Именно для сохранения этой изоляции некоторые из «людей прерий», или амишей, в Пенсильвании несколько месяцев назад отвергли попытку правительства всучить им в дар 112 тыс. долл. из фондов R.W.A., дабы они построили на них новые школы. Ведь

новые школы предполагали использование автобусов, а эти люди категорически против них возражали. Кроме того, они считали – и, несомненно, совершенно правильно, – что тесная связь детей-амишей со смешанной популяцией консолидированной школы, которой народные обычаи амишей определенно казались странными, подорвет дисциплину и священную солидарность амишского общества.

Эта ситуация, в которой народы, занимающие одну территорию, живут в более или менее полной моральной изоляции, исторически была ситуацией более сложного (sophisticated) народа, чем амиши, а именно евреев – пока те жили в уединении своего религиозного сообщества. В меньшей степени она была ситуацией каждого иммигрантского народа, который по той или иной причине пытался найти место в экономическом порядке установленного общества и в то же время поддерживать чуждую ему культурную традицию.

Но при естественном ходе событий в современных условиях жизни как иммигрант, так и сектант неизбежно пытаются выйти из этой изоляции, дабы обрести возможность активнее участвовать в социальной жизни окружающих их людей. Тогда, если не раньше, они сознают ту социальную дистанцию, которая отделяет их от членов доминирующей культурной группы. В этих условиях аккультурация встраивается в борьбу иммигрантов и сектантов за статус и становится ее частью. Все, что маркирует их как чужаков – манеры, произношение, речевые и мыслительные привычки, – затрудняет эту борьбу. Возникающий отсюда культурный конфликт – открытый или всего лишь ощущаемый, – как и любого рода конфликт, обычно обостряет самосознание у членов обеих культурных групп: у тех, кто классифицируются как чужаки, и у тех, кто считают себя коренными.

Но все, что обостряет самосознание и стимулирует интроспекцию, неизбежно выводит наружу, в сферу ясного осознания, чувства и установки, которые иначе остались бы недоступными для рациональной критики и интерпретаций. В последнем случае, как говорят нам психоаналитики, они, вероятно, продолжали бы работать в темных подземельях сознания. Они так и продолжали бы функционировать как часть той «жизненной тайны», о которой писал Уильям Джеймс в очерке «О некоторой слепоте у людей», – тайны, которую каждый из нас глубоко сознает, поскольку она составляет субстанцию нашего самосознания и нашей индивидуальной точки зрения, но симпатии к которой и понимания которой тщетно искать у других. Между тем конфликт, и особенно культурный, вовлекая в сферу ясного понимания импульсы и установки,

которые мы бы в противном случае так и не осознали, неизбежно повышает наше знание не только себя, но и наших близких, ибо установки и чувства, находимые нами в себе, мы способны оценить и понять, находя их и в разумах других, как бы косвенно они ни выражались.

Трактуя аккультурацию радикальным образом, можно сказать, что она начинается с тесных ассоциаций и пониманий, возникающих у ребенка в семье с матерью и чуть позже с другими членами семьи. Но хотя матери с необходимостью и при всех обычных обстоятельствах относятся к своим детям с глубоким интересом и отзывчивостью, общеизвестно, что они не всегда их понимают.

В случае других членов семьи — особенно в случае отношений между мужем и женой — ситуация отличается, но не сильно. Мужчины естественно и инстинктивно проявляют интерес и тянутся к женщинам, особенно чужим, но обычно им бывает трудно их понять. На самом деле, как мне кажется, мужчины чувствовали в прошлом и все еще продолжают смутно чувствовать, что женщины, как бы ни были они интересны, не вполне люди в том смысле и той степени, в каких это можно сказать о них самих.

Если сегодня это уже не так верно, как было в прошлом, то потому, что мужчины и женщины в семье и вне ее живут в более тесной ассоциации друг с другом, чем прежде. У них еще есть свои отдельные миры, но они сходятся вместе так, как никогда раньше не сходились. Они говорят на одном языке. Это относится также к родителям и детям. Они понимают друг друга лучше, чем это некогда было.

Многое мужчины и женщины узнали друг о друге из опыта, но еще больше — в смысле понимания друг друга и способности к коммуникации — из литературы и искусства. На самом деле именно функция литературы и искусства, а также того, что в академических кругах называют *humanities*, состоит в том, чтобы дать нам это интимное, личное и внутреннее знание друг друга, делающее более приятной социальную жизнь и возможным коллективное действие.

Возможно, я неправ, описывая тесные ассоциации, которые делает для нас возможными и навязывает нам семейная жизнь, так, как если бы они были неотъемлемой частью культурного процесса. Это может показаться использованием термина в контексте, который настолько ему чужд, что разрушает его исходное значение. Я не уверен, однако, что это совсем уж так. Во всяком случае, в семье, в которой муж и жена имеют разное расовое происхождение



ние и, соответственно, разные культурные наследия, процесс аккультурации — в том самом смысле, в каком этот термин знаком ученым, — протекает нагляднее и эффективнее, чем где бы то ни было. Именно этот факт, а не его биологические последствия, придает новейшим исследованиям расового смешения и межрасового брака, таким, например, как исследования Романцо Адамса на Гавайях, значимость, которой они бы иначе не обладали. Именно в жизненных историях потомков смешанных браков, которым их происхождение обыкновенно навязывает задачу ассимиляции двух разных культурных наследий, процесс и последствия аккультурации наиболее явны и открыты для исследования. Причина кроется в том, что человек смешанной крови — это так называемый «маргинальный человек», т.е. человек, живущий в двух мирах, но не чувствующий себя как дома ни в одном из них.

Обсуждая культурную диффузию, я взял для иллюстрации процесса диффузии новость и ее циркуляцию, имея в виду широкое распространение новостей, которое произошло с расширением средств коммуникации за счет печатного прессы, телеграфии и радио. Я должен, наверное, добавить, что не все напечатанное в газете является новостью. Многие из того, что печатается как новость, читается, по крайней мере, так, как если бы это была литература, т.е. прочитывается потому, что щекочет и будит воображение, а не потому, что заключенный в нем посыл настоятелен и требует действия. Таковы, например, так называемые «интересные истории» («human interest» stories), оказавшие огромное влияние на увеличение и сохранение газетных тиражей. Но интересные истории — не новости. Это литература. Время и место — самая суть новостей, но на циркуляцию литературы и искусства время и место не накладывают никаких ограничений. Именно искусство и литература — и в особенности даже не газета, а искусство кино — оказывают, на мой взгляд, в сегодняшнем мире самые глубокие и разрушительные культурные влияния.

Если газета и циркуляция новостей представляются самой очевидной иллюстрацией диффузии, то кино и кинофильм кажутся самым наглядным примером аккультурации. Кино работает с темами, которые ближе к интересам и пониманию обычного человека, чем темы газеты. Кроме того, новости сильно перегружены бизнесом и политикой, а обычный человек, как выяснили г-н Менкен и другие газетчики, не очень-то интересуется ни тем, ни другим. Наконец, кино затрагивает и заинтересовывает людей на более

низком уровне культуры, чем это возможно сделать с помощью такого медиума, как печатная страница.

На далеких островах Вест-Индии с очень низким уровнем грамотности я наблюдал негритянские аудитории, давившиеся от смеха и счастливые до умопомрачения от лицемерия кривляний Толстяка Арбакла; и я видел испуганный, циничный смех туземных аудиторий в горах Педанг на Суматре, когда они впервые в жизни наблюдали невероятно интимные для них сцены голливудских ухаживаний. Каждый, кому довелось наблюдать в каком-либо отдаленном районе мира влияние кино на народы, на которые его живые транскрипты нынешней американской жизни обрушились как внезапное и поразительное откровение, не может иметь никаких сомнений в глубоких и революционных изменениях, которые оно уже вызвало в установках и культурах народов даже в самых далеких мировых захолустьях.

На основе моих ограниченных наблюдений невозможно определить, что было более эффективным в культурном процессе или более решающим в порождении культурных изменений: влияние газеты, кино или радио. По крайней мере, влияние каждого чем-то отличалось от влияния других.

В заключение вернусь к различию, с которого я начал: различию между языком и формами коммуникации, которые референциальны, как, например, научное описание, и языком и формами коммуникации, которые символичны и экспрессивны, как, например, литература и изящные искусства. Кажется ясным, что функция новостей – определенно референциальная. Хотя новость не имеет в науке статуса классифицированного факта, она по крайней мере незаменима для управления и бизнеса. В свою очередь, функция искусства и кино в целом, несмотря на найденное им применение в образовании, является определенно символической, и как таковые они глубоко влияют на чувства и установки, даже если не вносят никакого реального вклада в знание.

## ФИЗИКА И ОБЩЕСТВО\*

Около семидесяти (а если точнее, шестьдесят восемь) лет назад Уолтер Беджгот опубликовал замечательную книжку под названием *«Физика и политика»* с подзаголовком «Размышления о применении принципов “естественного отбора” и “наследования” к политическому обществу». В действительности в этой книге была предпринята попытка дать схематичный очерк естественной истории политического общества и описать процесс или процессы, благодаря которым в ходе распада более ранних, простых и жестких, если не репрессивных, форм ассоциации возникли позднейшие, более сложные и либеральные ее формы.

Общество, или по крайней мере политическое общество, как понимал его Беджгот, есть своего рода сверхорганизм, имеющий социальную структуру, которая поддерживается социальным процессом. Эта структура запечатлена в обычае и цементируется им. Человек — это животное, создающее обычаи. Процессом здесь является то, что известно нам по другим источникам как «исторический процесс»; никак иначе он не определяется. Его функция — плести и переплетать заново сеть обычаев и традиций, в которой индивиды, которым суждено жить вместе и которые со временем начинают действовать сообща как политическая единица, оказываются неотвратно связанными в единое целое.

---

\* *Park R.E. Physics and society* // *Park R.E. Society, collective behavior, news and opinion, sociology and modern society*. — Glencoe (IL): Free press, 1955. — P. 301–321. Впервые очерк был опубликован одновременно в двух изданиях: *Canadian j. of economics and political science*. — Toronto, 1940. — Vol. 6, N 2. — P. 135–152; *Essays in sociology* / Ed. by C.W.M. Hart. — Toronto: Univ. of Toronto press, 1940. — P. 1–18. Перевод публиковался в: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. — М., 1997. — № 4. — С. 135–157. Для настоящего издания он заново сверен и переработан.

Всегда существует более или менее жесткая традиция, заставляющая каждое новое поколение принимать определенный паттерн наследуемого социального порядка. Но вместе с тем всегда есть освобождающие и индивидуализирующие влияния других социальных процессов – конкуренции, конфликта и дискуссии, – которые описываются у Беджгота как человеческая «склонность к изменчивости», или, если использовать не биологический, а политический термин, как предрасположенность человека к неконформности, «которая [как добавляет Беджгот] является принципом прогресса».

Конкуренция – не просто экономическая, а биотическая, т.е. тот ее тип, который, согласно Дарвину, привел к возникновению разных органических видов и разных человеческих рас, – видимо, была индивидуализирующим и организующим фактором в эпоху, которую Беджгот называет «предварительной», т.е. в то время, когда общество в человеческом его смысле еще только зарождалось. Предварительная эпоха, когда человек жил не в политическом социальном порядке, а скорее в семейном и родовом, или, во всяком случае, незыблемо закрепленном в обычае и традиции, сменилась в конце концов «эпохой конфликта».

Война и завоевание, даже заключая в себе порабощение, видимо, были первыми великими эмансипаторами человека, поскольку впервые реально разрушили тот жесткий социальный порядок обычаев, в котором человек раньше жил как духовный узник своей племенной или локальной культуры<sup>1</sup>. По-видимому, именно в завоеваниях берет свое начало государство, впервые объединившее общим *modus vivendi* народы разных рас и культур<sup>2</sup>. Но хотя государство и зарождалось в войнах, оно принудительно

---

<sup>1</sup> Рабство, являясь одним из институтов, которому «на определенном этапе развития отдают дань все народы во всех странах», определяется Беджготом как «временный институт». В соответствии с этой концепцией, «раб – неассимилированный атом, нечто, находящееся в политическом теле, но едва ли являющееся его частью». (*Bagehot W. Physics and politics.* – L.: King, 1872. – P. 171).

<sup>2</sup> Представление о том, что развитие общества и интеллектуальной жизни стало следствием событий, нарушивших изначально существовавшее социальное равновесие и подорвавших наследственный социальный порядок, есть катастрофическая теория прогресса. Такая теория не была изобретением Беджгота; в то или иное время и в той или иной форме ее выдвигали многие гуманисты и любители, изучавшие общество и человеческую природу (см.: *Teggart F.J. Theory of history.* – New Haven (CT): Yale univ. press, 1925. – Ch. 15: The method of Hume and Turgot).

устанавливало мир в пределах территории, над которой оно господствовало. Возможно, именно это дает основания утверждать, что «функцией войны было расширение территории, в пределах которой можно было поддерживать мир», а вместе с миром промышленность, торговлю и более широкое разделение труда.

С развитием промышленности и торговли, по крайней мере в западном мире, эпоха конфликта постепенно сменилась «эпохой дискуссии». Именно на рыночной площади, куда люди приходили поторговаться и поспорить, обменяться товарами и идеями, родилась политическая дискуссия и началась интеллектуальная жизнь. Как отмечает Беджгот, именно «политика и дискуссия окончательно разрушили все узы обычая», которые до той поры сковывали мышление и удерживали людей в цепях прецедента и прошлого.

Эпоха дискуссии есть также, несомненно, и эпоха рассудка (reason). Рассудок – по сути, такой же продукт диалектики, как и разум (mind), по Миду, – продукт социального взаимодействия. «Следовательно, мы должны рассматривать разум как возникающий и развивающийся в социальном процессе, в эмпирической матрице социальных взаимодействий»<sup>1</sup>. В эпоху дискуссии люди уже не скованы, стало быть, ни традицией, ни обычаем; они вольны обсуждать все, что есть на небесах или в морских глубинах; соответственно, все, как священное, так и светское, становится теперь или должно, во всяком случае, стать предметом рационального анализа или научного исследования. Мысли, по-видимому, не представляют опасности до тех пор, пока возможна дискуссия.

Следует, наверное, добавить, что хотя человек в этом новом, просвещенном мире уже не отягощен трепетным отношением к прошлому и почтением к традиции, огромная масса людей все еще склоняет голову перед диктатом моды и никогда не освобождается полностью от более вкрадчивых влияний рекламы и пропаганды. Замещение обычая модой, а традиции пропагандой, несомненно, следует толковать как более или менее неизбежный момент прогресса и культурной эмансипации человечества, подобно тому как ожидают наплыва шарлатанов после каждого шага вперед в развитии медицинской науки или нового всплеска преступности – вслед за каждой попыткой навязать с помощью полицейского контроля какое-нибудь правило поведения, не подкрепленное нравами

---

<sup>1</sup> Mead G.H. Mind, self and society. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1934. – P. 133.

и общим консенсусом в обществе. Так вкратце и по существу описывается политическое общество у Беджгота.

Перечитывая спустя много лет замечательную книжку Беджгота, я еще раз поразился тому, насколько часто социальная наука обязана некоторыми наиболее глубокими и проницательными открытиями не профессиональным ученым, а обывателям, т.е. людям, для которых источником знания является не методичное изучение систематической науки, а близкое знакомство с людьми и жизнью. Уолтер Беджгот – один из примеров этого, однако не составило бы труда назвать и другие имена. Например, Адам Смит, написавший не только *«О богатстве народов»*, но и *«Теорию нравственных чувств»*, или Уильям Грэм Самнер, чьи *«Народные обычаи»*, ставшие одной из самых читаемых и влиятельных книг в социологии, являются на самом деле довольно беспорядочным собранием заметок и комментариев по поводу обширной этнологической и исторической литературы, прочитанной автором. Грэм Уоллес, автор *«Человеческой природы в политике»* и *«Великого общества»*, являет нам еще один образец подобных авторов, чьи знания – скорее знания любопытных наблюдателей людей и их обычаев, чем результат систематического изучения общества и человеческой природы. В список непрофессиональных исследователей можно включить даже такого философа и социолога, как Георг Зиммель, чьи заметки о человеческих отношениях и «социальном духе» часто столь же тонки и проницательны, как и наблюдения Фрейда и психоаналитиков, относящиеся к более темным сторонам индивидуальной души.

Ни один из этих людей – быть может, за исключением Зиммеля – не был систематическим исследователем общества. Однако интеллектуальное любопытство побудило их окинуть широким взглядом происходящее и глубоко задуматься о тех гранях человеческой жизни, которые они увидели. Наверное, их можно было бы назвать человеческими натуралистами, любознательными и дошными наблюдателями человеческих отношений, в чем-то похожими на Дарвина и натуралистов прошлого столетия, изучавших связи между низшими организмами. Стоит также заметить, что хотя логические и методологические проблемы социальных наук, волновавшие умы более систематических исследователей общества, интересовали этих людей далеко не в первую очередь, они все же зачастую подспудно присутствовали в их работах, идеях и прозрениях и, если более основательно их разработать, могли бы

дать логический каркас (framework) для более систематических и более научных исследований.

Во всяком случае, попытка Беджгота открыть то, что можно было бы назвать «механизмами прогресса», с целью сделать понятным развитие современного мира превосходно помогает достичь ясного видения того, что социологически значимо в сегодняшнем мировом кризисе, и показать связь всего этого с, быть может, самой фундаментальной проблемой, с которой приходится иметь дело исследователям общества, а именно проблемой социального изменения.

Видимо, есть ограниченное число теоретических проблем, на которые должна давать ответ каждая «система», или схема соотнесения для изучения общества, и хотя разные ученые будут представлять их и формулировать их решения по-разному, сами проблемы остаются по существу одними и теми же. Так, каждое общество обладает структурой, и каждая такая социальная структура предположительно возникла и сохраняется благодаря некоторому процессу или процессам. Анализируя и описывая социальные явления, одни авторы подчеркивают процессуальный аспект, другие – структурный.

Почти любая фундаментальная проблема общества, теоретическая или практическая, по-видимому, вертится в конце концов вокруг необходимости примирить изменения в социальном порядке с сохранением функции, ради которой существует этот порядок, т.е. необходимости примирить свободу с безопасностью, а социальное изменение – с социальным прогрессом.

В естественной истории человеческих отношений всегда была, если воспользоваться экологическим термином, определенного рода сукцессия. Так, империи расцветали и приходили в упадок, но вместе с этими явно циклическими изменениями происходил и некоторого рода непрерывный прогресс. Прогресс происходил, вероятно, благодаря тому, что всегда была возможность включения больших территорий и большего населения в пределы единой экономики, что, в свою очередь, обеспечивало возможность большей специализации функций и более широкого разделения труда. Но современный прогресс, как понимает его человек наших дней, является изобретением не просто современного, а именно западного мира. Древним грекам и римлянам он был неведом. Как отмечает Беджгот, «они не то чтобы отвергали эту идею; у них ее попросту не было».

С другой стороны, в современном мире прогресс – не просто термин для описания особой формы социального изменения, ха-

рактизирующей долгосрочной вековой тенденцией. Это, кроме того, идеал и символ веры. Уолтер Беджгот, судя по всему, разделял эту веру, но верил не в постоянный и необратимый прогресс, а в прерывный и конечный. Дальнейший и постоянный прогресс ограничивался для него, вероятно, Европой. Меж тем представления Беджгота о прогрессе и историческом процессе базировались на наблюдении мира, которого больше не существует. То, что происходит сегодня на наших глазах, во многих отношениях, видимо, совершенно противоположно всему, чего мы могли бы ждать исходя из его рассуждений об эволюции политического общества.

Беджгот жил в эпоху, когда население Европы наслаждалось такой степенью личной свободы и одновременно личной безопасности, какой оно никогда прежде не переживало и, возможно, никогда больше не ощутит. В 1870 г. Европа только начинала собирать плоды промышленной революции. Эпоха открытий, начавшаяся с Колумба, подходила в это время к концу вместе со вторым открытием Африки Ливингстоном и Стэнли. Технические изобретения превратили Европу в активный и доминирующий центр новой всемирной цивилизации и в то же время в центр политического и культурного господства, которое пароходу и локомотиву суждено было распространить в самые дальние уголки земного шара. Англия достигла — или почти достигла — зенита своего политического могущества и влияния в мире. Разросшаяся до необъятных размеров Британская империя, казалось, охватила весь мир. Проблема народонаселения, озаболившая в начале века Мальтуса и вдохновившая Дарвина на создание теории происхождения видов, казалась решенной благодаря всемирному разделению труда, возможность которого была обеспечена экспансией мирового рынка.

Прогресс науки и технических изобретений происходил с тех пор все быстрее, но Европа перестала быть единственным политически и культурно активным центром среди пассивно внимающего мира. Случилось что-то такое, что оживило интеллектуальную жизнь в «скованных цивилизациях» Востока. Во всех государствах Европы, где уровень технического развития наиболее высок, численность населения сокращается. В других частях мира, которые прежде были пассивными, особенно в Японии, Китае и Индии, население растет.

Мир, в 1870 г., казалось, открывавший беспредельные пространства для экспансии, сегодня перенаселен. Экономисты заняты инвентаризацией его ресурсов и подсчетом того, когда они иссякнут. Разрастающейся вширь Европы больше нет. Миграция прак-



тически прекратилась. Международная торговля пришла в упадок. Европейская цивилизация достигла пределов территориального роста, и великие державы включились в отчаянную борьбу за жизненное пространство, *Lebensraum*.

Но если тенденция, в общих чертах описанная Беджготом, изменилась, то описанные им процессы продолжают. Кроме того, с изменением этой тенденции произошло соответствующее изменение в идеологии и бессознательных послылках, которых придерживаются люди. Уолтер Липпман говорит, что интеллектуальный климат Западной Европы начал меняться примерно с 1848–1870 гг., а после 1870 г. либеральная философия перешла в оборону, и либералы вели проигрышный для них арьергардный бой. С 1874 г. наметилась устойчивая тенденция к замене свободы и ответственности индивида авторитетом и контролем государства<sup>1</sup>.

Тем временем вследствие перемен в условиях жизни, обусловленных техническими изменениями, происходило общее изменение отношения ученых и современного мира к связи науки с человеческим благосостоянием. Так, год назад в обращении к Национальной академии наук сэр Уильям Брэгг сказал: «Воздействие науки на социальные отношения и социальные условия стало огромным, и выгоды от этого очевидны. Вместе с тем оказалось, что наука далеко не всегда благотворна. Предметом тревожных раздумий стало то, неизбежно ли рост познания природы приносит зло, наряду с добром». Это не частное высказывание отдельного человека. Напротив, слова Уильяма Брэгга отражают общие сомнения и опасения мыслящих людей. Похоже, люди в наше время начинают считаться с издержками прогресса, спрашивая себя, что на данный момент перевешивает в бухгалтерской книге: кредит или дебет.

---

<sup>1</sup> После 1870 г. люди вновь стали инстинктивно мыслить в терминах организации, власти и коллективной силы. Бизнесмены ради улучшения своих перспектив стали прибегать к тарифам, централизации контроля над корпорацией, подавлению конкуренции и крупномасштабному деловому администрированию. Реформаторы, стремившиеся помочь бедным и поднять падших, уповали на организованный рабочий класс, электоральное большинство, захват суверенной власти и использование ее в их интересах. Хотя крупные корпоративные капиталисты продолжали пользоваться шибболетами либерализма при столкновении с коллективными требованиями рабочих или враждебной силой народного большинства, они тем не менее были насквозь пропитаны коллективистским духом в силу приверженности протекционизму и централизованному управлению (Lippman W. The good society. – Boston: Little, Brown & co., 1937. – P. 47).

«Наука и ее применения не только преобразуют физическую и психическую среду человека, но и вносят существенный вклад в усложнение его социальной, экономической и политической жизни», — такова лексика Американской ассоциации за развитие науки<sup>1</sup>. Видимо, есть веские поводы для того, чтобы сегодня — когда тоталитарные государства подчинили науку, как и все другие социальные функции, своей национальной политике, — люди науки задумались о самом будущем науки. Именно поэтому Американская ассоциация за развитие науки, провозгласив своим основополагающим символом веры принцип, гласящий, что «наука полностью независима от национальных границ, рас и вероисповеданий и может постоянно процветать только там, где царят мир и интеллектуальная свобода», решила сделать «одной из своих задач исследование глубоких влияний науки на общество»<sup>2</sup>.

Меж тем проблема связи естественной науки и техники с обществом и социальными условиями, которую сэр Уильям Брэгг определил как «предмет первостепенной важности для всего мира», не нова и возникла отнюдь не недавно, как можно было бы предположить исходя из интереса, возникшего к ней в связи с появлением тоталитарных государств.

Брукс Адамс, похоже, предсказал нынешний кризис еще тридцать семь лет назад. В те времена, заключавшие в себе многое из того, что имеет отношение к нашим размышлениям, он говорил: «Ни один известный нам тип разума, даже в медленно развивающихся цивилизациях, не может приспосабливаться к изменениям среды так быстро, как изменяется сама среда... Но более всего нас в этой ситуации удручает то, что социальная акселерация прогрессирует прямо пропорционально активности научного разума, совершающего механические открытия, и, стало быть, именно триумфально развивающаяся наука создает все более быстрые изменения в среде, к которым люди на свой страх и риск должны адаптироваться»<sup>3</sup>.

Влияние физики и естественных наук на общество и социальную жизнь, естественно, заметнее, чем где бы то ни было, в области технологии. Современный мир успешно миновал эпоху железа, стали и электричества и теперь борется за то, чтобы приспособиться к эпохе, когда социальную структуру в значительной

---

<sup>1</sup> Science. — Wash., 1939. — Vol. 90, N 2335. — P. 294.

<sup>2</sup> Ibid. — P. 294.

<sup>3</sup> Adams B. The theory of social revolution. Цит. по: Mayo E. The human problems of an industrial civilization. — N.Y.: Macmillan, 1933. — P. 175.

мере определяют автомобиль, трактор и аэроплан. Порой эти механические устройства вели к разрушительным последствиям, но в то же время оказывали и оживляющее воздействие. Во всяком случае, они неизменно все плотнее и прочнее стягивали ту неудержимо растущую сеть взаимозависимости, которую мы называем *обществом*.

Технические средства естественным образом меняли человеческие привычки, тем самым неизбежно модифицируя структуру общества и его функции. Общую природу этих изменений можно описать как (1) изменение характера связи человека с почвой и своей естественной средой обитания (*habitat*) и (2) изменение его связей с другими людьми.

Благодаря машинной технике человек все меньше непосредственно зависел от природных ресурсов своей среды обитания и все больше зависел от сложной социальной организации, посредством которой осуществляются добыча, производство и распределение этих ресурсов. В результате поиски пропитания в современном мире перестали быть тем, чем они когда-то были, т.е. поиском пищи, и превратились в погоню за работой.

Крупные города самым радикальным образом изменили человеческую среду обитания и навязали людям дисциплину почти целиком и полностью механизированного мира. Наверное, поэтому социальные проблемы крупных городов приобрели в последние годы типично технологический характер, став проблемами социальной инженерии. Каждая жизненная функция, рационализируясь, словно стремится перейти в руки какого-нибудь эксперта и выполняться при помощи какой-нибудь машины.

Современный город давно перестал быть той агломерацией индивидуальных жилищ, какой была крестьянская деревня. Скорее он похож на цивилизацию, центром и средоточием которой является он сам, на некую обширную физическую и институциональную структуру, где люди живут, подобно пчелам в улье, в таких условиях, что их деятельности регулируются, регламентируются и обуславливаются в гораздо большей мере, чем может показаться зрителю или самому его обитателю.

Чтобы точнее определить изменения в характере социальных отношений, вызванные развитием техники, полезно и даже необходимо сказать кое-что о природе того, что мы называем обществом. Полагая, что обществом является любая ассоциация, в которой индивиды ведут общую жизнь, мы ожидаем, что в обществе людей будут обнаруживаться такие типы ассоциации, как (1) террито-

риальная, (2) экономическая, (3) политическая и (4) культурная, изучаемые разными социальными науками – соответственно, человеческой экологией, экономикой, политикой и социологией (или культурной антропологией).



*Территориальный порядок.* География и территориальная организация общества черпают свою значимость в том, что личные и социальные отношения во многом определяются физическими расстояниями, а социальная стабильность обеспечивается тогда, когда люди укоренены в почве. С другой стороны, наиболее радикальными изменениями в обществе будут, вероятно, такие, которые заключают в себе мобильность и особенно массовые миграции народов. Так, Фредерик Теггарт и другие ученые, придерживающиеся катастрофической теории прогресса, считают, что большинство великих скачков в развитии цивилизации обусловлены прямо или косвенно миграцией народов и теми катастрофическими изменениями, которые ее сопровождали.

С этой точки зрения дело выглядит так, что каждое техническое устройство от тачки до аэроплана, давая новые, более эффективные средства передвижения, знаменовало или должно было знаменовать новую эпоху в истории. В пользу этого говорит то,

что большинство других важных изменений в цивилизации, вероятно, связано с изменениями в средствах транспорта и коммуникации. Говорят также, что каждая цивилизация несет в себе семена собственного разрушения. Видимо, такими семенами и являются те технические устройства, которые вводят новый социальный порядок и упраздняют старый.

*Экономический, или конкурентный, порядок.* Живые существа не только притягиваются и отталкиваются, подобно физическим объектам, но и конкурируют друг с другом. Экономические отношения, где бы они ни существовали, являются продуктом конкуренции; однако со временем конкуренция создает некоторого рода кооперацию, принимающую у людей форму обмена товарами и услугами. Экономический порядок – продукт торговли. Рынок и ареал, в пределах которого происходит обмен, размечают центры и границы экономического сообщества.

Технические устройства, безусловно, глубоко влияли на экономические отношения. Совершенствуя способы транспортировки, они все больше расширяли пределы мирового рынка и экономического общества. Они сделали возможными массовое производство и массовое распределение и напрямую ответственны за существование той капиталистической системы, которую мы знаем. Втягивая разные народы земли во всемирную сеть экономических отношений, технические средства заложили основу всемирного политического общества и в конечном счете того морального и культурного порядка, который должен охватить все человечество. В конце концов, цивилизация, в отличие от локальных и племенных культур, является продуктом коммерции и сопутствующего ей разделения труда, которое коммерция не только делает возможным, но и гарантирует.

Описывая некоторых наших примитивных современников, английский антрополог Эллиот Смит говорит:

«У них, разумеется, нет ни сельского хозяйства, ни домашних животных, за исключением, быть может, собаки. Они не строят постоянных жилищ, возводя в лучшем случае грубые хижины. Видимо, в прежние времена они ходили голые; некоторые ходят так до сих пор. Они несведущи в гончарном деле и металлообработке. У них нет общественных классов, а в кланах или других подобных социальных группах, как правило, отсутствует всякая организация. По сути дела, их нынешнее состояние можно с полным правом описать как практическое отсутствие социальных институтов. Многие из них до сих пор живут, как и прежде,

такими естественными семейными группами, какие обнаруживаются, например, у горилл и других человекообразных обезьян»<sup>1</sup>.

Достаточно сравнить материальное и интеллектуальное богатство современных цивилизованных народов с материальной и интеллектуальной нищетой примитивных народов, чтобы получить наглядное представление о вкладе, который внесли физические науки в общество, как мы его знаем, и в человеческое благосостояние, как мы его понимаем.

*Политический порядок.* Отвлечшись пока от того, что людей формируют тесные ассоциации, создаваемые семьей, и что большинством своих личностных, отличительно человеческих черт они обязаны этим ассоциациям, обратим внимание на значимость того факта, что мы сегодня живем в Великом обществе, параметры и особенности которого описал в одноименной книге Грэм Уоллес. Это значит, что мы живем в мире, в котором, сколь бы ограниченными и интимными ни были наши отношения с некоторыми индивидами, мы в то же время втянуты вместе со всеми другими живыми существами в то, что Дарвин называет «паутиной жизни». В таких условиях наши наиболее абстрактные и безличные связи с другими людьми будут скорее территориальными и симбиотическими, нежели социальными; иначе говоря, каждый индивид будет жить в более или менее неосознаваемой зависимости от всех других, по крайней мере в пределах общей среды обитания. Следующей, несколько более ограниченной областью человеческих отношений будет область, включающая индивидов, живущих в рамках одной и той же экономики, в которой есть некоторое признанное разделение труда и регулярный обмен благами и услугами, в большей или меньшей мере контролируемые обычаями и правом. Далее мы включены в еще более узкий, но вместе с тем и более тесный круг отношений, которые мы называем политическими. Политической можно назвать такую связь, которая конституирует общество, организованное не на семейном, а на территориальном базисе.

Политическое общество характеризуется тем, что в пределах его юрисдикции права и обязанности индивидов более или менее определены и при необходимости подкрепляются формальными законами, санкциями обычая или силой. Государство и политическая организация общества, несомненно, базируются на менее

---

<sup>1</sup> Elliot Smith G. Human history. — N.Y.: Norton, 1919. — P. 183.

широком и более конкретном и тесном круге отношений, чем ареал торговли и коммерческих связей, в котором они существуют. Столь же очевидно, что круг отношений между отдельными гражданами государства или жителями подчиненных ему территорий неизбежно более широк, но менее тесен, нежели отношения, обычно существующие в семье, племени или любой другой родовой группе.

Если взглянуть на структуру общества в целом, с точки зрения степени взаимозависимости и близости связей, в которых живут индивиды, то мы увидим, что человеческие отношения, видимо, примут форму (1) широкого конуса или, если спроецировать этот конус на плоскость, (2) треугольника, основанием которого, учитывая нынешнюю взаимозависимость всех частей мира, может быть весь человеческий вид. Вершину же треугольника займет индивид вместе с семьей, членом которой он является.

Итак, текущее народонаселение мира помещается в основание пирамиды, индивидуальная персона – в ее вершину, а общество и социальные отношения подразделяются на разные слои, каждый из которых изучается специальной наукой. Пирамида человеческих отношений (да будет мне позволено так ее назвать) будет служить одновременно и схематичным описанием характера влияний, формирующих индивидуальную личность. Согласно этой схеме, социализированную персону, находящуюся в вершине треугольника, можно рассматривать как высшее выражение биологического индивида после того, как он обусловлен общением с другими индивидами на иных уровнях ассоциации.

Можно считать, что он вступает в жизнь как биологический индивид, находящийся на низшем, или биотическом, уровне существования. По ходу развития карьеры, однако, его элементарные и инстинктивные побуждения преобразуются, переопределяются и сублимируются под влиянием контакта с другими индивидами. Таким образом, будучи первоначально просто биологическим индивидом, он в ходе своей карьеры приобретает характер и достигает статуса персоны, т.е. социализированного индивида.

Возвращаясь после этого отступления к политической организации общества, можно заметить – особенно ввиду того, что ей свойственно заключать в себе не физические, а личностные и моральные отношения, – что от техники она зависит сравнительно меньше, чем от абстрактных и формальных связей. В то же время, поскольку политика предполагает как один из методов решения споров войну, она зависит как от некоторой формы дисциплины,

превращающей индивида в простой инструмент для другого человека или группы людей, так и в меньшей степени от вооружения.

Тем не менее политическая власть, которую осуществляет государство или любой политический институт в пределах своей юрисдикции или выходя за эти пределы, опирается на лояльности, которые государство и его дело привносят в личные привязанности индивидов к родной земле, ее связям и традициям, а в конечном счете — на личные лояльности, которые создаются и поддерживаются этими ассоциациями.

Политическая власть, как и другие социальные силы, опирается на транспорт и коммуникацию, а также на дисциплину и общность интересов; однако в конечном счете в основе ее лежит нечто менее материальное и менее рациональное, а именно — социальная солидарность и моральный дух. Именно они позволяют большим совокупностям людей, организованным и неорганизованным, действуя коллективно и согласованно, поддерживать корпоративное существование нации или империи и ее институтов — институтов, которые по обыкновению закрепляются в привычках и в самой структуре человека.

*Культурный порядок.* Более тесной и менее формальной, по сравнению с политической, является система отношений, называемых культурными. Культура, воплощенная в обычаях, а не в артефактах, фактически была тем «цементом», который, согласно Беджготу, первоначально удерживал людей в рамках социального порядка, — порядка скорее обычного и традиционного, нежели инстинктивного и биологического. И эта же культура, воплощенная в привычке и обычае, конституировала то «иго обычая», которое человек под рационализирующим и секуляризующим влиянием науки столь успешно и окончательно с себя сбросил.

То, что мы называем обществом, есть, разумеется, нечто большее, чем просто популяционный агрегат, имеющий территориальную конфигурацию, и нечто большее, чем просто «географическое выражение» или даже ассоциация для обмена благами и услугами. Общество, в том смысле, в каком этот термин употребляется по отношению к людям, характеризуется тем, что накладывает на свободную игру экономических и эгоистических сил ограничения политического и морального порядка. Но обычай, конвенции и право, посредством которых общество осуществляет контроль над индивидом и над самим собой, оказываются в конечном счете продуктами коммуникации; коммуникация же, как тонко подмечает физик Бриджмен, есть «средство, с помощью которого человек



пытается, насколько возможно, предвосхитить вероятные будущие действия других людей и тем самым создать для себя возможность надлежащим образом к ним подготовиться»<sup>1</sup>.

Между тем коммуникация есть нечто большее, чем подразумевается в описании Бриджмена. Это социально-психологический процесс, благодаря которому индивид имеет возможность принимать, в каком-то смысле и в какой-то степени, установки и точку зрения другого; это процесс, благодаря которому у людей физиологический и инстинктивный порядок заменяется рациональным и моральным. Коммуникация «прядет паутину обычая и взаимного ожидания, связывающую воедино настолько разные социальные сущности, как семейная группа, профессиональная организация или участники торгов на деревенском рынке». С другой стороны, коммуникация, особенно принимая форму диалектической дискуссии, ведет к индивидуализации мышления и обнаружению различий в пределах общего понимания и универсума дискурса. Таким образом коммуникация стремится принять рациональную форму, в противоположность интуитивной, характерной для обыденного общения.

По всей видимости, коммуникация и конкуренция — это два фундаментальных процесса, или две формы взаимодействия, благодаря которым устанавливается и поддерживается социальный порядок среди индивидов, совокупная жизнь которых составляет жизнь общества. В целом коммуникация является интегрирующим и социализирующим процессом. Она создает лояльности и понимания, делающие возможным слаженное и согласованное коллективное действие. Именно с помощью коммуникации накапливается и передается тот великий фонд знания, который мы называем наукой. Науку по сути можно рассматривать как особый род знания, который может быть передан в коммуникации и который благодаря его передаче все более разрастается и становится более абстрактным и точным.

Я углубился в описание роли и функции коммуникации, поскольку она имеет явно основополагающее значение для социального процесса и поскольку расширение диапазона действия средств коммуникации и их совершенствование, обеспеченные физическими науками, жизненно важны для существования общества, особенно той более рационально организованной его формы, которую мы называем цивилизацией. Поскольку и так уже сказано

---

<sup>1</sup> *Bridgman P.W. The intelligent individual and society. — N.Y.: Macmillan, 1938.*

слишком много, то вряд ли нужно еще раз говорить о важности прессы, телефона, телеграфа, фонографа, радио и кино, а также о тех революционных изменениях, которые они вызвали в политической и культурной жизни; эти изменения мы все прекрасно видим. Прежде всего, указанные средства, все вместе и каждое в отдельности, сделали возможной невиданную ранее концентрацию политической власти. Этот факт предстает во всей своей значимости, когда мы видим, какие небывалые возможности открыли научные изобретения для мобилизации колоссальных неосязаемых социальных сил – чувств страха и преданности – и для сосредоточения их в руках отдельных лиц или узкого круга лиц, например диктаторов и их тайных советников.

Я попытался коротко показать, насколько глубоко проникли физика и применения физической науки в самые основания нынешней социальной жизни. Я попытался дать оценку материальных ресурсов, которые наука и техника поставили на службу современному миру. В конце концов напрашивается вопрос: не пробудила ли наука, вызволив могущественные энергии, заложенные в материальном мире, такие силы, которые она сама безнадежно неспособна контролировать? Именно это, насколько я понимаю, и имелось в виду в вопросе, который сформулировал сэр Уильям Брэгг в процитированном мною выше обращении.

Проблема, остающаяся нерешенной, состоит, стало быть, в том, как создать моральные силы, которые бы не просто сбалансировали силы, выпущенные наружу физической наукой, но и поставили их под контроль, сделав орудием обновления человека и его мира, а не их разрушения. Поставленная в таком виде, эта проблема, если вообще является проблемой науки, относится к ведению не физических наук, а социальных. Может показаться, что это выводит ее за пределы всякого научного исследования, ибо сомнительно, существует и будет ли вообще когда-нибудь существовать наука об обществе в том смысле, в каком этот термин используется в отношении наук о природе. Один из важных – а может быть, и самых важных – вкладов, внесенных физикой и физическими науками в общество, я пока еще не упоминал. Мы в долгу перед физическими науками за тот метод исследования, возможно, единственный, который можно назвать в прямом смысле слова научным, который, делая знание точным, делал его в то же время и систематическим. В систематической науке каждый новый вклад в знание служит проверкой всего сделанного раньше. В то же время сделанное раньше дает схему соотнесения для всего, что последует дальше.

В изучении физической природы науке больше, чем где бы то ни было, удалось свести вещи к их элементам и описать отношения между этими элементами в чисто механических терминах, сделав их за счет этого столь же очевидными и понятными, как и отношения между частями машины. Нет ничего более рационального и менее мистического, чем машина, и, может быть, именно поэтому в каждой области исследования, будь то психология, социология или политика, наука стремится найти механизмы и описать открываемые ею связи в механических терминах. Например, физиологи и психологи занимаются поиском ментальных и физических механизмов. Экспериментальное «обусловливание» организма, игравшее в последние годы чрезвычайно важную роль в исследованиях физиологов и психологов, — это процесс, с помощью которого некоторый унаследованный инстинкт или по крайней мере сформированная механическая привычка модифицируются, а на их место ставятся новый механизм и новая привычка. Сейчас, когда я пишу эти строки, мой взгляд упал на статью в недавнем номере журнала «Science», где автор, обсуждая физиологию старости — тему, которая все больше меня интересует, — пишет, что «для прояснения механизма старения» недостаточно того, что мы знаем в настоящее время, и нужны дальнейшие исследования<sup>1</sup>. Очень многое нужно узнать и для прояснения механизмов, действующих в социальных отношениях и в сверхорганизме.

Вообще говоря, неясно, какое определение должно быть дано термину «механизм» в социальных науках. Во всяком случае, он используется для описания связи между вещами, а не между идеями, причем такой связи, которую можно точно установить и которая обеспечивает ожидаемый ответ на соответствующий импульс. Так же, как мы говорим о ментальных механизмах, мы можем говорить и говорим, почти в том же смысле, о социальных механизмах. Всем нам известны ситуации, особенно в области личных отношений, когда экспрессия со стороны *A* словно автоматически вызывает соответствующую реакцию *B*. Так, грубость или высокомерное замечание со стороны *A* более или менее автоматически вызывают у *B* реакцию негодования и, возможно, стойкую неприязнь. Это ментальные и в то же время социальные механизмы, и если мы научимся распознавать их в процессе наблюдения и поймем сложности их функционирования, то сможем предсказывать с определенной долей уверенности, какой будет нормально ожидаемая

---

<sup>1</sup> Science. — Wash., 1940. — Vol. 91, N 2349. — P. 7–9.

реакция на тот или иной специфический жест, установку или экспрессию.

Социальные науки, разумеется, не избежали влияния методов и концепций физических наук, и это влияние как минимум помогло вывести социальные исследования из области чисто диалектической дискуссии, направив внимание на связи между вещами, а не идеями. Но когда такие авторы, как Уэсли Митчелл, говорят нам, что ввиду нынешнего состояния мира «самой насущной задачей является приращение нашего знания о человеческом поведении», добавляя к этому, что «проповедей праведности» и «призывов к разуму» недостаточно, возникает недоумение, какого же рода знание они имеют в виду. Это не может быть тот род систематического и научного знания о человеческой природе, который мы черпаем из открытий, сделанных в психологических лабораториях.

Знание человеческой природы, в котором мы больше всего нуждаемся, относится, на мой взгляд, к тому типу, который я, пользуясь выражением Уильяма Джеймса, назвал бы «знакомством с» (*acquaintance with*). Я имею в виду знание, которое «неизбежно приобретается в ходе непосредственных столкновений с окружающим миром». «Люди обладают необыкновенной способностью (с помощью какого бы механизма она ни действовала) чувствовать эти тенденции в других так же, как и в самих себе. Однако нужно много времени, чтобы как следует познакомиться с любым человеком, включая самого себя»<sup>1</sup>. Тем не менее именно в таком знании о людях мы и нуждаемся, чтобы их постичь, но не так, как того требует наука, а просто познавая природу человеческих отношений с помощью наблюдения и анализа, как это делают психиатры. Следовательно, нам нужны не просто большее число фактов, а инсайт, и не столько логика, сколько понимание.

Но в чем мы больше всего нуждаемся, наблюдая явные признаки краха старого порядка, так это в такой концепции общества и человеческих отношений, которая собрала бы в перспективе единой точки зрения все многообразие тенденций и сил, зримо и активно вызывающих изменения в существующем мировом порядке, которые мы наблюдаем. Поскольку Европа и западный мир, видимо, завершили цикл необратимого изменения или близки к его завершению, и поскольку мы явно движемся к концу эпохи, то

---

<sup>1</sup> *Park R.E. News as a form of knowledge: A chapter in the sociology of knowledge // American j. of sociology. — Chicago, 1940. — Vol. 45, N 5. — P. 671. (См. перевод в настоящем издании.)*

нам для решения задач социальной и социологической науки требуется новая ориентация и если уж не новая вера, то, во всяком случае, обновление старой.

Как я уже сказал, машины во многом изменили характер человеческих отношений, но большинству из нас кажется все же сомнительным, чтобы мы могли когда-либо изобрести физический или социальный механизм, который бы удовлетворительным образом решил конечную социальную проблему. Ибо в основе своей общество — биологический феномен, и институты не вводятся законом, а вырастают подобно деревьям. Общество не есть что-то такое, что можно разобрать и собрать заново. Это не артефакт. Оно, как и дерево, имеет, как сказал бы Аристотель, принцип своего существования, причем внутри себя, а не вовне, как у машины. К тому же природа человеческих отношений и общества такова, что мы должны мыслить общество как состоящее, разумеется, из индивидов, но индивидов, объединенных не просто рациональными целями, не только законами, конституцией и договорами, но и чувствами и лояльностями — чувствами, естественным образом встроенными в привычки индивидов и в структуру общества. Само существование обычаев, права и традиции, обеспечивающих прочность и солидарность социальной структуры, держится в конечном счете на том, что люди обладают воображением, позволяющим им проникать в сознания других и делать их мысли и чувства некоторым образом и в некоторой степени своими собственными. Существование общества, в котором люди могут вести разумную жизнь, зависит в конечном счете от корпуса традиций, чувств, верований и личных лояльностей, которые могут быть поняты и разделены другими, но не являются рациональными, по крайней мере в том смысле, в каком рациональна машина.

Элтон Мэйо из Гарвардской школы делового администрирования несколько лет назад опубликовал очень интересную книгу, основанную на наблюдениях и экспериментах, проводившихся в течение семи лет в цехах компании «Вестерн Электрик» в Хоторне, штат Иллинойс. Книга называлась *«Человеческие проблемы промышленной цивилизации»*<sup>1</sup>. Главная идея этой книги, хотя у автора она изложена не так скверно, как у меня, состояла в том, что проблема промышленности в США и по сути причина беспорядков, волнений и хаоса в промышленном обществе вообще кроется в

---

<sup>1</sup> Mayo E. The human problems of an industrial civilization. — N.Y.: Macmillan, 1933.

слишком «научном» управлении, слишком рациональном планировании, чрезмерной механизации, переизбытке регламентации и волевого контроля над естественным и свободным проявлением органической жизни индивида и общества. Быстрое развитие техники — здесь автор повторяет то, что до него уже говорили другие, — вызвало слишком быстрые изменения в условиях социальной жизни. Великий корпус обычаев, обычно направляющий жизнь в старых, меньших по размеру и прочно интегрированных формах общества, еще существующих во многих частях Европы и кое-где в Северной Америке, например в провинции Квебек, подвергся эрозии и вымыванию, подобно почве во многих районах нашей страны. У нас все более развивалось то состояние конституциональной дезинтеграции традиционного общества, которое Дюркгейм называет *аномией*.

Плачевное положение, в котором оказались в наше время США и весь мир, по-видимому, представляет собой проблему, которая, если смотреть в корень, имеет не экономический или политический, а культурный характер. Следовательно, это проблема социальной антропологии или, быть может, социальной психиатрии, если таковая существует. Установка естественных наук в отношении социальных институтов, как известно, противоположна установке социальной или культурной антропологии. Ученый-технар, видя, что социальные институты и социальные практики вопиюще грубы и неэффективны, а народные верования и религиозные практики нередко основаны на принятии желаемого за действительное, ошибочном толковании фактов и наследственной человеческой глупости, был склонен искоренять их как просто предрассудки и заменять традиционную культуру рациональными инновациями неудержимо развивающейся естественной науки. Антропологи же, зная, что социальные институты, даже самые грубые и несовершенные, выполняют в обществах, в которых они существуют, более или менее необходимую функцию, склонны беречь и охранять их, пусть даже в самой примитивной их форме, или по крайней мере сохранять до тех пор, пока не будут поняты их роль и значение в тех культурах, частью которых они являются.

Процедура работы антропологов с культурными институтами в двух важных аспектах отличается от методов более точных, так называемых «измеряющих» наук. Во-первых, физическая наука имеет дело с вещами, разделенными на сегменты. Антропология, в свою очередь, понимая общество как организм, а культуру как единство, пытается изучать отдельные функции как аспекты интег-

рированного целого. Аналогичным образом социологи, функцией которых, как иногда полагают, является реформирование общества, обнаружили, что реформа одного института обычно создает проблему в другом. Во-вторых, социальный антрополог, как я предположил, всегда стремится понять исследуемый народ и его культуру. Он признает, что личные чувства и религиозные верования, пусть даже и не вполне рациональные, являются все-таки необходимой частью жизни индивидов и общества, и даже предрассудки имеют определенную ценность.

Несколько лет назад в Китае я познакомился с молодым китайским социологом. Он учился в Америке, а закончив учебу, женился на американке и вместе с ней уехал на родину. Там у них родилась дочь. Научившись китайскому языку у своей няни, как это принято в Китае, она говорила на нем так хорошо, что обычно разговаривала по-китайски и с матерью. Мать, в свою очередь, заставляла ее говорить с ней по-английски, считая важным, чтобы она в совершенстве владела двумя языками, подобно большинству китайских студентов. Однажды мать-американка сказала дочери-китайке, обратившись к ней по ее китайскому имени (мы будем называть ее Анной): «Анна, у тебя есть кое-какие привычки, и они мне не нравятся. Я хотела бы их с тобой обсудить, и, может быть, после этого тебе больше не захочется так делать». Анна рассудила, что это справедливо, и с готовностью согласилась. Но у матери была еще одна мысль, и она добавила: «Но, может быть, и я что-то делаю, что тебе не нравится. Если это так, то я хочу, чтобы ты мне об этом сказала, и я постараюсь быть лучше». Это Анну вроде бы целиком устроило. Она терпеливо подождала, пока мать закончит говорить, а затем (насколько я помню, ей было около шести лет) сказала: «Да, мамочка. Кое-чего я от тебя хочу. Во-первых, чтобы ты больше говорила по-китайски и, во-вторых, мамочка, чтобы у тебя было побольше суеверий».

Итак, кое в чем Китай безусловно превосходит Соединенные Штаты, особенно Средний Запад: в числе и качестве суеверий. Думаю, Элтон Мэйо не находит в Америке именно суеверий, фольклора и местных традиций. Особенно явно их отсутствие в наших крупных городах и промышленных поселках. Похоже, именно они образуют почву, на которой произрастают культура и общие понимания, делающие социальную жизнь сносной. Они делают жизнь сносной даже в отсутствие технических средств и механизмов более развитой цивилизации. В свою очередь, там, где эти закрепленные обычаем простонародные вещи и сопутствуют-

щие ассоциации отсутствуют, словно исчезает все, что мешает человеку покинуть свой дом.

Во всяком случае, при рассмотрении функции суеверий и фольклора, как и при рассмотрении функции религиозных верований, важно помнить, что в жизни сообщества наука имеет, в конце концов, лишь второстепенное и инструментальное значение. Человек может прожить без науки и долго без нее жил, но не может прожить без хотя бы какой-нибудь философии жизни и религиозной веры. Без них наука фактически была бы бессмысленной.



## СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО\*

Много было написано об обществе до и после того, как Конт и Спенсер впервые описали его как организм. Гораздо меньше писали об обществах. Когда ученые хотели сказать об обществе во множественном числе, они употребляли выражение «социальная группа». Едва ли не для всей нынешней социологии, как, впрочем, и для других социальных наук, общество образуется из обществ, а обществами являются социальные группы.

Конта и Спенсера, стремившихся превратить социологию в науку, сегодня отнесли бы скорее к философам, чем к ученым. Во всяком случае, они в свойственной философам величественной манере писали не об обществах, а об обществе; а так как общество они видели в широкой исторической перспективе, то оно, пожалуй, больше интересовало их как идея, нежели как вещь.

Позже ученые, переключив внимание на анализ и описание общества в его наличных конкретных формах, открыли в колоссальном многообразии меньших по размеру социальных единиц по сути те же самые социальные процессы, производящие по сути те же самые социальные структуры, что и наблюдаемые философами истории. Это побудило их предпринять несколько рискованный эксперимент по, так сказать, изъятию обществ из их локальных и исторических окружений с целью увидеть их *sub specie aeternitatis*, т.е. как индивидуальные случаи какого-то класса или типа. О таких классах и типах могут выдвигаться некоторые общие утверждения.

---

\* *Park R.E. Modern society // Park R.E. Society, collective behavior, news and opinion, sociology and modern society. – Glencoe (IL): Free press, 1955. – P. 322–341. Статья была впервые опубликована в: Biological symposia. – Lancaster (PA): J. Cattell press, 1942. – P. 217–240. Перевод публиковался в журнале: Личность. Культура. Общество. – М., 2001. – Т. 3, вып. 4. – С. 144–164. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.*

Видимо, таков, по крайней мере отчасти, метод естественных наук, в отличие от наук исторических. Во всяком случае, история не задает вопросов о том, что вещи собой представляют. Таксономических задач она не решает, поскольку обычно даже не стремится выдвигать общие утверждения. Она просто использует их для пояснения своих утверждений об исторических фактах. Когда историки пытаются высказать общие, а не частные суждения, история перестает быть историей и, возможно, становится социологией.

Между тем вещи, классифицируемые наукой, меняются. Скопления людей при определенных обстоятельствах становятся толпами; религиозные движения возрождения создают религиозные секты; социальные движения преобразуются в социальные институты. Именно этими изменениями и процессами, вызывающими их, интересуются в конечном счете социология и социальные науки, поскольку они принимают характер естественных наук. В этих обстоятельствах вошел в широкий оборот более абстрактный термин для описания разных социологических видов: «социальная группа». Сегодня этот термин обычно применяется для обозначения любой формы общества, от семьи до собрания жителей района. В лексиконе социальных наук слово «общество» все еще используется в том смысле, в котором его употребляли Спенсер и Конт, но теперь лишь для описания всемирной сети социальных отношений, в пределах которой в нашем современном мире все народы и все институты очевидным образом взаимно связаны и продолжают связываться все теснее. Именно в этом смысле Грэм Уоллесом употребляется термин «Великое Общество». Великое Общество – это современное общество.

Джордж Мид, глубже, чем кто-либо из тех, кого мне довелось знать, проанализировавший связи, которые мы называем социальными, называл социологию наукой об институтах. Однако мне кажется, что социальные институты являются предметом специальных социальных наук – экономики, политики и, возможно, сравнительного религиоведения. Каждая дисциплина занимается каким-то типом институтов, причем типом, характерным для одного из нескольких уровней, на которых происходит социальная интеграция.

Так, мы привыкли говорить об экономическом обществе, политическом обществе и если не о религиозном обществе, то по крайней мере о религиозных обществах. Мы говорим о них так, словно каждое из них не представляет собой всего лишь один из аспектов – или одну из систем человеческих отношений – того

более включительного социального агрегата, который описывается Контом и Спенсером как социальный организм.

Эта сегментация общества, с соответствующей ей специализацией социальных наук, логична и возможна, поскольку на каждом из уровней – экономическом, политическом и культурном – возникли особые функции, отвечающие потребностям неуклонно расширяющегося общества. То, что эти структуры и процессы в современном обществе функционируют относительно независимо друг от друга, факт настолько известный, что мы даже не всегда представляли его значимость. В настоящий момент, когда старый социальный порядок, похоже, рушится и уплывает в прошлое, как лед весной вниз по реке, мы яснее, чем когда-либо раньше, видим, что эти разные уровни социальной интеграции лишь относительно независимы друг от друга и что мы никогда не сможем постичь целиком ни экономический, ни политический, ни моральный и религиозный аспекты общества, если не будем рассматривать их, по примеру антропологов, как неотъемлемые части единого организма.

Рассматриваемые в своей целостности как социальные единицы, а не как совокупности социальных институтов, общества подразделялись и могут для удобства подразделяться на два типа по простому основанию – наличию или отсутствию письменности. Есть письменные народы и дописьменные народы. Почти все наше знание о современных обществах является знанием о письменных народах. Мы не мыслим примитивные общества как современные. Современное в том смысле, в каком мы обычно употребляем это слово, – не временная категория. Знание о современных обществах, которым мы сегодня располагаем, почти целиком заключено в открытиях специальных социальных наук. Если отвлечься от того, что внесено в наше познание специальными науками, оставшееся, мягко говоря, не впечатляет.

С другой стороны, ни в этих специальных науках, ни в исследованиях конкретных институциональных форм, характеризующих общество на разных уровнях его интеграции, мы скорее всего не выявим тех особых черт, которые отличают его от иных, более ранних и простых форм ассоциации. Что для современного общества, как, впрочем, и для любого другого, действительно уникально, так это, видимо, та связь, в которой находятся эти разные уровни интеграции – экономический, политический и моральный – друг с другом и с тем общественным целым, частями которого они являются.

И если тогда окажется, что речь в этой статье идет прежде всего о том, что Грэм Уоллес и другие называли «Великим Общест-

вом», то это потому, что данный термин, видимо, охватывает всю область социального, в той мере, в какой способы совместной жизни людей приобрели институциональные формы, специфически характерные для современной жизни.

Но область социального в том смысле, в каком ее понимают некоторые ученые, включает не только привычки человека, но и его среду обитания. Во всяком случае, область социального, в обычном ее понимании, существует в рамках — и зависит от — экономики, не являющейся социальной в том смысле, в каком этот термин применяется только к человеческим существам. Это экономика, в которой участвуют все живые существа там и постольку, где и постольку они связаны тем, что было названо «паутиной жизни»<sup>1</sup>.

От примитивных и дописьменных обществ, какие все еще существуют на внешних окраинах нашей растущей мировой экономики, современное общество отличается столь очевидно, что мы почти теряем из виду тот факт, что с точки зрения того, что есть в человеческом обществе и в человеческой жизни фундаментального, они по существу схожи. Вместе с тем есть менее очевидные отличия современного общества от более ранних и менее утонченных. Каковы отличительные черты современного общества? Их много; я назову лишь некоторые.

(1) Размер. В рамках существующей мировой экономики, которую насаждают всему остальному миру европейская торговля и промышленность, вырастает совокупность обычаев, практик и артефактов — короче говоря, цивилизация, — в радиусе влияния которой живут ныне все народы Земли. Эта цивилизация, новая и обнимающая собою весь мир, наследует культурные традиции более древних и простых народов. Нет, вероятно, ни одного расового меньшинства и ни одной локальной культуры, которые бы не

---

<sup>1</sup> «В каждой среде обитания мы находим наличие некоторого рода сообщества, или общества организмов, не только охотящихся друг на друга, но и зависящих друг от друга, а также поддержание некоторого равновесия между разными видами, пусть даже часто и резко нарушаемого, которое позволяет этому сообществу *сохраняться*... Этот предмет, заключающий в себе жизненные равновесия и взаимобмены, получил особое название — Экология. Слово “Экология” было введено в оборот знаменитым немецким биологом Геккелем в 1878 г.; оно происходит от греческого корня *ойкос*, “дом”, от которого произошло также и более старое слово “экономика”. Последний термин используется только применительно к человеческим делам; в сущности, экология есть распространение экономики на весь мир жизни» (*Wells H.G., Huxley J.S., Wells G.P. The science of life.* — N.Y.: Amalgamated press, 1931. — Vol. 3. — P. 961).

внесли свою лепту в культурные ресурсы этого космополитического общества.

В этой цивилизации, как и в любой другой, содержатся два типа культурных элементов: (1) индигенные элементы, представляющие собой открытия и изобретения обладающих ими народов, и (2) экзотические элементы, привнесенные в них процессами культурной диффузии. Эти два типа элементов образуют «ткань культуры народа, или его цивилизации». Роланд Б. Диксон говорит на этот счет: «Основа этой ткани берется изнутри; экзотические элементы, или уток, — извне. Основа статична, поскольку привязана в какой-то мере к среде. Уток динамичен, подвижен, дрейфует по линиям диффузии»<sup>1</sup>.

Основу новой цивилизации представляют элементы, протекающие из попыток народов жить в городах, особенно в больших городах, выросших в последние годы вдоль морских магистралей мира. Эта основа, европейская по происхождению, — продукт машинной эпохи.

Уток, в свою очередь, образуют элементы, привнесенные народами и культурами внеевропейского мира. Эти экзотические черты, по крайней мере во многих случаях, до такой степени трансформированы, перекрыты и размыты позднейшими добавлениями и процессами аккультурации, что только профессионалы, владеющие методами культурного анализа, имеют шанс распознать их в существующей ткани культуры.

К числу прочих вещей, характеризующих эту новую и все еще растущую цивилизацию, относится то, что ее границы уже совпали с географическими границами человеческой среды обитания. С тех пор, как Стэнли в 1877 г. открыл истоки Нила, в мире не осталось почти ничего, что еще можно было бы открыть. Арктические регионы не в счет. Они не попадают в пределы того, что греки называли *ойкономией*. Значение этого факта состоит не просто в том, что современное общество достигло территориальной протяженности, которой еще не достигало ни одно предшествующее, но в том, что достигнутая им протяженность совпала с географическими пределами обитаемого мира. Любая дальнейшая экспансия Великого Общества, стало быть, будет происходить в направлении большей сложности, а не территориального расширения.

Этот физический факт устанавливает пределы для очень многих вещей. В первую очередь, он ставит предел капиталисти-

---

<sup>1</sup> Dixon R.B. The building of cultures. — N.Y.; L.: Scribner, 1928. — P. 271.

ческой системе, возникшей с экспансией европейской торговли и выросшей в рамках и на основе неуклонно расширявшегося рынка. С тех пор как Европа стала экспортировать капитал в экономически и политически зависимые от нее страны, европейский рынок не расширяется, а, наоборот, сужается. Кроме того, свободная конкуренция в силу, видимо, необратимой тенденции всюду создала монополии: либо в форме международных торговых соглашений, либо в форме государственных тарифов.

Современная цивилизация уже в силу одного только размера созданной ею социальной единицы решительно изменила функционирование не только экономических, но и всех других типов социальных институтов.

Одно из следствий размера Великого Общества следующее: по мере того как паутина человеческих отношений росла в своей протяженности, возрастала мобильность, и, как результат этого, межличностные отношения становились все более случайными, беспорядочными и «демократичными». Диффузия европейской культуры повсеместно сопровождалась все большим ослаблением семейных и племенных связей, которые в прошлом так или иначе скрепляли общество и без всякой полиции или судов поддерживали в нем некоторый род дисциплины.

Диффузия европейской культуры всюду влекла за собой разрушение местных и традиционных религиозных верований и замену религиозного социального порядка светским.

Небольшие религиозные секты, самопроизвольно и в немыслимых количествах возникавшие на фронтах европейской цивилизации в Соединенных Штатах, да и везде, в каком-то смысле и до известной степени выполняли в современном мире функцию, выполнявшуюся в более простых обществах кланом и племенем. В большинстве случаев они представляют собой жалкие попытки потерянных душ обновить свою религиозную веру. Там, где такие попытки терпели неудачу, это, видимо, было обусловлено тем, что подобные секты пополнялись в основном неофитами из разнородных в расовом и культурном отношении групп. Они не базируются или пока не базируются, в отличие от иудеев и других племенных религий, на родовом единстве. Они, как мормоны, адвентисты седьмого дня или приверженцы Христианской Науки, комплектуются по существу из людей одного класса, а не одной расы. В итоге объединяющие их связи являются не расовыми или родственными, а идеологическими.

Так и должно быть, если учесть, что эти секты находятся пока на стадии пропаганды. В противоположность им, родовые общества, как и касты, обычно бывают закрытыми и поддерживаются только естественным ростом.

«Масштабная социальная организация, — отмечает Грэм Уоллес, — вещь не такая уж и новая... По мере того как древние империи укрупнялись, они становились слишком далекими и нереальными, чтобы пробуждать чувства преданности или гордости в своих подданных. Методы их агентов становились механичнее и бесчеловечнее, а страсти, группировавшиеся вокруг меньших единиц — локальных, расовых или религиозных, — порождали все возрастающую напряженность... “Денежная связь” [добавляет он] не больше, чем “связь через право голосования”, гарантировала то общее членство в Великом Обществе, которое означало бы общую солидарность»<sup>1</sup>.

(2) Сложность. Современное общество явно сложнее, чем общество в любой предшествующий период истории. Сложности умножаются с каждым территориальным расширением мировой экономики и с каждым приращением населения мирового сообщества. Территориальной единицей локальной экономики может быть примитивная деревня, город или метрополис. В каждом случае она будет включать территорию, поставляющую товары на центральный рынок и зависящую от него. Этот рынок служит в то же время посредником для обмена благами, услугами и новостями. Вне зависимости от того, сколь мала или велика территориальная единица, экономический, а со временем и каждый другой аспект жизни в локальном сообществе будет реагировать на события и новости, приходящие из каждого другого.

Когда мы говорим, что одна часть мира реагирует на новости из другой, это означает, что каждая часть мира реагирует не на то, что просто происходит в каждой другой, а на то, что ее в ней интересует. Такова природа механизма, скрепляющего и координирующего разные деятельности Великого Общества. Общество в том смысле, в каком этот термин относится к людям и некоторым высшим животным, существует, по выражению Дьюи, «в коммуникации и через коммуникацию».

Сложность современного общества отражает необычайное разнообразие и взаимозависимость, присущие современной промышленности. Организация, скрепляющая его рассеянные в пространстве

---

<sup>1</sup> Wallas G. The Great Society. — N.Y.: Macmillan, 1914. — P. 10.

единицы, базируется на всемирном разделении труда, которое появилось с современной коммерцией и тесно с ней связано. Особенно оно связано с хитросплетениями и тайнами международного банковского и финансового дела. Рождение мировой экономики привело между тем к такому состоянию взаимозависимости всех частей мирового сообщества, что (если взять сравнительно свежий пример) цена сырого каучука на лондонском рынке стала оказывать глубокое влияние на жизнь туземцев Центральной Африки и верховьев Амазонки<sup>1</sup>. По той же причине забастовка портовых рабочих в Шанхае, Бомбее или Сан-Франциско может негативно сказаться на основных мировых путях сообщения, на которых расположены эти города.

Самым интересным и значимым выражением этой интернациональной взаимозависимости народов в Великом Обществе является то, которое вытекает из специализации и разделения труда между учеными в разных частях цивилизованного мира. Цивилизованный мир, видимо, стремится отождествиться с миром грамотным, но в конечном счете не со всем, а только с той его частью, которая способна к усвоению систематического знания. Во всяком случае, действительную значимость этому широкому и более или менее неосознанному сотрудничеству ученых придает то, что оно основано на взаимном понимании и солидарности, делающих возможными коммуникацию и сотрудничество невзирая на расовые, религиозные и политические различия. И это, в свою очередь, делает ученых участниками общего дела, направленного на создание и сохранение фонда знания, составляющего общее наследие всех наций и всех народов.

Эта растущая сложность современного общества, обусловленная все большей взаимозависимостью народов, как и ожидалось, породила массу проблем в национальной и международной политике. Она сделала необходимыми более полное сочленение и *Gleichschaltung*\* (если употребить термин нацистов) национальных институтов и международных отношений.

Она повысила значимость часов и расписания — столь необходимых для поддержания эффективной социальной организации в иных аспектах жизни — для расширения и поддержания все более

---

<sup>1</sup> См.: *Rubber* // *Encyclopedia of social sciences*. — N.Y.: Macmillan, 1934. — Vol. 13. — P. 460.

\* Насильственное подчинение господствующей идеологии (нем.).



широкого согласия, необходимого для все более масштабного корпоративного действия.

Наконец, она привела к трансформации экономических деятельности в своего рода политическое действие, отчего то, что в прежние времена сочли бы торговым кризисом, стало в последнее время приобретать характер политической революции. В этих условиях международные войны приобрели характер международных революций.

Если взять практический пример, то все это, видимо, должно было сделать более настоятельной, чем когда-либо прежде, потребность в таком международном секретариате, какой был создан Лигой Наций. Такая нужда назрела, ибо только мгновенный доступ к реальной и безличной информации о международных делах дает надежду на уход от необходимости решать международные споры, когда они возникнут, такими жесткими средствами, как международные войны.

Я мог бы добавить, что со стабилизацией международных отношений международные новости, по всей вероятности, будут все больше вытеснять в международных делах пропаганду. Более того, мне кажется, что в условиях, навязываемых современной жизнью, они должны это сделать, поскольку в случаях международного недопонимания пропаганда ныне является всего лишь смягченной формой войны. С другой стороны, знание, служащее прояснению фундаментальной общности интересов разных народов и партий, будет давать по крайней мере один надежный способ, с помощью которого любая партия или нация сможет отстаивать свои индивидуальные интересы.

Во всяком случае, сегодня ясно как никогда, что единственный способ выжить для индивида – найти себе работу, а для нации или общества – найти место, в котором они смогут функционировать внутри более включительного социального порядка, неотъемлемой частью которого они являются<sup>1</sup>.

(3) Скорость. Общества можно сравнивать и сравнивали с точки зрения их относительной мобильности, т.е. суммарного

---

<sup>1</sup> Именно существование в таких центрах мировой торговли и политики, как Нью-Йорк, Лондон и Берлин, а также (возможно, в меньшей степени) в крупных городах, стоящих на основных мировых путях сообщения, все большего фонда информации, к которому эксперты, редакторы газет и широкая публика могут получить мгновенный доступ для истолкования и оценки мировых новостей, будет делать для мира все более возможным эффективное разрешение каждого нового мирового кризиса, как только он возникнет.

объема движения и миграции, характеризующего их или образующие их единицы. Исходя из приблизительно такой точки зрения, расы и народы разбили на классы кочевых и оседлых, и это различие имеет историческую и социологическую значимость.

Судя по всему, цивилизация возникла с появлением оседлых народов. В то же время, как замечает Карл Бюхер, «каждый новый прогресс в культуре начинается, так сказать, с нового периода миграции». Исторически государство, видимо, имеет свои истоки в покорении и долговременном подчинении оседлых народов кочевыми<sup>1</sup>.

Мобильность всегда считали показателем, если не причиной социального изменения. Более того, поскольку формы изменения могут быть сведены к модификациям в отношениях, пространственных или иных, между отдельными лицами или другими социальными единицами, из которых образуется общество, то эта гипотеза кажется вполне оправданной. Пока исследователи пытались отыскать статистическую единицу для измерения мобильности, последняя в разное время отождествлялась с миграцией, с изменениями места проживания или занятия и с изменениями статуса в социальной иерархии.

Значимость этим фактам придает то, что миграция и мобильность включают в себе прерывание существующей социальной рутины или разрыв с традицией и обычаем, а потому, возможно, входят в число важнейших причин социальных изменений. Я мог бы также добавить, что мобильность, видимо, связана с общественным беспокойством, которое представляется субъективным аспектом социального изменения.

Эта тесная связь мобильности и социального изменения в личностном и социальном аспектах — явление столь устойчивое и глубоко-

---

<sup>1</sup> *Oppenheimer F. The State: Its history and development viewed sociologically.* — Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1914. — P. 54. [Зная взгляд Р.Х. Лоуи на государство (*Lowie R.H. The origin of the State.* — N.Y.: Harcourt Brace, 1927) как на нечто, присутствующее в элементарной форме даже в простых и организованных на семейной основе обществах — в виде всегда наличного территориального элемента и внутривосприимчивых политических институций, — Парк стремится здесь подчеркнуть глубочайший разрыв в истории развития общества, происходивший в случае, когда одна этническая группа приобретала суверенитет над другой. — *Примечание американского редактора издания Р.Э. Парка.*]

кое, что кое-кто стал считать миграцию и сопутствующее ей прерывание социальной рутины источником и причиной прогресса<sup>1</sup>.

Продвижение фронта на запад в Соединенных Штатах показывает, как слабеют или рвутся под влиянием миграции семейные и общинные узы. В ходе этого исторического движения различные элементы, образующие американское население, были успешно атомизированы, перемешаны и демократизированы. Примерно это же происходит сегодня в американских городах, особенно в северных штатах, с недавними иммигрантами.

Миграция не тождественна мобильности, хотя, как в случае номадизма и сезонной миграции, тяготеет к этому тождеству. Там, где миграция завершается укоренением, она есть вековое и необратимое движение, которое нарушает существующее равновесие, но инициирует новое. Там, где миграция сезонная, она принимает форму циклического движения и имеет или стремится приобрести характер процесса приспособления, — процесса, который не нарушает существующее равновесие, а, наоборот, его поддерживает.

Этот переход от векового к сезонному типу миграции, т.е. от миграции, которая может быть описана как социальное движение, к миграции, имеющей характер социального процесса, отчетливо виден в изменениях, происшедших за последние 50 лет в характере миграции в США. Но эти изменения происходили не только в США, но и во всем мире в период, предшествовавший началу Первой мировой войны. Пожалуй, наиболее примечательным примером последнего типа миграции служит сезонная миграция итальянских рабочих в Аргентину. В этом случае волна мигрантов движется из Италии осенью и возвращается в Италию весной, несомненно, оставляя после себя каждый сезон осадок постоянной миграции. Благодаря этому рабочие-мигранты получают возможность круглый год наслаждаться летом.

По мере того как с совершенствованием средств транспорта неуклонно уменьшались трудности, связанные с путешествием, этот цикл иммиграции и эмиграции настойчиво вытеснял миграцию и колонизацию прежних дней. Так, в Америке позднейшая миграция из Европы приобрела характер волны, которая уже не катится в одном направлении, из Старого Света в Новый, а дви-

---

<sup>1</sup> См.: *Bagehot W. Physics and politics.* — N.Y.: Appleton & co., 1904; а также гл. 15 «Метод Юма и Тюпро» в: *Teggart F.J. Theory of history.* — New Haven (CT): Yale univ. press, 1925.

жется то в одну, то в другую сторону с сезонной периодичностью либо просто в ответ на изменения в экономической конъюнктуре.

В наше время миграция — за исключением миграции беженцев — почти прекратилась во всех районах мира. В свою очередь, мобильность мирового населения, похоже, велика как никогда. Каждое усовершенствование в сфере коммуникации и транспорта, упрощавшее и удешевлявшее не просто миграцию, но само перемещение, как правило, повышало суммарный объем мобильности в мире и делало возможным пересечение более широких пространств за меньшие промежутки времени. Иначе говоря, оно повышало скорость — скорость движения и скорость социального изменения.

Скорость, которая есть не просто скорость, с которой движутся люди, а скорость, с которой в результате этого движения совершаются социальные изменения, росла в последние годы все более ускоряющимися темпами. Сегодня, несмотря на прекращение миграции, она явно выше, чем когда-либо в истории. Любопытно, что в то самое время, когда продолжительность человеческой жизни ощутимо возросла, скорость, с которой протекает жизнь, настолько увеличилась, что нас больше, чем когда-либо прежде, впечатляет тот факт, что время не ждет и что, по словам Макса Лернера, «за ним не угнаться». Время бежит быстро, когда многое происходит; а в сегодняшнем мире много всего происходит.

Одним из факторов ускорения темпа современного общества является почти полная замена примитивной формы натурального обмена денежной экономикой. В частности, ничто так не способствовало мобилизации и секуляризации существующего общества, как все большее использование денег в качестве меры ценности и средства обмена. Оно вызвало их, поставив во всех жизненных отношениях на место личной и моральной связи безличную и рациональную связь между членами Великого Общества.

Именно это имеет в виду Брукс Адамс, когда пишет: «Даже в медленно меняющихся цивилизациях сложившийся тип ума не может адаптироваться к изменениям в среде так быстро, как изменяется сама среда. А потому наступает момент, когда умы какого-то данного общего типа перестают удовлетворять требованиям, которые к ним предъявляются, и на смену им приходит какой-то более молодой тип, который, в свою очередь, отстает в сторону еще более молодым, пока не будет наконец достигнут предел административного гения этой конкретной расы. Тогда начинается дезинтеграция, социальная инерция постепенно ослабевает, и об-

щество отбрасывается на уровень, на котором оно способно гармонизироваться. Для нас, однако, наиболее гнетущим аспектом этой ситуации представляется то, что общественная акселерация прогрессирует пропорционально активности научного ума – производящего механические открытия, – и, следовательно, именно торжествующая наука производит те все быстрее происходящие изменения в среде, к которым люди на свой страх и риск должны приспособиться»<sup>1</sup>.

(4) Механизация. Жизнь первобытного человека, как воссоздали ее для нас в последнее время в своих наблюдениях и размышлениях антропологи, проявляющие особый интерес к этой теме, предстает некой идиллией, когда *homo sapiens*, подобно высшим обезьянам, жил в состоянии невинности, т.е. без институтов, орудий труда и традиций<sup>2</sup>.

Такого золотого века человечества, наверно, никогда не было, и скорее всего простейшая жизнь первобытного человека была не счастливее нашей. Тем не менее нам кажется, что с древнейших времен и до сих пор каждый важный шаг в развитии цивилизации если не вызывался, то хотя бы сопровождался изобретением какого-то нового орудия или какой-нибудь новой техники, призванных удовлетворять потребности все более сложного – пусть даже и не более желанного – человеческого существования.

А стало быть, не случайно современный мир, где технология достигла беспрецедентного прогресса, стали характеризовать как «машинную эпоху», или эпоху гаджетов. Машинерия проникла, по сути дела, в самую структуру общества, и человеческая природа, какой мы ее знаем, вероятно, не смогла бы существовать без механических средств, которые дала технология, и без привычек и дисциплины, которые навязала механика. Этот факт, пусть с первого взгляда и неочевидный, обсуждали столь часто и многословно, что нет нужды здесь на нем останавливаться.

Не столь очевидны некоторые более далекие и глубокие последствия машинной техники для человеческих отношений и конфигурации культуры в современном мире. Так, одним из признаков, отличающих ментальность современного человека от ментальности примитивного, является степень, в которой он оказался готов в сфере обыденных жизненных задач заменить традиционные маги-

---

<sup>1</sup> Adams B. The theory of social revolutions. – N.Y.: Macmillan, 1913. – P. 204–205.

<sup>2</sup> Elliot Smith G. Human history. – N.Y.: Norton & co., 1929. – P. 183.

ческие методы новыми, более рациональными, т.е. степень, в какой он сумел заменить инстинкт, привычку и обычай разумом, рефлексией и техникой. Разум – единственная прирожденная черта, которая, по общему согласию, отличает человеческий род от низших животных. Но разум созревает медленно; у младенцев, по всей видимости, его нет, и, будучи функцией индивидуальной и социальной жизни, он по большей части зависит от вербальной коммуникации и является ее побочным продуктом<sup>1</sup>.

Разум, во всяком случае у цивилизованного человека, достиг весьма высокой степени совершенства благодаря дискуссии и диалектике. Кроме того, глубокое влияние на него оказала технология.

Как я уже говорил, нет ничего рациональнее и понятнее машины<sup>2</sup>. Стоит лишь понять, как ее разобрать и собрать, и в ней не останется никакой тайны. Вот перед вами вещь, полностью, так сказать, разоблаченная; нет ничего неясного в ее прошлом и ничего проблематичного в ее будущем, что могло бы подвигнуть на размышления или подтолкнуть к мистицизму, ведь ее поведение полностью предсказуемо.

Это на самом деле и имеют в виду, когда говорят, что вещь становится понятной, а поскольку задача науки, видимо, в том и состоит, чтобы сделать вещи понятными, то она выполняет эту функцию, трактуя вещи как машины, т.е. как нечто такое, что может быть разобрано и собрано снова. Там, где, как в случае живых организмов, науке удалось разложить вещи на части, но не вполне удалось их воссоединить, живые существа и сама жизнь остаются с точки зрения науки в большей или меньшей степени тайной.

Технология расцвела главным образом в городах, где она полностью преобразовала человеческую среду обитания. При этом она глубочайшим образом повлияла на структуру таких более древних и традиционных форм общества, как семья и деревенская община. Механизация и рационализация сельского хозяйства привели, в частности, к депопуляции в сельских районах; превратив фермерское хозяйство в фабрику, а крестьянина в наемного рабочего и пролетария, они настолько ускорили темп сельской жизни, что это вовлекло общество в целом в такое состояние неустойчивого равновесия, при котором может произойти все что угодно, – как

---

<sup>1</sup> *Mead G.H.* Mind, self, and society, from the standpoint of a social behaviorist / Ed. and with an introduction by C.W. Morris. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1934. – P. 334–335.

<sup>2</sup> *Парк Р.Э.* Физика и общество (см. перевод в настоящем издании).

самое лучшее, так и самое худшее. Дабы придать этой идее больше конкретности, сошлюсь на рассказ Джона Стейнбека об исполщике в его романе «Гроздь гнева». Рассказ идет, несомненно, от лица сердитого человека; но в любом случае это жизненно достоверное заявление, принимающее в расчет стороны жизни, не находящие адекватного отражения в официальной статистике.

В городе, в отличие от сельской местности, человек обычно рождается в больнице, проводит почти всю жизнь в гостинице, бараке или многоквартирном доме и умирает в каком-нибудь учреждении, возможно доме для престарелых. Даже если в этой картине действительной ситуации есть преувеличение, она по крайней мере дает понять, насколько жизнь в современном обществе институционализировалась, а дом превратился в место проживания людей, чьи связи являются больше случайными, чем интимными, поскольку у них очень разные интересы.

Технология, разумеется, не тождественна науке; но только став прикладной, наука достигает своей цели сделать объект своих исследований в полной мере понятным. А стало быть, каждый новый шаг в науке предполагает в конечном счете открытие нового механизма или новой техники выполнения старых задач. Успешное применение науки — конечный критерий надежности ее открытий.

Наука, какой мы ее привыкли знать, явлена нам в образе физики. Каждый новый шаг в научном познании, даже в области биологии, психологии или социальных наук, предполагает открытие какого-нибудь нового «механизма» — психологического, биологического, физиологического, политического, — и оно тут же становится основой для какой-нибудь новой техники решения проблем социальной и личной жизни. Каждая привычка и каждый обычай — механизмы, и стоит только науке выяснить, при каких условиях формируются или могут быть изменены привычки, как это открытие тут же превращается в основу для новой техники в сфере образования или политики.

Сегодня социологи и психологи энергично анализируют и освещают в своих выступлениях новые методы пропаганды, рекламы и паблисити, с помощью которых могут быть достигнуты или уже достигаются новые, удивительные результаты. Большинство из нас изумились, а некоторые ужаснулись тому, чего достигли герр Гитлер и его сподвижники, возродив в сжатые сроки немецкую армию и превратив дезорганизованную Германскую империю в самую мощную военно-политическую машину из всех когда-либо известных в мире.

Эти результаты достигнуты отчасти благодаря новым применениям физической науки, но в не меньшей степени – за счет новых методов пропаганды, т.е. новых техник возбуждения, активизации и подчинения контролю не просто войск, а стоящих за ними неорганизованных и более или менее беспомощных масс. Одновременно Германия достигла такого же успеха в так называемой психологической войне, подрывая моральный дух наций, с которыми она вступала в конфликт. Эта новая психологическая война возродила в кругу политических ученых – и не только их – интерес к реалистической политике Макиавелли, видимо, первого среди философов, кто предположил, что политическое действие будет более успешным, если в его основу положить социальные механизмы, а не моральные принципы.

Наука и техника кардинально изменили наши методы взаимодействия с людьми и в других социальных связях. В политике, образовании и бизнесе они привели к замене методов понимания методами манипулирования. Всюду в Великом Обществе прежние близкие и личные отношения между людьми более или менее целиком вытеснились безличными и формальными. В результате в современном мире, в противоположность более ранним и простым обществам, чуть ли не каждый аспект жизни механизмуется и рационализуется. Прежде всего это касается наших современных городов, которые в силу всего этого населены сегодня по большей части одинокими мужчинами и женщинами.

(5) Свобода. Видимо, общей предпосылкой современного мира было и остается то, что цивилизованный человек всегда и везде вовлечен в борьбу за обретение потерянной свободы. Французская революция и современный мир были возведены парадоксом Руссо: «Человек рождается свободным, но всюду закован в цепи», – а обращение Маркса к пролетариям всего мира, в котором он поведал, что обрести они могут все и что терять им «нечего, кроме собственных цепей», стало лозунгом наиболее фундаментального и губительного социального движения современной эпохи, а именно – борьбы труда за свержение капитала как главенствующей силы в промышленности и политике.

Тем не менее дело, видимо, обстоит так, что при том состоянии жизни, которое казалось нормой в прошлом, большинство людей столь мало желали быть свободными, что иногда, похоже, искренне радовались своим цепям. Они могли желать лучшей доли, но желания быть эмансипированными или просвещенными у них не было. Такой бережливый, склонный к порядку и безобидный на-



род, как христиане России, или жители того, что Х.Л. Менкен уничижительно называет «библейским поясом»\*, прежде всего члены маленьких пиетистских сект, таких как меннониты, моравские братья и другие, еще менее мирские, чем они, явно хотели одного: чтобы их оставили в покое и дали тихо прозябать в атмосфере мистической набожности, не нарушаемой войнами и доктринальными веяниями, столь часто сотрясавшими жизнь более искушенных народов.

Крестьяне и примитивные народы славятся своим консерватизмом, и это верно настолько, что в некоторых случаях привычка и обычай, похоже, стали у них такими же фиксированными и непоколебимыми, как инстинкты. В таких обстоятельствах индивид становится, так сказать, пленником своих привычек, а социальная жизнь стремится стать неповоротливой рутинной и контролируется этой рутинной, в которой изменение и прогресс трудны, если не невозможны, — за исключением тех случаев, когда «лепешку обычая», по выражению Уолтера Беджгота, разрывает на части война, революция или, возможно, массовая миграция.

За понятием «культурное отставание» кроется представление о том, что главнейшим препятствием на пути прогресса является традиция. Именно обычай куёт оковы и ограничивает свободу настолько, что каждому новому поколению приходится приспосабливаться к условностям не только ближайшего старшего поколения, но и фактически всех предшествующих. Есть индивиды и народы, неохотно принимающие изменения, насаждаемые прогрессом; этих людей не раздражает социальный порядок, в котором они оказались; они не желают быть эмансипированными. Пожалуй, это лишь еще одно свидетельство того, насколько основательно они поработаны.

Наверное, свободны лишь те, кто сознает свое рабство. Во всяком случае, сегодня в мире очень многие люди сознают свое рабство и восстают против него. Современное общество состоит (по крайней мере, так кажется) в основном из эмансипированных. XIX век стал свидетелем освобождения рабов в США и крепостных в России, а XX веку, вероятно, суждено увидеть более или менее полное исчезновение еще сохраняющихся традиционных и институциональных форм — в числе прочего, брака, — посредством которых общество удерживало свое единство и в то же время могло принуждать своих членов к некоторой дисциплине.

---

\* Районы на Юге и Среднем Западе США. — *Прим. перев.*

В самом деле, случайность браков и внешне безболезненный способ их расторжения, особенно в Соединенных Штатах, дают яркий пример того, как работает в действительной жизни широко принятый в современном обществе символ веры, а именно вера в то, что романтическая любовь является единственным прочным основанием брака — фактически единственным его основанием. Эта доктрина, или догма, относится к разряду того, что Липпман называет «кислотами современности», разъедающими традиционную структуру современной жизни.

Если мы спросим себя, что же это тогда за свобода, которой желают не все, то ответ будет такой: свобода имеет несколько измерений, которые, как я уже не раз говорил, соответствуют разным уровням, на которых социально интегрируется современное общество. Первой и самой фундаментальной является свобода, необходимая для существования всякой формы жизни выше растительной, свобода перемещаться, узнавать и видеть мир, или, как говорит Киплинг, «видеть и замечать». Эта свобода обрела свои нынешние очертания с необычайным развитием в последние годы средств транспорта и коммуникации и выразилась в беспрецедентных для истории цивилизации масштабах бродяжничества, хич-хайкинга и туризма. Сегодня путешествует каждый. Люди по-скромнее путешествуют в трейлерах и живут в одиночестве многолюдных трейлерных стоянок. Те, кто может себе это позволить, путешествуют в огромных плавающих отелях, коими являются современные пароходы.

Хотя свобода передвижения и перемены мест фундаментальна, свобода конкуренции едва ли уступает ей по значимости. Она предполагает свободу конкурировать за занятие в экономике сообщества, а вместе с тем за место и статус в социальной иерархии. Безопасность и некоторое признание, видимо, являются минимальными требованиями, которые каждый индивид не может не предъявить к обществу, частью которого он является.

Однако в конечном счете человек в современном обществе нуждается не просто в безопасности и признании, а в праве и возможности самовыражения. И действительно, в современном обществе люди обладают такой возможностью в масштабах, коих еще не знала история. Сегодня не только каждый путешествует, но чуть ли не каждый путешественник пишет автобиографию; и автобиография, в конце концов, оказывается не столько описанием мобильного мира, сколько личной исповедью, или, лучше сказать,

описью содержаний сознания, с которыми путешественник смотрел на мир, который он описывает.

Семья из семи детей и их родителей странствует по всему свету, и дети пишут очаровательно наивный и откровенный отчет о своих приключениях. Они называют его «Вокруг света за одиннадцать лет». Молодая негритянка без образования и денег путешествует вокруг света и пишет автобиографический отчет о своих приключениях, называя его «Мой великий большой прекрасный мир».

Одна из характернейших черт современного общества – это тот размах самовыражения и саморазоблачения, который оно допускает и поощряет. Стоит лишь углубиться в страницы какой-нибудь популярной книжки из тех, какие в изобилии продаются в газетных ларьках и на железнодорожных станциях, и прочесть анонимные признания и «подлинные истории», которые в них обычно выставляются на обозрение читателей, как сразу осознаешь, в каких масштабах прежде молчаливые массы находят выражение в печати и макулатуре, если уж не в том, что интеллигенция называет литературой. Это проникновение в печать и литературу индивидов, представляющих все культурные слои сообщества, есть одна из сторон «восстания масс», которое необычайно интересно и убедительно описал Хосе Ортега-и-Гассет<sup>1</sup>.

Воздействие этого интеллектуального фермента на все унаследованные формы общества было почти таким же разрушительным, как и более очевидные изменения в материальных условиях жизни. В этом современном мире, где все движется и ничто не пребывает в растительном бездействии, уничтожаются или кажутся уничтожаемыми все социальные различия. Каждый идет учиться в колледж; каждый, подобно Кальтенборну, выпускает новости. Ежедневно опросы Гэллапа оглашают суждение широко рассеянной публики по поводу вчерашних и позавчерашних новостей. В этих опросах каждый индивид имеет значение, но при этом не имеет большого значения.

Современное общество и современные манеры – плод всеобъемлющего просвещения. С помощью кино каждый, садясь на ковер-самолет, знакомится с самыми далекими сценами и самыми интимными сторонами нынешней жизни. Нас не сдерживают теперь никакие запреты, никакая скромность и никакие расстояния, которые прежде превращали некоторые стороны жизни в таинство.

---

<sup>1</sup> *Ortega y Gasset J. The revolt of the masses. – L.: Allen & Unwin, 1932 (рус. пер.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. – М., 1989. – № 3–4).*

То, чего не разоблачили скрытая камера и летние съемки на пляжах, обнажают реалистическая литература и неумная нескромность психоаналитиков.

В результате всего этого просвещения современный человек, как его описывает Липпман, «суетливо пробираясь сквозь поток событий и ветреность собственной души, приходит к убеждению, что Аристофан, должно быть, думал о нем, когда провозгласил, что Разброд – царь, отодвинувший в сторону Зевса».

«Ибо, – продолжает он, – современный человек, переставший верить, но не переставший быть легковверным, завис, так сказать, между небом и землей и нигде не может найти покоя. Нет никакой теории, объясняющей значение и ценность тех событий, которые ему приходится принимать, и тем не менее он вынужден принимать эти события. Нет никакой моральной силы, которой он должен бы был подчиниться, но есть принудительность мнений, мод и причуд. И нет для него в мире никакой неизбежной цели, а есть замысловатые нужды – физические, политические, экономические. Он не чувствует себя актером в великой и сложной судьбоносной драме, но подчиняется массивным давлениям нашей цивилизации, вынужденный принять их скорость, связанный их рутиной, впутанный в их конфликты.

Он может думать об этой цивилизации все что угодно. Но он не может избежать принуждающего давления современных событий»<sup>1</sup>.

Было бы приятно, будь это возможно, завершить статью утверждением, вмещающим в одну фразу все, что до сих пор было если не сказано, то хотя бы предположено в отношении характеристик современного общества, отличающих его от более ранних и простых форм ассоциации. Ограничусь, однако, суммарным утверждением, которое, если и не прибавит к сказанному ничего нового, поможет хотя бы верно расставить акценты. Современное общество сложное; оно несопоставимо сложнее любого общества, которое ему предшествовало. Оно движется с высокой скоростью. Вероятно, в мире еще никогда со времен Сократа и древнегреческих софистов не происходило так много событий в столь короткие промежутки времени. Современное общество механизировано. Человек сегодня не просто оказался под властью созданных им машин, но и как будто движется к тому, чтобы они совсем его заменили. Везде с умножением машин падает либо численность населения, либо его прирост, так что, видимо, машины производят все больше товаров для все меньшего числа людей.

---

<sup>1</sup> *Lippman W. A preface to morals.* – N.Y.: Macmillan, 1929. – P. 9.

Современное общество – это свободное общество. Все мы – дети великой эмансипации, ставшей побочным продуктом машинной эпохи. Машины не искоренили наши древние предрассудки, но заставили нас поставить под вопрос не просто наши традиции, но сами наши инстинкты.

Современное общество – это городское и светское общество. Прежние общества строились по образцу семьи и родовой группы. Нынешнее выросло вокруг рыночной площади. Великие города, возводившие свои башни вблизи этих рыночных площадей, становились плавильными тиглями рас и культур и центрами интеллектуальной жизни.

Но большие города, в которых людей объединяли связи скорее симбиотические, нежели социальные, видимо, так и не создали традиции, корпуса обычаев или моральной солидарности, достаточных для того, чтобы гарантировать либо воспроизводство существующих социальных институтов, либо упорядоченную последовательность экономических, политических и культурных изменений, в которой воплотились бы чаяния нашего современного мира.

То, что Великое Общество достигло в объеме пределов обитаемого мира, свидетельствует о том, что оно достигло своего рода зрелости; а то, что люди до сих пор воюют за то, чтобы обеспечить сохранение своего образа жизни или навязать миру новый социальный порядок, говорит о том, что оно вовсе не пришло ни к своему закату, как предполагал Шпенглер, ни тем более к своему концу<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Город – это дух... Дух опрокидывает троны и ограничивает старые права во имя разума и прежде всего – во имя “народа”, под которым теперь понимается исключительно народ городов. Демократия – это политическая форма, при которой от крестьянина требуют мировоззрения горожанина...

Наконец возникает мировая столица, этот чудовищный символ и хранилище полностью освободившегося духа, средоточие, в котором сконцентрировался ход мировой истории. Мировые столицы – это весьма ограниченные по числу гигантские города всех зрелых цивилизаций, которые презирают материнский ландшафт своей культуры и дискредитируют его, низводя до понятия “провинция”...

Этот каменный колосс, “мировая столица”, высится в конце жизненного пути всякой великой культуры. Душевно сформированный землей культурный человек оказывается полоненным своим собственным творением, городом, он делается им одержим, становится его порождением, его исполнительным органом и, наконец, его жертвой. Эта каменная машина есть *абсолютный город*» (Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. – М.: Мысль, 1998. – Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. – С. 99, 101, 102).

## ЛИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНФЛИКТ\*

Обзор имеющихся концепций личности показывает, что, в целом, их можно разбить на три категории: (1) физиологические, (2) психологические и (3) социологические, или социально-психологические, – в зависимости от того, какой из аспектов, в которых личности даны нам в нашем наблюдении, они выделяют и подчеркивают.

В физиологическом плане личность, видимо, тождественна организму, по крайней мере постольку, поскольку организм интегрирован и организован для действия. Например, Чайлд в книге *«Физиологические основы поведения»* описывает «организмическое поведение» в тех же терминах, которые использует Уотсон для описания того, что он считает подлинным предметом психологического изучения, а именно «поведения организма в целом, в отличие от поведения отдельных его частей».

Бихевиориста, говорит Уотсон, «интересует поведение всего человека», а весь человек, добавляет он, «есть укомплектованная органическая машина, готовая к работе». «Личность есть всего лишь конечный продукт наших систем привычек»<sup>1</sup>.

В традиционной, а также медицинской и клинической психологии личность чаще всего отождествляется с эго и Я (self). Поведение, с точки зрения психолога, становится «само-выражением». Организм, понимаемый таким образом, не просто обуславливается,

---

\* *Park R.E. Personality and cultural conflict // Park R.E. Race and culture.* – Glencoe (IL): Free press, 1950. – P. 357–371. Статья впервые опубликована в: *Publications of the American sociological society.* – Chicago, 1931. – Vol. 25. – P. 95–110. Перевод публиковался ранее в журнале: *Социальные и гуманитарные науки.* Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 1998. – № 2. – С. 175–191. Для настоящего издания он заново сверен и полностью переработан.

<sup>1</sup> *Watson J.B. Behaviorism.* – Chicago: Univ. of Chicago press, 1930. – P. 15–69, 274.

а контролируется. Это обследует свое прошлое, размышляет о нем и проецирует себя в будущее.

«Если я знаю цель человека, – говорит Адлер, – то я приблизительно знаю, что произойдет... Пока я знаю только причины и, соответственно, только рефлексy и время реакции, возможности органов чувств и т.п., мне ничего не известно о том, что происходит в душе этого человека»<sup>1</sup>.

В отличие от низших животных, человек живет в мире времени. Он, как говорилось, «животное, связывающее времена». Его действия контролируются не только размышлениями над своим прошлым, но и его надеждами на будущее, его страхом перед адом и надеждой на рай. Память, воображение и фантазия добавляют в мир, в котором, в отличие от низших животных, живет человек, новое измерение.

Человек не просто сознателен, он самосознателен, и представление, которое индивид о самом себе формирует, становится со временем самой важной частью его личности. Прежде всего, она становится объектом того, что Макдаугалл называет «чувствами самоотношения». Честь, репутация и самоуважение – короче говоря, статус – становятся для человека в конечном счете важнее, чем сама жизнь.

Кроме того, видимо, именно это представление, которое человек формирует о своем Я, конституирует то, что Фрейд обозначил словом «цензор». Эта цензура ответственна, с одной стороны, за «вытеснения», которыми в основном занимаются психоаналитики, и, с другой стороны, за «диссоциации», которым почти всецело посвятили свое внимание Жане и его коллеги<sup>2</sup>.

О социологической концепции личности – в той мере, в какой социологи сформировали о ней свои независимые представления, – можно сказать, что она отталкивается от наблюдений Томаса и Знанецкого, по мнению которых «личность есть субъективный аспект культуры». Обычаи сообщества неизбежно становятся привычками составляющих его индивидов. Индивид неизменно инкорпорирует в свою личность задачи и цели, выраженные в институтах, посредством которых контролируется индивидуальное

---

<sup>1</sup> *Adler A. The practice and theory of individual psychology.* – L.: Routledge & Kegan Paul, 1929. – P. 3 (рус. перевод: *Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.* – М.: НПО «ПРАГМА», 1993. – С. 8).

<sup>2</sup> *Gordon R.G. The neurotic personality.* – L.: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1927. – P. 50.

поведение. Иными словами, индивид не рождается человеком, а качество, которое мы называем человечностью, становится для каждого из нас личным достижением. Каждый из нас приобретает личность, пытаясь найти себе место и играть роль в каком-нибудь обществе, а также в разных более или менее интегрированных социальных группах, из которых это общество состоит, – прежде всего в семье и локальном сообществе, а далее в более широком, свободном и безличном мире политики, профессиональных дел и бизнеса.

Следовательно, конкуренция, конфликт, аккомодация и ассимиляция, которые можно определить как процессы социализации, – это не просто процессы, посредством которых индивид инкорпорируется в общество, но и процессы, посредством которых индивид, достигая социального статуса, становится не просто человеком, а персоной. Иначе говоря, становится индивидом, создающим права и обязанности и в большей или меньшей мере заботящимся об общем благе группы, к которой он принадлежит.

Очевидно, что персона, как мы здесь ее понимаем, есть в какой-то степени артефакт, идеальная конструкция, короче говоря, сущность скорее концептуальная, нежели эмпирическая. Но именно обладание этой концепцией делает поведение индивидов отличным от поведения низших животных. Именно она создает разницу между личностью человеческих существ и личностью животных, если, конечно, мы готовы приписать личность братьям нашим меньшим.

Видимо, нет никаких оснований отрицать наличие у животных многих, если не большинства, черт, обычно считающихся сугубо человеческими. Фактически о любом организме можно сказать, что он проявляет личностные особенности, если ограничивать термин «личность» чисто физиологическими аспектами. Некоторые животные, похоже, обладают даже некоторой мерой самосознания. Например, павлин и индюк, наивно демонстрирующие в лучах солнца отражение собственной славы, являют нам настоящий образ того чувства самоотношения, которое зовется тщеславием. Большинство из нас, хорошо знающие собак, способны распознать в их индивидуальном поведении такие различия, которые мы склонны определять как личностные, хотя в целом эти различия являются, видимо, чертами изменчивости, т.е. скорее видовыми чертами, нежели особенностями отдельных особей.

Хотя более простые существа обладают личностями, их все же вряд ли можно назвать персонами, ведь у них нет ни жизненных



целей, ни идеалов, ни амбиций; им неведомы самоуважение и уважение друг к другу; они не заботятся ни о своей репутации, ни о своей душе. По сути, о низших животных можно сказать то же, что иногда говорят об определенном классе божественных типов и художников: у них есть темперамент, но отсутствует характер. Непостоянство, согласно Томасу и Знанецкому, есть существенная черта деятельности божества<sup>1</sup>. А характер — ничто, если в нем нет постоянства.

Характер в том смысле, в каком мы употребляем этот термин, не тождествен привычке. В основе характера, как его определяет Робак, лежит постоянство<sup>2</sup>, описываемое им как «способность совершать поступки и воздерживаться от них в соответствии с рациональными принципами». Именно характер и постоянство отличают человека от низших животных.

Все это позволяет нам говорить о человеке, что он не просто живет, в отличие от низших животных, от руки ко рту и так изо дня в день, но также может осуществлять — и в большинстве случаев осуществляет — какую-то карьеру. Дело обстоит так, что не только его импульсы контролируются в соотношении с его индивидуальными актами, но и сами его акты контролируются и направляются к некоторой цели, существующей в его воображении и основанной на его памяти о прошлых актах. Постоянное поведение в том смысле, в каком употребляется этот термин у Робака, можно назвать действием (*conduct*).

Действование, в отличие от более общего термина «поведение», содержит моральную коннотацию. Социология, поскольку ее интересуют вопросы скорее теоретические, чем практические, не занимается моралью как таковой. Вместе с тем поведение, которое санкционируется и имеет, как я уже сказал, моральную коннотацию, особенно ее интересует. Большинство человеческих действий — даже такое естественное и неотвратимое, как чихание, — являются в том или ином обществе санкционированными; человеческих действий, которые были бы целиком естественными и наивными, сравнительно немного.

Можно выразить суть дела, сказав, что люди, в отличие от низших существ, лишены простоты. В поведении людей всегда присутствует элемент условности, изощренности и искусственности.

---

<sup>1</sup> *Thomas W.I., Znaniecki F.* The Polish peasant in Europe and America. — Boston: Badger, 1919. — Vol. 3. — P. 29.

<sup>2</sup> *Robach A.A.* The psychology of character. — N.Y.: Harcourt, Brace & co., 1927. — P. 158, 192.

Вероятно, это связано с тем, что людям привычно жить в двух мирах – действительном и идеальном, настоящем и будущем, – так как представление индивида о себе неизменно приобретает более или менее конвенциональную форму и базируется не только на реальных и наличных условиях, но и в не меньшей степени на условиях, которые усматриваются им в перспективе и на которые он надеется. В итоге индивид всегда, осознанно или неосознанно, играет роль. Он актер, одним глазом всегда смотрящий за публику. Оказываясь в обществе других членов своего вида, он надевает лицо (a front), усваивает манеры и стиль и наряжается соответственно той роли, исполнения которой от него ожидают.

Искусство жизни, особенно в стабильном и церемонном обществе, требует сохранять при любых обстоятельствах подходящие установки, соблюдать вопреки всему социальные условности и вести себя всегда и везде ожидаемым образом. Тем самым конвенции общества входят в плоть и кровь индивидуальной личности. А следовательно, говорит Дьюи, было бы ошибкой считать личные привычки индивида его частным достоянием. «Личностные черты – функции социальных ситуаций»<sup>1</sup>.

Хотя человек живет в значительной мере в сознаниях других людей и очень восприимчив к их установкам и эмоциям относительно него, по правде говоря, он все-таки меньше других животных зависит от своей среды, т.е. от мира, на который он ориентируется. В противовес другим индивидам, их установкам и притязаниям, он хранит некоторую степень скрытности (reserve). Лишь в состоянии экзальтации и экстаза он позволяет себе действовать без оглядки и всецело отдается ходу событий и влияниям окружающих лиц.

Обычно он способен защитить себя от психических вторжений, коим он подвергается в присутствии других людей, с помощью рационализаций, цинизма и казуистики. В случае необходимости он может превратить свои манеры в личину, а свое лицо – в маску, под прикрытием которой он может сохранять некоторую степень внутренней свободы даже тогда, когда сливается с другими в толпе. Иногда он может отгораживаться от мира, и люди всегда осознанно и неосознанно изобретали средства поддержания социальных дистанций и сохранения своей независимости в мышлении, даже когда не могли сохранить свою независимость в действии. И этот факт – столь же значимая и характерная черта человеческого поведения,

---

<sup>1</sup> Dewey J. Human nature and conduct. – N.Y.: Modern Library, 1922. – P. 16, 20.

как и противоположная склонность к реагированию на любое изменение в социальной атмосфере окружающего мира.

Именно поэтому, наряду с прочим, человек непременно где-то и когда-то строит для себя дом, приют, убежище, где в окружении семьи и друзей он может расслабиться и, насколько это вообще возможно для столь общительного создания, ощутить полную свободу и непринужденность, почувствовав себя более или менее полновластным хозяином собственной души. Это значит, что большинство мужчин и некоторые женщины обладают сопротивляемостью рекламе, которую не всегда способна сломить даже магия нового умения продавать<sup>1</sup>.

То, что каждый индивид, обладающий хотя бы какой-то личностью, способен сохранять некоторую меру личной недоступности (*reserve*) и оказывать некоторое сопротивление притязаниям других лиц, не отменяет того, что он подчинен в то же время необходимости интегрировать свои действия и согласовывать их с тем или иным признанным жизненным правилом, причем не только в ответ на ожидания других индивидов и конвенции общества, в котором он живет, но и в интересах достижения тех целей, которые он как индивид решает преследовать.

Согласованность и конформность естественным образом отвечают интересам социальной солидарности и мира, даже если не благоприятствуют интеллектуальной жизни и социальному прогрессу. Во всяком случае, если индивиды намерены жить вместе, важно, в первую очередь, чтобы они знали, чего им следует друг от друга ожидать. Эти нормальные человеческие ожидания служат в конечном счете основой всякого права и порядка, и, несомненно, на этой основе держится максима англосаксонского права, гласящая, что согласованность права важнее его справедливости. С другой стороны, именно этой потребностью в постоянстве и согласованности человеческого поведения в условиях меняющейся общественной и социальной жизни обусловлены внутренние конфликты, терзания ума и душевные смуты, столь характерные для людей, но неведомые другим видам.

Психоаналитики, по-видимому, совершенно правы, когда говорят, что «невроз — это один из способов решения человеком различных проблем, возникающих в его отношениях с другими людьми», и что изучение этих патологических состояний у инди-

---

<sup>1</sup> См.: *James W. The principles of psychology.* — N.Y.: Holt, 1890. — Vol. 1. — P. 312.

вида не может «не пролить свет также на внутреннюю природу и значение самих социальных институтов, в связи с которыми эти проблемы возникают»<sup>1</sup>.

Один из институтов, на которые проливает свет изучение патологических состояний индивида, — это семья. Кстати говоря, первыми, кто привлек внимание к значимости этого факта, были, видимо, антропологи. Малиновский в своей книге *«Сексуальность и подавление в туземном обществе»* называет психоаналитическую доктрину «по существу теорией влияния семейной жизни на разум»<sup>2</sup>. Кроме того, он высказывает меткое замечание, что «раз уж семейная жизнь столь судьбоносна для человеческой ментальности, то ее характер заслуживает большего внимания. Ведь семья не одинакова во всех человеческих обществах; это факт». А следовательно, и влияние, оказываемое ею, неодинаково.

Примечательно также, что объяснение неврозов психоаналитики ищут в условиях, создаваемых близостями и запретами, присущими семейной организации, ведь именно в семье и первичной группе, согласно Кули, рождается большинство черт, которые мы обыкновенно определяем как человеческие. Если семья и есть тот институт, которому мы прежде всего и в конечном счете обязаны доместикацией человека, то, согласно Фрейду, именно тем конфликтам, которыми сопровождается доместикация в каждом очередном поколении, обязано своим происхождением большинство неврозов и психозов взрослой жизни.

Более того, для большей части цивилизованного мира семья есть последнее прибежище нравов. Это единственная форма общества, в которую входят не только взрослые, но и дети, причем в такое время и в таких условиях, когда они более всего нуждаются в защите и наименее способны сами себя защитить, а именно, когда рождаются и когда влюбляются. Сегодня, посреди индивидуалистического и секулярного мира, она остается прототипом и живым образцом авторитетного и сакрального общества, в котором каждый имеет обязанности и никто не имеет прав, а личные интересы индивида, даже относящиеся к наиболее интимным и личным вещам, полностью подчинены интересам сообщества и авторитету группы.

---

<sup>1</sup> Jones E. Abnormal and social psychology // Problems of personality / Ed. by C.M. Campbell et al. — N.Y.: Harcourt, Brace & co, 1925. — P. 23.

<sup>2</sup> Malinowski B. Sex and repression in savage society. — L.: Kegan Paul, 1927. — P. 2.

Вне семьи, по всей видимости, лишь в узких пределах небольших, социально обособленных религиозных сект существует общество, которое может навязывать своим индивидуальным членам кодекс, дисциплину и образ жизни, идущие вразрез со всеми инстинктивными, спонтанными и естественными импульсами человека<sup>1</sup>.

Когда я недавно готовил обзор «Истории психологического лечения» Жане, меня поразило невероятное множество случаев, в которых лечение невроза требует от психотерапевта работы с семейной ситуацией или, во всяком случае, с ситуацией, заключающей в себе те или иные интимные и личные отношения. Такое лечение, по словам Жане, заставляет принимать в расчет, с одной стороны, «усталость, которую люди вызывают друг у друга, затрату сил, требуемую социальными отношениями, истощающее воздействие, оказываемое антипатичными индивидами, а с другой – стимулирующее влияние социальной жизни, обогащение ориентирами и преимущества ассоциации с симпатичными людьми». «Лишь немногие, – говорит Жане, – представляют, сколь многочисленны моральные проблемы, открываемые простейшими психиатрическими исследованиями; лишь немногие сознают, какое обилие интересных деталей обнаруживается даже самым поверхностным изучением душевного расстройства»<sup>2</sup>.

В число истощающих воздействий Жане включает такие вещи, как первое общение, вступление во взрослую жизнь. «Это так изматывает, – говорит один из пациентов, – размышлять о жизни, о своей карьере, о мире, который невозможно не видеть и который ты ненавидишь»<sup>3</sup>.

Другие истощающие воздействия – публичные приемы, университетская жизнь, экзамены, отдых и праздники. «Многие люди менее способны отдыхать, чем работать. У них возникает депрессия из-за неспособности выполнять специальные действия, фигурирующие под именем бездействия»<sup>4</sup>.

Далее, есть «профессиональные психозы»; навязчивые состояния и фобии, которым могут быть подвержены юристы, врачи, портные и парикмахеры; затраты душевной энергии, нужные для

---

<sup>1</sup> Ср.: Thomas W.I., Znaniecki F. Op. cit. – P. 35–36.

<sup>2</sup> Janet P. History of psychological healing. – N.Y.: Macmillan, 1925. – Vol. 1. – P. 19.

<sup>3</sup> Ibid. – P. 417.

<sup>4</sup> Ibid. – P. 419.

того, чтобы «приспособиться к тем, кто образует семейный круг, наладить удовлетворительные отношения с родителями, друзьями и близкими». Наконец, существуют затруднения, проистекающие из изменений в окружении. «Я мог бы, — говорит Жане, — написать целый трактат о патологии переезда на новое место жительства, настолько поразительны и серьезны болезни, вызываемые такой резкой переменой дома»<sup>1</sup>.

Что впечатляет при рассмотрении этих случаев психического недомогания, подлежащих психологическому и даже социологическому лечению, так это то, что в целом они, видимо, обусловлены не столько жесткостью насаждения племенных нравов и семейной дисциплины, сколько общим отсутствием ориентации и новых обязанностей, пришедшим вместе с новой свободой, т.е. с индивидуализацией персоны и секуляризацией социальной жизни<sup>2</sup>.

Функциональные расстройства душевной жизни, по-видимому, обусловлены не столько природой и строгостью запретов, накладываемых на индивида семьей и сообществом, сколько тем, что в их навязывании теряется последовательность.

При старой семейной системе индивид был настолько полно погружен в семейную организацию, что от него не ожидали самостоятельного выбора карьеры и определения собственного пути в этом мире. Его даже не считали ответственным за выбор собственной жены. Семья навязчиво оказывала ему эту услугу. От него не ожидалось, что он будет сам создавать семью и делать карьеру. Его просто призывали занять свое место в уже установленной семье, подготовиться унаследовать семейное состояние и отстаивать честь семьи в соответствии с идущей издавна традицией.

В современном мире все изменилось. Индивид не столько заботится о чести семьи или достоянии семьи, сколько готовит себя к тому, чтобы стать эффективным винтиком в экономической системе и заметной фигурой в обществе, уже не локальном и даже не национальном. Не долг, не конформность, а эффективность — вот чего современный мир требует и что он вознаграждает.

Видимо, именно в этих условиях и возникла та современная форма *tedium vitae*\*, которую психиатры называют неврастением.

---

<sup>1</sup> Janet P. History of psychological healing. — N.Y.: Macmillan, 1925. — Vol. I. — P. 422.

<sup>2</sup> Thomas W.I., Znaniecki F. Op. cit. — P. 79; Thomas W.I. The unadjusted girl. — Boston: Little, Brown & Co, 1923. — Ch. 3: The individualization of behavior. — P. 70–97.

\* Усталость от жизни (лат.).

Примечательно, однако, что «истощение мозга», «душевное истощение» и та не имеющая определения *malaise*\*, на которую жалуются очень многие пациенты, вызваны, судя по всему, не трудовыми перегрузками в обычном смысле этого слова. На самом деле работа, предъявляющая ряд новых требований к вниманию и интересу индивида, может облегчить состояние пациента. По мнению Жане, данное состояние определяется усилиями, необходимыми для поддержания напряжения на более высоком уровне по сравнению с тем, который индивид привык или способен поддерживать<sup>1</sup>.

Если спросят, что представляют собой в целом те акты, которые, по словам Жане, являются изнуряющими и в силу этого очень часто приводят к душевному и моральному крушению, то можно ответить, что это действия, порождающие конфликты, действия, требующие принятия решений в условиях, когда по тем или иным причинам к решению прийти трудно<sup>2</sup>. Во многих случаях «основополагающим расстройством является депрессия, вызванная борьбой со сложной моральной проблемой»<sup>3</sup>.

Иными словами, психическое истощение обусловлено не столько попыткой действовать, сколько попыткой действовать в согласии с принятым социальным кодом и так, чтобы это действие согласовывалось с тем, как индивид представляет себя в социальной ситуации или в обществе. В этом случае пациента могут излечить влюбленность, религиозное обращение, отъезд за границу или поиск приключений в каком-то новом регионе опыта. На худой конец, он может заняться гольфом. Иначе говоря, если не исцеление, то по крайней мере улучшение состояния неврастенику могут принести отдых, уединение, душевное возбуждение и то, что Жане называет избавлением, т.е. психоанализ, — по сути дела, все, что уменьшает напряжение и снижает то, что можно назвать непомерно высокой стоимостью жизни.

Душевные конфликты, откуда бы они ни возникали, не всегда заканчиваются неврозом или каким-то другим состоянием, которое считается патологическим. Поскольку конфликты возникают из-за того, что индивиду оказывается трудно жить в мире, в который он попал, то он может решить проблему, придумав какой-нибудь способ бегства. Он может развестись, совершить паломничество,

---

\* Дурнота, недомогание (*фр.*).

<sup>1</sup> Janet P. Op. cit. — P. 244.

<sup>2</sup> Ibid. — P. 450.

<sup>3</sup> Ibid. — P. 480.

как было принято делать в Средневековье, или, подобно св. Антонию и отшельникам IV в., вообще удалиться от мира.

Одним из способов бегства от мира, используемых людьми в наше время, является либо вступление в уже существующую религиозную секту, либо основание новой, где они, подобно мормонам, меннонитам и другим, живут в более или менее полной изоляции от мира. Человек может решить свои проблемы так, как это пытались делать сторонники Христианской Науки, — читая *«Крисчен Сайенс Монитор»*, где не печатается ничего, что могло бы взволновать, ни слова о преступлениях, болезнях и смертях; либо он вообще может встать на путь отрицания существования всего, чего быть не должно.

Религию всегда заботила проблема зла, но решение, предлагаемое Христианской Наукой, является одновременно самым последним и, в каких-то отношениях, самым наивным. Во всяком случае, именно такие факты оправдывают утверждение Эрнеста Джонса (высказанное в ходе обсуждения взаимосвязей между аномальной и социальной психологией), что «социальные институты, изучаемые одной дисциплиной, — это продукты тех же самых сил, которые создают невротические манифестации, изучаемые другой: это просто альтернативные способы выражения»<sup>1</sup>.

Душевные конфликты часто имеют истоки в культурных конфликтах. Человек или класс, стремящиеся подняться с низкого на более высокий культурный уровень, иммигрант, стремящийся обосноваться в чужом сообществе, сталкиваются с дискриминацией и предрассудками, так как отождествляются с расой или национальностью, которую коренные народы считают низшей, — низшей главным образом потому, что она другая. Чужак, хотя и может быть принят как полезная вещь, отвергается как гражданин, сосед и «социально равный». Социально равным, как его обычно определяют в Америке, является тот, за кого ты готов выдать замуж свою дочь.

Критерий социального равенства был бы определен в более либеральных терминах, если бы социально равные определялись как те, с кем дочери и особенно сыновья действительно вступают в брак, иногда вопреки желанию родителей и перед лицом общего неодобрения. Во всяком случае, именно там, где запрещается брак, начинается каста. Но когда народы разных рас и культур хотят жить в пределах космополитического общества, избегая ограниче-

---

<sup>1</sup> Jones E. Op. cit. — P. 24.



ний, налагаемых классом и кастой, в условиях современной жизни проявляется то, что мы называем культурными конфликтами.

В своей увлекательной книге *«Расы, нации и классы»* Миллер отмечал, что большинство националистических движений уходит своими корнями в трудности и разочарования борьбы за статус, последствия которой он определяет как «психоз подавления». «Выдающимся результатом психоза подавления становится создание гораздо более прочной групповой солидарности, чем могла бы быть создана любым другим способом»<sup>1</sup>.

Большинство культурных конфликтов и те расовые и националистические движения, в которых они находят свое выражение, — каковы бы ни были их конечный источник и происхождение, — обостряются зачастую тем, что какой-то исключительный и в ином случае бывший бы дружелюбным индивид столкнулся с унижением и дурным обращением, вызванным не его индивидуальными качествами, а просто его отождествлением с расовым или культурным меньшинством, которое считается низшим, — нормальным, возможно, на своем месте, но представляющим в глазах господствующего народа низшую касту. Пережив в личном опыте бесчестье и несправедливость, которым подвергаются его собратья по национальности, он делает их дело своим собственным.

Яркий пример — Ганди, индийский патриот и пророк. Его долгая и тяжелая борьба за свободы индийских поселенцев в Южной Африке сделала его самым влиятельным и бескомпромиссным лидером индийского националистического движения. Как и другие националистические лидеры, совершившие паломничество за границу, он, несомненно, нашел у себя на родине кипящую массу недовольных, к которым он смог направить свой призыв и которые подвели моральный фундамент под то, что поначалу было сугубо личным чувством обиды. Этот эпизод повторяется снова и снова в истории расовых и национальных движений во всех частях земного шара. Это частный эпизод процесса социализации, посредством которого индивид идентифицируется с группой и инкорпорируется в нее.

---

<sup>1</sup> Miller H.A. Races, nations, and classes. — N.Y.: Lippincott, 1924. — P. 36; см. также: Miller H.A. Race and class parallelism // Annals of the American Academy of political and social science. — Philadelphia, 1928. — Vol. 140. — P. 1–5.

Интересно в этой связи заметить, что большинство националистических движений рождалось за границей<sup>1</sup>. Многие из них, прежде всего ирландское и литовское, можно сказать, родились в Америке.

«В Соединенных Штатах, — писал в 1924 г. Миллер, — более 20 миллионов людей в большей или меньшей степени психопатичны по причине одной или всех форм подавления, действовавших прежде или действующих в настоящее время в Европе»<sup>2</sup>. Эта оценка базируется, вероятно, на числе жителей США, родившихся за рубежом или имеющих родителей-иностранцев. В 1920 г. оно составляло 29 407 293 человека. Если вычесть отсюда скандинавов, чей психоз — если он вообще есть — иного рода, то оставшиеся вполне могли бы составить те 20 миллионов, о которых говорит Миллер. Даже если бы эта оценка числа людей в Америке, у которых война в Европе пробудила национальные симпатии и привязанности, была верной, можно все-таки усомниться в точности утверждения Миллера по поводу их душевного состояния<sup>3</sup>. Очень сомнительно, чтобы сейчас или когда-то еще психическое состояние большинства ревностных национальных меньшинств в США можно было описать как в сколько-нибудь реальном смысле патологическое.

Попытки меньшинств самоутвердиться в ответ на предрассудки, с которыми они неизменно сталкиваются в чужой стране, можно, глядя на них с точки зрения конечных последствий, рассматривать в целом как полезные, если не благотворные. Во всяком случае, склонность иммигрантских народов объединяться, с тем чтобы, как говорит польский патриот Агатон Гиллер, «морально и национально подняться» и быть лучше подготовленными представлять свою родину за рубежом, сама по себе не является чем-то предосудительным<sup>4</sup>.

Подъем националистических и расовых движений внутри государства, как и возникновение сект и религиозных орденов внутри церкви, поражает меня как естественное и здоровое нарушение социальной рутины, результатом которого становятся про-

---

<sup>1</sup> *Park R.E.* The immigrant press and its control. — N.Y.: Harper & bros, 1922. — P. 49–50.

<sup>2</sup> *Miller H.A.* Races, nations, and classes. — P. 38.

<sup>3</sup> См.: *Playne C.E.* The neuroses of the nation. — L.: Allen & Unwin, 1925, — где полнее рассматривается психическое состояние населения Европы на момент начала мировой войны.

<sup>4</sup> См.: *Park R.E., Miller H.A.* Old world traits transplanted. — N.Y.: Harper & bros, 1921. — P. 135–136.

буждение в затронутых им людях живого чувства общей задачи и возникновение у тех, кто чувствует себя угнетенным, воодушевления общим делом.

В фундаменте этих так называемых культурных конфликтов мы имеем борьбу социально ущемленных или культурно притесняемых народов за улучшение своего статуса. Следствием этой борьбы являются возрастание солидарности и повышение морального духа «угнетенного» меньшинства. Угнетение – вещь всегда более или менее субъективная, и сомнительно, чтобы вызываемые им конфликты были столь плодотворными, какими они обычно бывают, если бы им не сопутствовали чувства вражды, которые такая борьба неизбежно провоцирует. Это чувство ущемленности, по-видимому, тождественное так называемому «комплексу угнетения», является, вероятно, более или менее неизбежным эпизодом культурного процесса, где бы он ни происходил.

Коль скоро угнетенное меньшинство желает подняться и стать хозяином собственной души, то, видимо, кто-то должен осуществлять угнетение. Угнетатели, какими я их увидел, например на Филиппинах и в Корее, поразили меня своим беспокойным, изможденным и в целом благонамеренным типом личности. От них очень многого ждут, но они получают крайне мало признательности за то, что делают.

Кроме того, угнетенные национальности, подобно гонимым сектам, имеют определенные компенсации. Внутри своей секты или национальности индивиды чувствуют безопасность и собственное достоинство, которых вовне они лишены. В худшем случае, сектант или националист могут стать религиозными мучениками или национальными героями. И наконец, новый религиозный орден внутри церкви и новая национальность внутри государственной империи склонны в большинстве случаев создавать новое общество со своими особыми кодексом и культурой. Каждое такое общество может рассматриваться как новая почка на старом стволе социального организма. Именно в подобных конфликтах общество обновляет свою жизнь и сохраняет свое существование.

С другой стороны, когда культурные конфликты не пробуждают массовых движений, они обычно выражаются в семейной дезорганизации, делинквентности и функциональных расстройствах индивидуальной души.

Данные, аккумулированные из множества разных источников, показывают, что индивидам трудно сохранять стабильную личность, если для этого нет основы в лице стабильного общества.

Делинквентный подросток нередко является продуктом домашних разладов. Обследования малолетних правонарушителей, проведенные Институтом изучения юношества в Чикаго и при содействии Фонда судьи Бейкера в Бостоне, показывают, что одна из причин подростковой делинквентности, особенно среди иммигрантов, состоит в трудности поддержания семейной дисциплины в «смешанном сообществе», т.е. сообществе, где семейные нравы не поддерживаются обычаем и традицией<sup>1</sup>.

Биографические документы иммигрантов, которых много было опубликовано в последние годы, показали нам природу и степень тех внутренних моральных конфликтов, которым подвержены иммигранты, а часто также их дети в процессе перехода из культурной традиции родной страны в культурную традицию новой. Все эти факты говорят о тесной связи, существующей между личностью индивида и культурной традицией сообщества и тех людей, в среду которых он попадает.

Культурный конфликт, по-видимому, является одним из эпизодов культурной ассимиляции, и результатом его становится то, что персоны, вошедшие, так сказать, в состояние перехода, оказываются плавильным котлом или плавильными котлами, в которых происходят культурные процессы. В особенности это касается так называемого маргинального человека, т.е. индивида, оказавшегося на обочине двух культур и не аккомодированного полностью или постоянно ни к одной из них.

Типичным маргинальным человеком является человек смешанных кровей — евразиец, метис или мулат, — т.е. человек, которому самым фактом его расового происхождения предначертано занять положение где-то между двумя культурами, представленными соответственно его родителями. Если, вдобавок к тому, две расы, продуктом которых он является, настолько отличаются друг от друга физическими характеристиками, что он носит на своем лице, как в случае мулата и евразийца, признаки смешанного происхождения, и если к тому же полукровка занимает (как это почти всегда и бывает) отдельное кастовое или классовое положение, — то в такой ситуации налицо все факторы, производящие особый тип ментальности, т.е.

---

<sup>1</sup> См., например, случай 17 «Стасия и Стэнли Эндрюс» в: *Healy W., Bronner A.F. Case studies.* — Boston: Judge Baker Foundation, 1923. — (Series 1). См. также: *Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America.* — Boston: Badger, 1919. — Vol. 5: Organization and disorganization in America.

особые интеллектуальные и моральные качества, характерные для культурного гибрида, или маргинального человека<sup>1</sup>.

Во многом такими же, однако, являются последствия и в случае индивида, родители которого представляют две сильно отличающиеся друг от друга культуры, особенно если эти две группы эндогамны и не заключают взаимных браков, как это имеет место в случае евреев и неевреев или даже католиков и протестантов.

Исследования, проводимые в настоящее время на Гавайях, где было много взаимных браков между европейцами, азиатами, малайцами с Филиппин и коренными полинезийцами, дают нам очень интересную картину конфликтов в культуре и изменений в личности, происходящих в противоположной ситуации. В этом случае конфликты возникают в семье как следствие брака между индивидами, представляющими разные традиции и культуры. Во всех этих разных ситуациях перемены в настроении, темпераменте и взгляде на жизнь, хотя и не выражаются обычно в поведении, которое принято считать патологическим, репрезентируют глубокие и важные изменения и наводят на мысль, что исследования в области клинической психологии могут иметь вполне реальную значимость для понимания социальных и культурных изменений. В то же время они позволяют предположить, что исследование культурных изменений и культурных конфликтов может пролить свет на функциональные расстройства индивидуальной души.

---

<sup>1</sup> *Park R.E. Human migration and the marginal man // American j. of sociology.* — Chicago, 1928. — Vol. 33, N 6. — P. 881–893. (См. перевод в настоящем издании.)

## ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ (в применении к исследованию расовых установок и расовых отношений)\*

### I. Определение социальной дистанции

У социологов в последнее время стало принято пользоваться понятием «дистанция» применительно к человеческим отношениям, в отличие от пространственных, когда они пытаются свести к чему-то более или менее измеримому те градации и степени понимания и интимности, которые характеризуют в общем и целом личные и социальные отношения.

Мы часто говорим, что *A* очень «близок» к *B*, что *C* далек и неприступен, тогда как *D*, в свою очередь, восприимчив, отзывчив, чуток и вообще «легок в общении». Все эти выражения описывают и в какой-то степени измеряют «социальную дистанцию».

Следует признать, что всех факторов, входящих в то, что мы называем социальной дистанцией, и определяющих ее, мы не знаем. Нам, разумеется, известно, что во многих случаях «недоступность» (*reserve*)\* есть следствие застенчивости и самосознания.

---

\* *Park R.E.* The concept of social distance, as applied to the study of racial attitudes and racial relations // *Park R.E.* Race and culture. — Glencoe (IL): Free press, 1950. — P. 256–260. Статья впервые опубликована в: *J. of applied sociology*. — Los Angeles, 1924. — Vol. 8, N 6. — P. 339–344. Перевод публиковался в: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. — М., 1998. — № 2. — С. 192–197. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.

\* Слово *reserve*, употребляемое Парком, не имеет равноценного аналога в русском языке. Это понятие наследует зиммелевским рассуждениям о «секретности» и предшествует гоффмановским понятиям «закулисный регион» (*back-stage region*) из «Представления себя в повседневной жизни» и «вотчины» (*preserves*) из очерка «Территории Я», вошедшего в книгу «Отношения на публике». Речь идет о том, что человек не полностью открыт другому, и эта его частичная закры-

Еще мы знаем, что при определенных условиях недоступность может быть «сломлена» и что с ее крушением социальные дистанции исчезают, а на их месте нередко утверждаются самые интимные степени взаимопонимания.

Суть дела в том, что во всех наших личных отношениях мы ясно сознаем степень близости. *А ближе к В, чем С, и степени этой близости измеряется влияние, которое каждый на другого оказывает.*

То, что мы можем так легко различать степени близости, внушает надежду, что мы сможем в конце концов научиться измерять «дистанцию», в том смысле, в каком здесь употребляется это слово, с такой же точностью, с какой мы сегодня измеряем интеллект; ибо мы, конечно, не знаем всех факторов, определяющих «близость», но и всех факторов, определяющих интеллект, мы точно так же не знаем.

Врожденный человеческий импульс, влекущий нас к воображаемому вхождению в сознания других людей с целью приобщиться к их опыту и сопережить их страдания и удовольствия, радости и печали, надежды и страхи, может блокироваться самосознанием, смутными опасениями, позитивным самолюбием и т.д.; и все это необходимо принимать во внимание, когда мы пытаемся измерять «дистанции».

Так вот, мы обладаем чувством дистанции не только по отношению к индивидам, с которыми вступаем в контакт; почти такое же чувство мы имеем в отношении классов и рас. Термины «расовое сознание» и «классовое сознание», знакомые большинству из нас, описывают некое состояние духа, в котором мы, часто внезапно и неожиданно для себя, осознаем дистанции, отделяющие или, как нам кажется, отделяющие нас от тех классов и рас, которые мы не до конца понимаем.

Мы не только обладаем таким чувством дистанции в отношении целых групп лиц. «Расовое» и «классовое» сознание нередко затрудняет, модифицирует и ослабляет личные отношения — отношения, которые при иных обстоятельствах, возможно, могли бы стать самыми близкими и заключать в себе полное взаимопонимание.

---

тость для другого схватывается в понятии *reserve*, различные оттенки которого могут в разных контекстах передаваться словами «недоступность», «скрытность», «сдержанность», «замкнутость», «тылы», «осторожность», «умалчивание» и т.п. — *Прим. перев.*

Например, хозяйка дома может находиться в самых близких личных отношениях со своей кухаркой, но эти близкие отношения будут сохраняться лишь до тех пор, пока кухарка соблюдает «надлежащую дистанцию». Всегда есть некоторого рода социальный ритуал, который удерживает кухарку на ее месте, особенно когда в доме гости. Это одна из тех вещей, которые знает каждая женщина.

То же касается отношений между расами. Негру «следует знать свое место», и, видимо, это верно для всех других рас, классов и категорий лиц, в отношении которых наши установки закрепились, вошли в привычку и конвенционализировались. Наверное, каждый способен поладить с кем угодно, если оба будут соблюдать должную дистанцию.

Важность этих личных и расовых бастионов недоступности (*reserves*), которые, столь неизменно и неизбежно вырастая, усложняют и в какой-то мере замораживают и конвенционализируют наши спонтанные человеческие отношения, состоит в том, что они оказываются выраженными во всех наших формальных социальных и даже политических отношениях.

Теоретически и в сравнительном аспекте для демократии характерно отсутствие «социальных дистанций». Уолт Уитмен, толкуя демократию мистически и поэтически, отказывался исключить из круга своего сердечного понимания и сочувствия хотя бы одно человеческое существо. В знаменитых строках, адресованных «Уличной проститутке», он говорил: «Покуда солнце не отвергнет тебя, я не отвергну тебя»<sup>\*</sup>. И в этой емкой фразе он словно заключил в широкие братские объятия все человеческое и все живое, все, что орошается дождем и согревается солнцем. Вместе с тем он не делал вид, будто вообще не проводит никакого различия между людьми.

Демократия испытывает отвращение к социальным различиям, но сохраняет их. Отличие демократии от других форм общества заключается в том, что она отказывается от проведения классовых или расовых, т.е. групповых различий. Различия и дистанции должны иметь чисто индивидуальную и личностную природу. В индивидуалистическом обществе вроде нашего о каждом человеке теоретически судят по его индивидуальным достоинствам.

---

<sup>\*</sup> Пер. К. Чуковского, цит. по: Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Уитмен У. Стихотворения и поэмы. Дикинсон Э. Стихотворения. — М.: Худ. лит-ра, 1976. — С. 380.



В свою очередь, аристократическое общество держится именно на подчеркивании социальных отличий и различий. Почтительность, снисходительность и церемониальные табу, характеризующие высокостратифицированное общество, существуют с явной целью воплощения в жизнь тех недоступностей и социальных дистанций, на которых держится социальная и политическая иерархия.

Идеалы демократического общества, какими мы их знаем, — наследие фронта. На фронте, где, вообще говоря, нет никаких традиций, никакой снисходительности и никакой почтительности, каждый сам является хозяином своей бессмертной души. В этих условиях социальные дистанции исчезают, и социальные отношения становятся более прямыми, искренними и неформальными, чем это обычно бывает при любых других условиях.

Но фронт ушел или уходит в прошлое. К тому же само существование жизни на фронте предполагало условия, которых больше нет. Как бы то ни было, у фронта есть свои особые предрассудки. Характерное предубеждение фронта было направлено не против чужака, а против человека, который странно себя вел, держался в стороне или свысока, не брался и не смешивался с другими. На любую недоступность смотрели, как правило, подозрительно. В этих условиях всюду работал плавильный котел и расцветала демократия.

С приходом выходца из Азии ситуация изменилась. Он странно выглядел, говорил на необычном языке, развивал привычки трудолюбия и бережливости, невыносимые для тех, кто был вынужден с ним конкурировать. И в этой точке демократическое общество дало сбой. Оно уже не могло относиться к выходцам с Востока как к индивидам. Они не ассимилировались. На них смотрели, но не могли сказать, что происходит у них в голове. Это были «чужеземные дьяволы». Как выразился Брет Гарт, «темные обычаи и показательные хитрости — вот что отличает дикого китайца». Конкуренция, ранее бывшая личной, стала расовой, а расовая конкуренция переросла в расовый конфликт.

В результате этого конфликта мы получили подъем так называемого «расового сознания» — нового сознания, основанного на «цвете кожи». Выражение *«вздвигающаяся волна цвета»*, ставшее заглавием книги Лотропа Стоддарда, описывает обстоятельства и условия, в которых родилось это новое сознание. Поскольку групповое сознание обычно вырастает из группового конфликта, оно неизменно приносит с собой и групповые предрассудки.

То, что мы обычно называем предрассудком, есть, стало быть, более или менее инстинктивная и спонтанная диспозиция к сохранению социальных дистанций. В нашем демократическом обществе эти дистанции стремятся приобрести чисто индивидуальный характер. Мы говорим, что у нас нет предрассудков, но подбираем себе компанию. На фронтире до пришествия китайца и в наших деревенских общинах, где каждый к каждому обращался по имени, нам более или менее удавалось сохранить общество без расовых и классовых различий. В городах же мы приобрели «классовое сознание», а с эмансипацией негров и вторжением иммигрантов из Европы и Азии – еще и «расовое сознание».

Предрассудок в этом широком его понимании, видимо, есть побочный продукт группового сознания, подобно тому как недоступность, видимо, есть побочный продукт самосознания. Изначально у ребенка нет недоступностей; он ничего не знает ни о чувстве собственного достоинства, ни о застенчивости, ни о признательности, ни о каких-либо других волнениях и муках самосознания.

У ребенка нет ни классовых, ни расовых предрассудков. Если не брать не по годам развитых детей, эти манифестации группового сознания, называемые нами «классовым» и «расовым» сознанием, обычно не возникают почти до достижения половой зрелости. Однако стоит им появиться, как они приносят с собой все те традиционные предрассудки, с помощью которых поддерживаются классовые и расовые различия и традиционные социальные дистанции.

В том, что сказано выше, не подразумевалось, будто сознание, расовое сознание, предрассудок и все личные и социальные различия, связанные с социальной дистанцией, в каком-либо смысле ей тождественны.

Вообще, самосознание обычно вырастает из некоторого личностного конфликта, и личностные тылы (*personal reserves*), возникающие как следствие прошлых конфликтов и предвосхищения новых, служат цели предохранения частной, личной жизни индивида от вторжения, неверного толкования и цензуры.

В свою очередь, предрассудок, похоже, возникает при появлении угрозы не нашим экономическим интересам, а нашему социальному статусу. Предрассудок и расовый предрассудок никоим образом не определяются социальной дистанцией; они возникают, когда происходит, или, как нам кажется, происходит, вторжение в наши личные и расовые тылы (*reserves*). Предрассудок в целом не агрессивная, а консервативная сила; это своего рода спонтанная

консервация, способствующая сохранению социального порядка и тех социальных дистанций, на которых этот порядок держится.

Одна из целей нашего расового исследования – измерение, но не наших расовых предрассудков, а тех более неясных и незаметных табу и запретов, которые сохраняются даже в таком мобильном и изменяющемся порядке, как наш, и репрезентируют собой стабилизирующие, спонтанные, инстинктивные и консервативные силы, на фундаменте которых покоится социальная организация.

## ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ И МАРГИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК\*

Исследователи великого общества, обозревая человечество в широкой исторической перспективе, зачастую были склонны искать объяснение культурных различий между расами и народами в какой-то одной главной причине, или одном условии. Одна школа мысли, виднейшим представителем которой был Монтескье, находила такое объяснение в климате и физической среде. Другая, отождествляемая с именем Артюра де Гобино, автора *«Опыта о неравенстве человеческих рас»*, искала объяснение различий между культурами в биологически наследуемых врожденных расовых качествах. В этих двух теориях есть нечто общее, а именно: обе понимают цивилизацию и общество как результат эволюционных процессов, благодаря которым человек приобретал новые наследуемые черты, а не процессов, благодаря которым устанавливались новые отношения между людьми.

В противовес обеим этим теориям Фредерик Теггарт недавно по-новому сформулировал и развил так называемую катастрофическую теорию цивилизации, восходящую в Англии к Юму, а во Франции – к Тюрго. С этой точки зрения, климат и врожденные расовые черты, при всей их возможной важности в эволюции рас, оказали на создание существующих культурных различий лишь незначительное влияние. На самом деле расы и культуры, далеко не тождественные друг другу – и даже не являющиеся продуктом

---

\* Park R.E. Human migration and the marginal man // Park R.E. Race and culture. – Glencoe (IL): Free press, 1950. – P. 345–356. Статья была впервые опубликована в: American j. of sociology. – Chicago, 1928. – Vol. 33, N 6. – P. 881–893. Частичный перевод публиковался в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 1997. – № 3. – С. 167–176. Здесь публикуется полный перевод в новой редакции.

сходных условий и сил, — необходимо, возможно, противопоставлять друг другу как контрастные последствия, или результаты, антагонистических тенденций, а потому можно говорить, что цивилизация скорее расцветает за счет расовых различий, нежели консервируется ими. Во всяком случае, если расы действительно являются продуктом изоляции и узкородственного размножения, то столь же несомненно и то, что цивилизация, в свою очередь, есть следствие контакта и коммуникации. Силами, имевшими решающее значение в истории человечества, были силы, сводившие людей в плодотворной конкуренции, конфликте и кооперации.

В числе важнейших среди этих влияний — с точки зрения, которую я назвал катастрофической теорией прогресса, — были миграция, а также сопутствовавшие ей коллизии, конфликты и обусловленные ими смешения людей и культур.

«Каждый прорыв в культуре, — говорит в книге *“Промышленная эволюция”* Бюхер, — начинается, так сказать, с нового периода скитаний». В подтверждение этого тезиса он указывает на то, что старейшие формы торговли были сопряжены с миграцией и что первым ремесленным занятием, дабы освободиться от домашнего хозяйства и стать независимыми занятиями, приходилось перемещаться с места на место. «Великие основоположники религии, древнейшие поэты и философы, актеры и музыканты ушедших эпох — все они великие странники. Даже сегодня разве не странствуют изобретатель, проповедник новой доктрины и виртуоз с места на место в поисках приверженцев и почитателей, невзирая на колоссальное развитие, которое получили в последнее время средства передачи информации?»<sup>1</sup>

Влияния миграций, разумеется, не ограничивались только изменениями в существующих культурах. В долговременной перспективе миграции определяли и расовые характеристики исторических народов. Как отмечает Гриффит Тейлор, «все учение этнологии показывает, что народы смешанной расы являются правилом, а не исключением»<sup>2</sup>. Каждая нация при ближайшем рассмотрении оказывается более или менее успешным плавильным котлом. В географии человека этому постоянному просеиванию рас и народов было дано название «историческое движение», ибо, как говорит мисс Семпл в книге *«Влияния географической среды»*,

---

<sup>1</sup> *Bücher K. Industrial evolution.* — N.Y.: Holt, 1901. — P. 347.

<sup>2</sup> *Taylor G. Environment and race: A study of the evolution, migration, settlement, and status of the races of men.* — L.: Oxford univ. press, 1927. — P. 336.

«оно пронизывает чуть ли не всю письменную историю и составляет значительную часть истории, не зафиксированной в скрижалях, особенно истории диких и кочевых племен»<sup>1</sup>.

Изменения в расе, действительно, неизбежно следуют по прошествии какого-то времени за изменениями в культуре. За движениями и смешением народов, которые вызывают быстрые, внезапные и часто катастрофические изменения в обычаях и привычках, следуют со временем, как результат скрещивания, соответствующие изменения в темпераменте и телосложении. Вероятно, никогда не было так, чтобы расы жили вместе в тесных контактах, навязываемых общей экономикой, и чтобы соседство рас не порождало при этом расовые гибриды. Изменения в расовых характеристиках и культурных чертах происходят между тем с очень разными скоростями, и важно иметь в виду, что культурные изменения не закрепляются и не передаются биологически, а если и передаются, то лишь в очень незначительной степени. Приобретенные характеристики биологически не наследуются.

Авторы, подчеркивающие важность миграции как двигателя прогресса, неизменно приходят к приписыванию такой же роли войне. Так, Вайтц, рассуждая о роли миграции как двигателя цивилизации, указывает, что миграции «вначале редко бывают мирными по своей природе». О войне же он говорит: «Первым следствием войны является установление между народами фиксированных отношений, делающих возможным дружеское общение, — общение, важность которого вытекает больше из обмена знанием и опытом, чем из простого обмена товарами»<sup>2</sup>. Далее он добавляет:

«Где бы мы ни находили народ со сколько угодно высокой или низкой степенью цивилизации, не живущий в контакте и взаимодействии с другими, везде мы находим, как правило, некоторый застой, духовную инертность и недостаток активности, делающие изменение социального и политического состояния едва ли не невозможным. В мирные времена они передаются как неизбывная болезнь, а затем война, что бы ни твердили на этот счет апостолы мира, является как ангел-спаситель, пробуждая национальный дух и делая все силы более гибкими»<sup>3</sup>.

Среди авторов, понимающих исторический процесс в терминах мирных или вражеских вторжений одного народа во владения

---

<sup>1</sup> *Semple E.C.* Influences of the geographic environment. — N.Y. Holt, 1911. — P. 75.

<sup>2</sup> *Waitz T.* Introduction to anthropology. — L.: Longman, Green, Longman & Roberts, 1863. — P. 347.

<sup>3</sup> *Ibid.* — P. 348.

ния другого, необходимо упомянуть таких социологов, как Гумплович и Оппенгеймер. Первый, пытаясь отвлеченно определить социальный процесс, описал его как взаимодействие гетерогенных этнических групп, результатом которого становится господство и подчинение рас, конституирующее социальный порядок — т.е., по существу, общество.

Во многом также и Оппенгеймер в своем исследовании социологического происхождения государства продемонстрировал, как он сам считает, что в каждом случае исторические корни государства кроются в навязывании (через завоевание и применение силы) господства кочевников оседлым и земледельческим народам. Факты, которые Оппенгеймер собрал в поддержку своего тезиса, показывают, во всяком случае, что социальные институты, как минимум во многих случаях, возникали на самом деле скорее внезапно, посредством мутации, нежели в процессе эволюционного отбора и постепенного накопления относительно незначительных изменений<sup>1</sup>.

В первом приближении неочевидно, почему теория, настаивающая на важности катастрофических изменений в эволюции цивилизации, должна в то же время как-то принять в расчет и революцию как фактор прогресса. Но если мир и стагнация, как внушает нам Вайтц, имеют тенденцию принимать форму социальной болезни, если, по словам Самнера, «обществу нужно иметь внутри себя какой-нибудь фермент» для разрушения этой стагнации и высвобождения энергий индивидов, заключенных в существующем социальном порядке, то, видимо, какая-нибудь «безрасудная дурь» вроде средневековых крестовых походов или какой-то романтический энтузиазм вроде того, что нашел выражение во Французской революции или в более недавней большевистской авантюре в России, могут не менее эффективно, чем миграция или война, прервать рутину существующей привычки и разорвать ткань обычая. Революционные доктрины естественным образом держатся на концепции катастрофического, а не эволюционного изменения. Революционная стратегия, как она разработана и рационализирована в *«Размышлениях о насилии»* Сореля, делает великую катастрофу, всеобщую забастовку символом веры. Будучи

---

<sup>1</sup> *Oppenheimer F. The State: Its history and development viewed sociologically.* — Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1914.

таковой, она становится средством поддержания морального духа и насаждения дисциплины в революционных массах<sup>1</sup>.

Первая и самая очевидная разница между революцией и миграцией состоит в том, что в случае миграции крах социального порядка инициируется воздействием вторгающейся популяции и завершается контактом и смешением местных народов с чужеземными. В первом же случае революционный фермент и силы, разрушающие общество, обычно имеют — или кажется, что имеют, — свои истоки и корни главным образом, если не всецело, внутри, а не вне затронутого общества. Вряд ли можно успешно утверждать, что каждая революция, каждое *Aufklärung*, каждое интеллектуальное пробуждение и возрождение провоцировались и впредь будут провоцироваться каким-то популяционным вторжением или проникновением некой чужеродной культурной агентуры. Представляется, что этот взгляд нуждается по крайней мере в некоторой модификации, ибо с ростом торговли и коммуникации движения в абсолютном и относительном выражении становятся больше, а миграции меньше. Коммерция, связав все концы земного шара, сделала поездки относительно безопасными. Более того, с развитием машинной промышленности и ростом городов в круговорот вовлекаются товары, а не люди. Мелкий торговец, носящий на спине свою ношу с товаром, уступает место коммивояжеру, а каталог «товары — почтой» доходит теперь до таких далеких районов, куда редко, а то и вовсе не ступала нога корабейника-янки. С развитием мировой экономики и взаимопроникновением народов, как отмечает Бюхер, миграции изменили свой характер:

«Миграции, происходящие на заре истории европейских народов, — это миграции целых племен, длившееся столетиями вытеснение и выдавливание коллективных единиц с востока на запад. Миграции эпохи Средневековья всегда затрагивают только отдельные классы: рыцарей в крестовых походах, купцов, наемных работников, мастеров, жонглеров и менестрелей, крепостных крестьян, ищущих защиты в стенах городов. В противоположность этому, современные миграции — как правило, сугубо частное дело, и индивидами движут самые разнообразные мотивы. Они почти неизменно лишены организованности. Процесс, тысячекратно повторяющийся каждый божий день, объединен одной-единственной общей чертой: повсеместно речь идет об изменении местоположения (locality) лицами, ищущими более благоприятных жизненных условий»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sorel G. Reflections on violence. — N.Y.: Huebsch, 1914.

<sup>2</sup> Bücher K. Op. cit. — P. 349.



Миграция, которая в прошлом была вторжением, за которым следовало насильственное вытеснение или покорение одного народа другим, приобрела характер мирного проникновения. Иными словами, миграция народов превратилась в мобильность индивидов, а войны, столь часто вызываемые раньше этими движениями, приняли характер междоусобной борьбы; забастовки и революции следует рассматривать как особые типы последней.

Кроме того, если мы хотим учесть все формы, в которых совершаются катастрофические изменения, нам следовало бы включить сюда изменения, которые вызываются внезапным подъемом какого-то нового религиозного движения, например магометанства или христианства, зарождавшихся как раскольнические и сектантские движения, но ставших благодаря росту и внутренней эволюции самостоятельными религиями. Рассматриваемая с этой точки зрения, миграция принимает характер менее уникальный и исключительный, чем до сих пор думали авторы, которых данная проблема более всего занимала. Она оказывается всего лишь одной из форм, в которых могут происходить исторические изменения. Тем не менее, рассматриваемая на абстрактном уровне как тип коллективного действия, человеческая миграция повсеместно проявляет свойства, достаточно типичные для того, чтобы сделать ее предметом самостоятельного исследования и изучения как с точки зрения ее формы, так и с точки зрения последствий, которые она вызывает.

Миграция не тождественна, однако, простому перемещению. Она включает в себе как минимум изменение места жительства и разрушение домашних связей. Движения цыган и других народов-париев, поскольку они не влекут за собой никаких важных изменений в культурной жизни, следует рассматривать скорее как географический факт, чем как социальное явление. Кочевая жизнь стабилизируется на основе движения, и даже если цыгане кочуют сегодня на автомобилях, они все еще сохраняют в сравнительно неизменном виде свою древнюю племенную организацию и древние племенные обычаи. В результате их связь с сообществами, в которых они в тот или иной момент оказываются, должна описываться как скорее симбиотическая, нежели социальная. Обычно это оказывается верным и для любого другого незакрепленного и мобильного разряда или класса населения, например для хобо и обитателей отелей.

Миграция как социальное явление должна изучаться не только в плане ее крупных последствий, проявляющихся в изменении

обычаев и нравов, но может быть рассмотрена и в ее субъективных аспектах, выраженных в том изменившемся типе личности, который она производит. Когда вследствие контакта и столкновения с новой вторгшейся культурой рушится традиционная организация общества, результатом оказывается, так сказать, эмансипация индивидуального человека. Энергии, которые контролировались раньше обычаем и традицией, высвобождаются. Индивид становится свободным для новых приключений, но вместе с тем более или менее неуправляемым и неконтролируемым. Теггарт пишет об этом так:

«В результате крушения обычных способов действия и мышления индивид чувствует “избавление” от принуждений и ограничений, которым он был подчинен, и дает проявиться этому “избавлению” в агрессивном самоутверждении. Гипертрофированное выражение индивидуальности – одна из характерных примет всех эпох изменений. С другой стороны, изучение психологических последствий столкновения и контакта между разными группами открывает нам, что самый важный аспект “избавления” кроется не в освобождении солдата, воина или берсерка от ограничений конвенциональных способов действия, а в вызовлении индивидуального суждения из оков конвенциональных способов мышления. Таким образом, становится видно [добавляет он], что изучение *modus operandi* изменения во времени дает общую точку приложения сил для политических историков, историков литературы и идей, психологов, а также специалистов в области этики и теории воспитания»<sup>1</sup>.

Социальные изменения, по Теггарту, берут начало в событиях, которые «освобождают» индивидов, составляющих общество, но за этим освобождением в конце концов неизбежно следует реинтеграция освобожденных индивидов в новый социальный порядок. За это время успевают произойти – или, во всяком случае, вероятны – определенные изменения в характере самих индивидов. Они становятся в ходе этого процесса не просто эмансипированными, но просвещенными.

Эмансипированный индивид неизменно становится в каком-то смысле и в какой-то степени космополитом. Он приучается смотреть на мир, в котором он родился и вырос, с некоторой отстраненностью чужака. Короче говоря, он приобретает интеллек-

---

<sup>1</sup> Teggart F.J. Theory of history. – New Haven (CT): Yale univ. press, 1925. – P. 196.

туальную склонность. Зиммель описывал положение чужака в сообществе и его личность в терминах движения и миграции.

«Если блуждание по свету как освобождение от всякой данной точки в пространстве, — говорит он, — есть понятийная противоположность закрепления в той или иной точке, то социологическая форма чужака, разумеется, представляет союз обоих этих определений». Чужак останавливается на постой, но не поселяется. Он потенциальный странник. Это значит, что он не связан, как другие, локальными приличиями и условностями. «Он человек более свободный — и практически, и теоретически. Он видит свою связь с другими менее предвзято; он подводит их под более общие, более объективные стандарты и не скован в своем действии обычаям, почтением или прецедентами».

Следствием мобильности и миграции становится секуляризация отношений, которые прежде были сакральными. Этот процесс в его двояком аспекте можно, вероятно, описать как секуляризацию общества и индивидуацию персоны. В качестве сжатого, наглядного и аутентичного примера того, как миграция раннего типа, т.е. миграция народа, фактически вызвала крах прежней цивилизации и освободила народы, участвовавшие в создании позднейшего более секулярного и свободного общества, я предлагаю введение Гилберта Муррея к книге «Рождение греческого эпоса», в котором он пытается воссоздать события северного вторжения в Эгейский ареал.

Следствием его, говорит он, стал период хаоса:

«хаоса, в котором старая цивилизация расколота на фрагменты, ее законы обращены в ничто, а тонкая паутина нормальных ожиданий, составляющая самую суть человеческого общества, столь часто и неумолимо рвется непрерывными разочарованиями, что, в конце концов, вообще перестают существовать какие бы то ни было нормальные ожидания. У кочевых поселенцев в прибрежных районах, ставших впоследствии Ионией, а также отчасти в Дории и Эолии не осталось никаких племенных богов и никаких племенных обязательств, ибо не было уже никаких племен. Не было старых законов, ибо не было никого, кто мог бы провести их в жизнь или даже вспомнить; но только такие принуждения, которым отдавала свой выбор сильнейшая в данный момент власть. Семья и семейная жизнь исчезли, а вместе с ними и все их бесчисленные узы. Мужчина жил теперь не с женой, принадлежавшей к его собственной расе, а с опасной чужестранной женщиной, говорившей на чужом языке и поклонявшейся чужим богам, женщиной, мужа или отца которой он, возможно, убил — или которую, в лучшем случае, он купил у их убийцы как рабыню. Старый арийский земледelec,

как мы позже увидим, жил со своими стадами в своего рода семейных узах. Он забивал “своего брата быка” только в состоянии особого стресса или по определенным религиозным причинам и ожидал, что его женщины будут рыдать, когда осуществлялся забой. Теперь же он оставил свои стада где-то далеко, где они были истреблены его врагами. И жил за счет скота, доставшегося ему от чужаков, которых он ограбил или обратил в рабство. Он покинул могилы своих отцов, добрых духов, которые были с ним одной крови, принимали пищу из его рук и любили его. Теперь его окружали могилы умерших чужаков, странные духи, чьих имен он не знал, которые находились вне его контроля и которых он, в лучшем случае, пытался умиротворить, обуреваемый страхом и отвращением. Для него существовала лишь одна конкретная вещь, которая могла отныне стать центром его привязанности и дать место его старому семейному очагу, его богам, его племенным обычаям и святыням. Это была круговая каменная стена, *Полис*, – стена, которую он и его собратья, люди разных языков и вероисповеданий, объединенные чрезвычайной необходимостью, возвели, чтобы отгородить себя от мира врагов»<sup>1</sup>.

Именно в стенах полиса и в этой смешанной компании родилась греческая цивилизация. Вся тайна древнегреческой жизни, ее относительной свободы от грубых суеверий и страха перед богами связана, как нам говорят, с этим периодом перехода и хаоса, похоронившим старый примитивный мир и давшим начало более свободному и более просвещенному социальному порядку. Эмансипируется мысль, рождается философия, в противовес традиции и обычаю утверждается авторитет общественного мнения. Как говорит Гюйо, «грек с его празднествами, песнями и поэзией как будто бы воспекает в нескончаемом торжественном гимне вызволение человека из могущественных оков природы»<sup>2</sup>.

То, что вначале произошло в Греции, произошло с тех пор во всей остальной Европе, а в настоящее время происходит в Америке. Движение и миграция народов, экспансия торговли и коммерции и особенно происходящий в наше время рост городов-метрополисов, этих огромных плавильных котлов рас и культур, ослабили локальные узы, разрушили племенные и народные культуры и заменили локальные лояльности свободой городов, а

---

<sup>1</sup> Murray G. The rise of the Greek epic. – Oxford: Clarendon press, 1907. – P. 78–79.

<sup>2</sup> Guyot A.H. Earth and man. Цит. по: Thomas F. The environmental basis of society. – N.Y.: Century, 1921. – P. 205.

сакральный порядок племенного обычая – той рациональной организацией, которую мы называем цивилизацией.

В этих больших городах, где высвободились наружу все страсти и энергии рода человеческого, мы можем исследовать процессы цивилизации, так сказать, под микроскопом.

Именно в городах разрушаются старые клановые и родовые группы, а на их место приходит социальная организация, основанная на рациональных интересах и склонностях характера. Именно в городах, в частности, рождается то великое разделение труда, которое позволяет индивидуальному человеку и более или менее принуждает его сосредоточить свои энергии и дарования на той конкретной задаче, к выполнению которой он наиболее приспособлен, и тем самым освобождает его и его сотоварищей от власти природы и обстоятельств, которая всецело довлела над примитивным человеком.

Между тем процесс аккультурации и ассимиляции и сопровождающая его амальгамация расовых пород не всегда протекают одинаково легко и с одинаковой скоростью. В частности, там, где сходятся народы с разными культурами и сильно различающимися расовыми чертами, ассимиляция и амальгамация происходят не так быстро, как в других случаях. Все наши так называемые расовые проблемы возникают из ситуаций, когда ассимиляция и амальгамация не происходят вообще или происходят очень медленно. Как я уже некогда говорил, главным препятствием на пути к культурной ассимиляции рас являются не их разные ментальные склады, а несходство их физических черт. Японцы ассимилируются труднее, чем европейцы, не в силу какого-то особого менталитета. Это происходит потому, что

«японец несет в своих чертах отличительное расовое клеймо, носит на себе, образно говоря, расовую униформу, которая его классифицирует. Он не может стать просто индивидом, неотличимым от других в космополитической массе населения, как это могут сделать, например, ирландцы и, в меньшей степени, некоторые другие иммигрантские расы. Подобно негру, японец обречен оставаться среди нас абстракцией, символом – и символом не просто собственной расы, а Востока и той смутной, *неясной угрозы*, которую мы иногда называем “желтой опасностью”»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Park R.E. Racial assimilation in secondary groups // Publications of the American sociological society. – Chicago, 1914. – Vol. 8. – P. 71.

В таких условиях народы разных расовых происхождений могут жить бок о бок в отношениях симбиоза, играя каждый свою роль в общей экономике, но не скрещиваясь друг с другом в сколько-нибудь значительной степени; каждая группа, подобно цыганам или отверженным народам Индии, сохраняет более или менее полностью свою племенную организацию или свое общество. В Европе вплоть до настоящего времени такова была ситуация еврея, и несколько похожее отношение существует сейчас между коренным белым населением и индусскими населенными в Юго-Восточной Африке и Вест-Индии.

Однако в конечном счете народы и расы, живущие вместе, разделяя общую экономику, неизбежно смешиваются взаимными браками, и таким образом, если уж не каким-то другим, отношения между ними, являвшиеся прежде кооперативными и экономическими, становятся социальными и культурными. Когда миграция ведет к покорению, будь то экономическому или политическому, ассимиляция неизбежна. Народы-завоеватели насаждают покоренным народам свою культуру и свои стандарты, а далее следует период культурного эндосмоса.

Иногда отношения между покорившим и покоренным народами принимают форму рабства, иногда, как, например, в Индии, — форму кастовой системы. Но в любом случае господствующий и подчиненный народы становятся со временем неотъемлемыми частями одного общества. Рабство и каста — всего лишь формы аккомодации, в которых находит временное решение расовая проблема. С евреями дело обстояло иначе. Они никогда не были подчиненным народом, по крайней мере в Европе. Они никогда не низводились до положения низшей касты. В своих гетто, в которых они вначале сами решили, а затем вынуждены были жить, они сохраняли свои племенные традиции и культурную, если не политическую, независимость. Еврей, покидавший гетто, не просто бежал; он дезертировал, становясь проклятым объектом, отступником. Связь еврея из гетто с более широким сообществом, в котором он жил, была и отчасти остается до сих пор скорее симбиотической, чем социальной.

Однако когда стены средневекового гетто рухнули и еврею было позволено участвовать в культурной жизни народов, среди которых он жил, возник новый тип личности, а именно культурный гибрид — человек, живущий и заинтересованно участвующий в культурной жизни и традициях двух разных народов, не желающий полностью порвать, даже если бы ему это было позволено, со

своим прошлым и своими традициями и не вполне принимаемый, в силу расовых предрассудков, в то новое общество, в котором он теперь пытался найти себе место. Он был человеком на границе двух культур и двух обществ, которые никогда не взаимопроникали и не смешивались полностью. Эмансипированный еврей исторически и типически был и остается маргинальным человеком, первым космополитом и гражданином мира. Он по преимуществу является тем «чужаком», которого Зиммель, сам еврей, проникательно и со знанием дела описал в «*Soziologie*». Большинство качеств еврея, если не все, — незаурядное мастерство в торговле, острое интеллектуальное любопытство, искушенность, идеализм и отсутствие исторического чувства — суть характеристики городского человека, человека, который всюду путешествует, живет преимущественно в отеле, короче говоря, космополита. Автобиографии еврейских иммигрантов, обильно публиковавшиеся в последние годы в Америке, являют нам разные версии одной и той же истории: истории маргинального человека, который, выйдя из гетто, в котором он жил в Европе, пытается найти себе место в более свободной, сложной и космополитичной жизни американского города. Из этих автобиографий можно узнать, как реально протекает в индивидуальном иммигранте процесс ассимиляции. В более чутких душах его последствия так же глубоки и волнующи, как некоторые из религиозных обращений, классическое описание которых было дано Уильямом Джеймсом в «Многообразии религиозного опыта». В этих автобиографиях конфликт культур, развертывающийся в душе иммигранта, явлен как конфликт «разделенного Я»: Я старого и Я нового. Часто удовлетворительного разрешения этого конфликта не достигается, и он находит завершение в глубоком разочаровании, которое описывается, например, в автобиографии Левисона «Вверх по течению». Беспокойные метания Левисона между теплой безопасностью гетто, которое он покинул, и холодной свободой внешнего мира, в котором он пока еще не чувствует себя как дома, типичны. Столетие назад в схожей роли оказался *Генрих Гейне*, раздираемый теми же конфликтующими лояльностями и борющийся за то, чтобы быть одновременно немцем и евреем. Как отмечает новейший его биограф, тайна и трагедия жизни Гейне состояла в том, что случай обрек его жить в двух мирах, ни к одному из которых он никогда не принадлежал полностью. Именно это наполнило горечью его интеллектуальную жизнь и наложило на его сочинения ту печать духовного конфликта и нестабильности, которая свидетельствует, по словам Брауна, о «духов-

ном страдании». Его душе не доставало цельности, основанной на внутренней уверенности: «Руки его были слабы, [продолжим цитату] ибо разум его был расколот; руки его дрожали, ибо в смятении пребывала его душа».

Схожее чувство моральной раздвоенности и конфликта присуще, вероятно, каждому иммигранту в период перехода, когда старые привычки отбрасываются, а новые еще не сформировались. Это неизбежно период внутренней неустроенности и интенсивного самоосознания.

Несомненно, почти у *всех* нас в жизни бывают периоды перехода и кризиса, сопоставимые с теми, которые переживает иммигрант, покинув дом в поисках удачи в чужой стране. Но в случае маргинального человека период кризиса сравнительно постоянен. Поэтому он тяготеет к превращению в особый личностный тип. Обычно маргинальный человек — это человек смешанных кровей, как, например, мулат в США или евразиец в Азии; но это, видимо, лишь потому, что такой человек живет в двух мирах, в каждом из которых он более или менее чужой. Прозелит в Азии или Африке проявляет многие, если не большинство черт маргинального человека: ту же духовную неустойчивость, обостренное самосознание, беспокойство и *malaise*.

Именно в душе маргинального человека моральное смятение, обусловленное новыми культурными контактами, проявляется в наиболее явных формах. И именно в душе маргинального человека, в которой совершается изменение и сплавление культур, нам легче всего изучать процессы цивилизации и прогресса.



## КУЛЬТУРНЫЙ КОНФЛИКТ И МАРГИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК\*

Уильям Грэм Самнер в, вероятно, чаще всего цитируемом месте своей книги *«Народные обычаи»* говорит нам, что примитивное общество надлежит понимать как скопление небольших территориально рассеянных этноцентрических групп. В таком обществе каждая группа мыслит о себе в первом лице и считает себя «центром всего». Это «мы-группа». Другие – аутсайдеры. Они – часть окружающего ландшафта.

Размер такой группы определяется «условиями борьбы за существование. Внутренняя организация каждой группы соответствует ее размеру, но кроме того, обуславливается ее отношениями со всеми другими. Именно поэтому порядок и дисциплина в каждой “мы-группе”, или “ин-группе”, зависят от потребностей войны и мира с “они-группами”, или “аут-группами”». Таким образом, общество, по крайней мере примитивное, оказывается «группой групп», в которой нормальными отношениями между каждой группой и любой другой являются «отношения войны и грабежа, если только они не модифицированы какими-нибудь соглашениями». В таких обстоятельствах «отношения товарищества и мира в мы-группе и отношения враждебности и войны с они-группами соотносятся друг с другом». Лояльности, связывающие воедино членов маленького мира – мира семьи, клана и племени, – прямо пропорциональны силе тех чувств страха и ненависти, с которыми они

---

\* Статья представляет собой предисловие к книге Э.В. Стоунквиста «Маргинальный человек»: *Park R.E. Preface // Stonequist E.V. The marginal man.* – N.Y.: Scribner's sons, 1937. – P. XIII–XVIII. Частичный перевод ранее публиковался в: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 1998. – № 2. – С. 172–175. Полный перевод публикуется впервые.

смотрят на своих врагов и соперников в окружающем их более широком межплеменном и международном мире.

В ходе долгого исторического процесса, из которого возник современный мир, эта картина примитивного общества постепенно изменилась. Теперь, когда аэроплан почти уничтожил расстояния, некогда разделявшие нации и народы, а радио превратило мир в одну огромную перешептывающуюся галерку, на месте маленького мира, мира интимных личных привязанностей, в котором людей связывали традиция, обычай и естественная почтительность к старшим, вырос великий мир — межплеменной, межрасовый и межнациональный, мир бизнеса и политики.

Тем не менее общие паттерны примитивного общества все еще сохраняются, и человеческая природа в целом остается такой же, какой была всегда. По утверждению Кули, до сих пор именно в семье и под влиянием племени, секты или локального сообщества индивид приобретает привычки, чувства, установки и прочие личностные черты, которые характеризуют его как человека.

С другой стороны, именно рынок, где люди из дальних мест собираются вместе поспорить и поторговаться, был и остается местом, где люди впервые приучаются к тонкостям коммерции и обмена, познавая необходимость холодного расчета, в том числе в человеческих отношениях, и индивидуальную свободу действовать на основе интересов, а не чувств. Фактически именно с экспансией рынка расцвела интеллектуальная жизнь, а локальные племенные культуры постепенно встроились в тот более широкий и более рациональный социальный порядок, который мы именуем цивилизацией.

Так, широкая экспансия Европы привела за последние четыре столетия к таким разрушительным изменениям, каких еще никогда не видела мировая история. Европейцы проникли во все закоулки мира; ни одному уголку земного шара не удалось избежать дестабилизирующих, пусть и живительных, контактов с европейской коммерцией и культурой. Перемещения и миграции, сопутствовавшие этой экспансии, всюду вызвали взаимопроникновение народов и смешение культур. Помимо прочего, в определенное время и в определенных условиях сложился особый личностный тип, если и не совсем новый, то во всяком случае специфически характерный для современного мира. Это тот тип, который некоторые из нас, включая автора этой книги, называли «маргинальным человеком».

Маргинальный человек, как он здесь понимается, — это человек, которого судьба обрекла жить в двух обществах и в двух не просто разных, а антагонистичных культурах. Так, индивид, у кото-

рого мать еврейка, а отец гой, фатально обречен расти под влиянием двух традиций. В данном случае можно говорить, что его разум – плавильный тигель, где плавятся и целиком или частично сплавляются две разные и невосприимчивые друг к другу культуры. Индивидов, вовлеченных в этот конфликт культур, встречаешь в самых невероятных местах.

Читатели *«Последнего пуританина»* Джорджа Сантаяны не могут не заметить – даже если бы подзаголовок «Воспоминание в форме романа» это не рекламировал, – что история, которая в нем рассказывается, хотя и не является автобиографией, все же в каком-то тонком и символическом смысле автобиографична. Очевидно, что два главных персонажа, Оливер и Марио, служат символами двух культур, которые автор соединил в своем лице, а почти мистическая дружба, которая вопреки разнице темпераментов и традиций их объединяет, указывает на то, сколь тесно были связаны традиции, ими представляемые, в сознании автора.

В эпилоге автор называет роман «притчей», а Марио, с которым он представляет себя обсуждающим смысл этой притчи, добавляет, что «тут содержится, пожалуй, лучшая философия, чем в других твоих книгах».

Возможно, наилучшая философия – это та, которая, как у Платона, находит свое наиболее полное и счастливое выражение в притчах. Во всяком случае, философия того или иного человека всегда есть аспект, если не неотъемлемая часть, его личности, и в философии Сантаяны отражается воздействие на ум, сознающий конфликт в своих естественных лояльностях, попытки достичь внутренней гармонии и согласованности – гармонии и согласованности, принципиально необходимой для той «жизни ума», которую он столь убедительно демонстрировал в своих книгах.

Сантаяна родился в Испании, у родителей-испанцев, но судьба распорядилась так, чтобы он получил образование и прожил большую часть жизни в Америке и Англии. Из его описания жизни в Бостоне видно, что там со своей матерью, как и в Испании со своим отцом, он чувствовал себя более или менее чужим, живя с постоянным осознанием иной традиции и тесных, неразрушимых связей с другим, отличным от того, в котором он жил, миром. В сущности, как в Испании, так и в Америке его жизнь, по видимому, была жизнью типичного «чужака», каким его описал Зиммель в своей *«Социологии»*, – иными словами, человека, живущего в тесной ассоциации с окружающим миром, но никогда не отождествляющегося с ним настолько полно, чтобы быть неспо-

собным глядеть на него с некоторой критической отстраненностью. В случае Сантаяны эта отстраненность стала, по выражению Эдмана, интимным, но «сочувственным пониманием» своего мира.

В статье, представленной на симпозиум по современной американской философии, Сантаяна<sup>1</sup> описал «смешанные ассоциации», под воздействием которых рождались его «мнения», подверженные давлению его «сложных привязанностей». Он говорит: «Мою философию можно рассматривать как синтез этих разных традиций, или как попытку увидеть их с того уровня, на котором их разнородные вердикты можно верно понять».

Чуть дальше он добавляет по поводу самого себя: «В Испании я чувствовал себя иностранцем даже еще острее, чем в Америке, хотя и по более тривиальной причине... Английский язык стал для меня единственным возможным инструментом общения, и я намеренно отказывался от всего, что могло меня смутить в этом средстве. Английский язык, как и вся англосаксонская традиция литературы и философии, всегда был для меня скорее средством, чем объектом познания, и любого рода учение казалось мне средством, а не целью... Таким образом, отказываясь от всего прочего в пользу английских букв, я, можно сказать, без всякого умысла был повинен в маленькой стратегической хитрости, словно у меня было намерение правдоподобно сказать по-английски как можно больше неанглийских вещей»<sup>2</sup>.

«Последний пуританин», будь это «косвенная автобиография» автора, как полагает Эдман, или философия в форме притчи, как внушает нам сам Сантаяна, в любом случае является для исследователя человеческой природы человеческим документом, в котором ясно отражаются конфликт и сплавление культур, как они действительно происходят при некоторых обстоятельствах и в некоторых сознаниях.

Фундаментальной идеей, на которую опирается это исследование так называемого маргинального человека, является, я бы сказал, убеждение в том, что личность индивида, хотя и базируется на инстинктах, темпераменте и эндокринном балансе, обретает свою окончательную форму под влиянием представления индивида о себе. Представление, которое каждый индивид неизбежно сам о себе формирует, определяется ролью, которую судьба уготовила ему играть в

---

<sup>1</sup> The philosophy of Santayana / Ed. by I. Edman. — N.Y.: Scribner's sons, 1936. — P. 1–20.

<sup>2</sup> Ibid. — P. 4–5.

некотором обществе, а также мнением и установкой, которые формируют относительно него в этом обществе другие люди; короче говоря, оно зависит от его социального статуса. Представление индивида о себе есть в этом смысле не индивидуальный, а социальный продукт.

Маргинальный человек – это личностный тип, возникающий там и тогда, где и когда из конфликта рас и культур рождаются новые общества, народы и культуры. Та же судьба, которая обрекла его жить одновременно в двух мирах, принуждает его принять в отношении миров, в которых он живет, роль космополита и чужака. На фоне своей культурной среды он неизбежно становится индивидом с более широким кругозором, более острым интеллектом, более отстраненной и рациональной точкой зрения. Маргинальный человек – всегда человек сравнительно более цивилизованный. Он занимает положение, исторически характерное для еврея в Диаспоре. Еврей, особенно вышедший из провинциализма гетто, всегда и везде был наиболее цивилизованным из человеческих созданий.

Из всего сказанного можно заключить, что маргинальный человек – случайный продукт процесса аккультурации, неизбежно возникающий, когда народы разных культур и разных рас сходятся, чтобы вести общую жизнь. Как я предположил, он есть следствие экономического, политического и культурного империализма, или побочный результат того процесса, посредством которого, как говорил Шпенглер, на месте древних и более простых культур вырастает цивилизация<sup>1</sup>.

В конечном счете и в основе своей книга *«Маргинальный человек»* посвящена не столько типу личности, как можно было бы судить по названию, сколько социальному процессу – процессу аккультурации. Отличие здесь в том, что в последнем случае автор решает исследовать процесс не столько с точки зрения человека, сколько с точки зрения общества, частью которого тот является; [тогда как в первом исследовании проводилось бы]\* не столько с точки зрения обычая и культуры, сколько с точки зрения привычки и личности.

---

<sup>1</sup> См. книгу Освальда Шпенглера *«Закат Европы»*.

\* Вставка сделана переводчиком; без нее это место у Парка теряет внутреннюю логику.

## ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ\*

### І. Борьба за существование

У газеты есть история; но при этом у нее есть и естественная история. Пресса, какой мы ее знаем, не является, как, видимо, иногда полагают наши моралисты, преднамеренным продуктом деятельности небольшой группы живых людей. Напротив, она есть результат исторического процесса, в котором многие индивиды участвовали, не предвидя, каким будет конечный результат их труда.

Как и современный город, газета — не всецело рациональный продукт. Никто не стремился сделать ее такой, какой она стала. Несмотря на все попытки отдельных людей и целых поколений поставить ее под контроль и привести в согласие со своими сердечными устремлениями, она продолжала расти и меняться собственными неисповедимыми путями.

Тип газеты, который сегодня есть, — это тип, выживший в условиях современной жизни. Люди, которых можно назвать творцами современной газеты, — Джеймс Гордон Беннет, Чарльз А. Дана, Джозеф Пулитцер и Уильям Рэндольф Херст, — это люди, открывшие такой вид газеты, который мужчины и женщины стали бы читать, и имевшие смелость издавать его.

Естественная история прессы есть история этого выжившего вида. Это отчет об условиях, в которых выросла и обрела форму существующая газета.

---

\* *Park R.E. Natural history of the newspaper // Park R.E. Society, collective behavior, news and opinion, sociology and modern society. — Glencoe (IL): Free press, 1955. — P. 89–104. Статья впервые опубликована в: American j. of sociology. — Chicago, 1923. — Vol. 29, N 3. — P. 80–98. Перевод впервые опубликован в журнале: Социальные и гуманитарные науки. Сер. ІІ, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. — М., 2002. — № 3. — С. 136–153. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.*

Газета не просто печатается. Она распространяется и прочитывается. В противном случае это не газета. Борьба за существование в случае газеты была борьбой за распространение (circulation). Газета, которую не читают, перестает влиять на сообщество. Мощество прессы можно приблизительно измерить числом людей, которые ее читают.

Рост крупных городов необычайно увеличил численность читающей публики. Чтение, которое в деревнях было роскошью, в городе стало необходимостью. В городской среде грамотность — почти такая же необходимость, как и сама речь. Это одна из причин, по которой у нас так много газет на иностранных языках.

Марк Вильчур, редактор *«Русского слова»*, издаваемого в Нью-Йорке, спросил у своих читателей, многие ли из них читали газеты в родной стране. Выяснилось, что из 312 читателей, приславших ему ответы, регулярно читали газеты в России только 16; еще 10 время от времени читали газеты в волости, сельском административном центре, и 12 выписывали еженедельные журналы. В Америке все они стали подписчиками или читателями русских газет.

Это любопытно, ведь иммигрант, прежде всего и в конце концов, глубоко повлиял на характер наших местных газет. Проблема вовлечения иммигранта и его потомков в круг читателей прессы стала одной из проблем современной журналистики.

Иммигрант, видимо, приобретший привычку к газетам вследствие чтения газет на родном языке, в конце концов потянулся к местной американской прессе. Для него она стала окном в более широкий мир, выходящий за пределы узкого круга иммигрантского сообщества, в котором он вынужден жить. Газеты открыли, что даже те, кто, похоже, способен прочесть в ежедневной прессе лишь заголовки, будут покупать воскресные газеты, чтобы поглазеть на картинки.

Говорят, самая успешная газета Херста; *«New York Evening Journal»*, каждые шесть лет завоевывает новый круг подписчиков. Похоже, она добывает читателей в основном среди иммигрантов. Они переходят на газеты мистера Херста после чтения прессы на родном языке, а когда сенсационность этих газет начинает приедаться, приобретают вкус к более строгим изданиям. Во всяком случае, мистер Херст оказался великим американизатором.

В попытках сделать газету доступной самому неподготовленному читателю, выявить в ежедневном новостном материале такой, который заставит содрогнуться даже самый грубый интеллект, издатели сделали одно важное открытие. Выяснилось, что

разница между высоколобымыми и невзыскательными, раньше казавшаяся глубокой, является по большей части разницей в словарном запасе. Короче говоря, если пресса сможет сделаться понятной простому человеку, то с тем, чтобы быть понятной интеллектуалу, проблем почти не будет. На характер сегодняшних газет глубоко повлиял этот факт.

## II. Первые газеты

Что такое газета? На этот вопрос давалось много ответов. Это трибуна народа, четвертое сословие, оплот наших гражданских свобод и т.д.

С другой стороны, эту же газету характеризовали как великого софиста. То, что бродячие учителя в эпоху Сократа и Платона сделали для Афин, для простого человека в наше время делает газета.

Современную газету винили в том, что это деловое предприятие. «Да, — соглашаются газетчики, — и товаром, который она продает, являются новости». Это магазин истины (а редактор — философ, ставший торговцем). Благодаря тому что газета сделала информацию о нашей общей жизни доступной каждому индивиду за цену ниже цены телефонного звонка, мы получаем — даже, как утверждают, в сложной и запутанной жизни того, что Грэм Уоллес назвал «Великим Обществом», — своего рода работающую демократию.

Представление менеджера по рекламе опять-таки несколько иное. Для него газета — средство создания рекламных ценностей. Дело редактора — обеспечить оболочку, заключающую в себе пространство, которое продает рекламный агент. В конце концов, газету можно представить как своего рода общий носитель сообщений, наподобие железной дороги или почты.

По мнению автора «*Грошового чека*» (на мой взгляд, требуется более подробный комментарий), газета — это преступление. Чек — символ проституции. «Каждую неделю вы получаете в конверте денежный чек, вы, писавшие, печатавшие и распространявшие газеты и журналы! Чек — вот цена вашего позора, вы, загребающие в свои руки всю истину и продающие ее на рынке, вы, предавшие невинные упования человечества и препроводившие их в тошнотворный бордель большого бизнеса».

---

\* Альтернативный перевод этого фрагмента и комментарий по поводу символических коннотаций «грошового чека» см.: *Липпман У. Общественное мнение*. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — С. 314. — *Прим. перев.*



Такова концепция моралиста и социалиста Эптона Синклера.

Газета явно представляет собой институт, который пока еще до конца не поняли. Что она собой представляет или чем кажется каждому из нас в тот или иной момент времени, определяется нашими различающимися точками зрения. По сути, о газете мы знаем не так уж много. Ее никогда не изучали.

Одна из причин того, почему мы знаем о газете так мало, состоит в том, что в том виде, в каком она существует сегодня, она появилась совсем недавно. Кроме того, в ходе своей относительно недолгой истории она прошла через ряд примечательных трансформаций. Между тем пресса сегодня – это все, чем она была до сих пор, и кое-что еще. Чтобы ее понять, мы должны взглянуть на нее в исторической перспективе.

Первыми газетами были рукописные или печатные письма, называемые *newsletters*<sup>\*</sup>. В XVII в. английские сельские джентльмены повадились нанимать корреспондентов, которые раз в неделю писали им из Лондона и передавали сплетни, ходившие при дворе и в городе.

Первой газетой в Америке – по крайней мере, такой, издание которой не ограничилось первым выпуском, – была «*Boston News-Letter*». Она издавалась почтмейстером. Сельская почта всегда была местом, где собирались люди и обсуждались все дела нации и сообщества. Следовало ожидать, что если где-то и должна была родиться газета, то именно здесь, в предельной близости к источникам информации. Долгое время должность почтмейстера и профессия редактора рассматривались как неотделимые друг от друга.

Первые газеты были просто орудиями организации сплетен; таковыми они в большей или меньшей степени и остаются. Совет, который Хорас Грили дал другу, собравшемуся наладить выпуск сельской газеты, сегодня так же хорош, как и тогда, когда он был дан.

«Начать надо с ясного понимания того, что предметом глубочайшего интереса для среднего человека является он сам; вторым по значимости является его интерес к соседям. Азия и острова Тонга находятся на самой дальней периферии его внимания. Мне кажется, что большинство сельских вестников забывают эти жизненно важные истины. Если вы так быстро, как только сможете, подыщите себе в каждой деревне и в каждом городишке вашего округа бдительного, рассудительного корреспондента, какого-нибудь молодого юриста, доктора, продавца в местной лавке или помощника на почте, который будет своевременно сообщать

---

<sup>\*</sup> Еженедельные письма с новостями, рассылавшиеся по подписке в XVI–XVII вв. – *Прим. перев.*

вам обо всем, что происходит в данный момент в его населенном пункте, и если будете наполнять по крайней мере половину вашего вестника собранным таким образом местным материалом, никто в округе не сможет долго без него обойтись. Не допускайте, чтобы организовывалась новая церковь или в уже существующую входили новые члены, чтобы продавалась какая-то ферма, возводился новый дом, запускалась новая мельница, открывался магазин или происходило еще что-нибудь интересное для десятка семей без того, чтобы этот факт не находил надлежащего, пусть и короткого освещения в вашей колонке новостей. Если фермер спиливает большое дерево, выращивает гигантскую свеклу или собирает невиданный урожай пшеницы или кукурузы, осветите этот факт добросовестно и непредвзято, как только возможно».

То, что Грили советует другу Флетчеру делать с его сельской газетой, до сих пор пытается делать, насколько это в человеческих силах, редактор каждой городской газеты. В городе с населением свыше 3 млн. человек практически невозможно упомянуть имя каждого. Поэтому внимание сосредоточивается на немногих видных фигурах. В городе, где ежедневно происходит чуть ли не все, невозможно отразить каждый мелкий инцидент, каждое отклонение от рутины городской жизни. Однако можно отобрать некоторые особенно яркие или романтические происшествия и подойти к ним символически, с точки зрения их увлекательности для человека вообще, а не их индивидуальной и личной значимости. Так новость перестает быть всецело личной и облекается в форму искусства. Она перестает быть отчетом о деяниях отдельных людей и становится безличным описанием нравов и жизни.

Сознательный или бессознательный мотив авторов и прессы при этом состоит в том, чтобы воспроизвести в городе, насколько возможно, условия сельской жизни. В деревне каждый знал каждого. Каждый звал каждого по имени. Деревня была демократична. Мы — нация сельчан. Наши институты в основе своей — сельские институты. В деревне же основными источниками социального контроля были сплетни и общественное мнение.

Томас Джефферсон говорил: «Я предпочел бы жить в стране с газетами и без правительства, нежели в стране с правительством, но без газет».

Если общественное мнение должно править в будущем так же, как и в прошлом, и если мы предлагаем поддерживать демократию, как понимал ее Джефферсон, то газета должна продолжать рассказывать нам о нас самих. Надо как-нибудь научиться знать наше сообщество и его дела так же близко, как мы знали их в

сельских поселениях. Газета должна и дальше оставаться печатным дневником домашнего сообщества. Браки и разводы, преступления и политика должны и дальше составлять основную массу наших новостей. Местные новости есть та самая глина, из которой слеплена демократия.

Но именно в этом, по Уолтеру Липпману, и заключается проблема. Он пишет: «В том виде, в каком сегодня организована общественная истина, пресса не пригодна к тому, чтобы предоставлять от одного издания к другому тот объем знания, которого требует демократическая теория общественного мнения... Когда мы ожидаем от нее такого свода истины, мы пользуемся при вынесении суждения ошибочным стандартом. Мы не понимаем ограниченность новостей и безграничную сложность общества; мы переоцениваем собственную стойкость, общественный дух и кругозор. Мы предполагаем в себе тягу к неинтересным истинам, которой не обнаруживает никакой честный анализ наших вкусов... Не ведая того, теория полагает единичного читателя теоретически некомпетентным и возлагает на прессу бремя совершения всего того, чего не смогли совершить представительное правительство, промышленная организация и дипломатия. Воздействуя на каждого на протяжении получаса в сутки, пресса получает заказ на создание мистической силы, называемой “общественным мнением”, которая должна компенсировать бездействие общественных институтов»<sup>1</sup>.

Очевидно, что газета не может сделать для сообщества численностью миллион жителей то, что спонтанно делала для себя деревня посредством сплетен и личного контакта. Тем не менее попытки газеты достичь этого невозможного результата составили интересную главу в истории как прессы, так и политики.

### III. Партийные газеты

Первые газеты, называвшиеся подписными письмами, не были партийными газетами. Политические вестники стали вытеснять подписные письма в начале XVIII в. Новостями, которые в то время больше всего интересовали читающую публику, были отчеты о дебатах в парламенте.

Еще до появления партийной прессы некоторые любопытствующие завели привычку посещать балкон для посторонних во

---

<sup>1</sup> *Lippman W. Public opinion.* — N.Y.: Free press, 1922. — P. 361–362. (Ср.: *Липпман У.* Указ. соч. — С. 335–336.)

время заседаний Палаты общин, дабы затем по памяти или на основе тайком сделанных записей писать отчеты о выступлениях и дискуссиях во время важных дебатов. В это время все парламентские дискуссии были секретными, и лишь столетие спустя право репортеров посещать заседания Палаты общин и записывать ход обсуждения было наконец официально признано. А тем временем репортерам приходилось для получения информации прибегать ко всевозможным уловкам и окольным методам. На добытой таким образом информации и базируется во многом история английской политики, какой мы ее сегодня знаем.

Одним из виднейших парламентских репортеров того времени был Сэмюэл Джонсон. Рассказывают, что в 1770 г. Джонсон в компании других знаменитостей присутствовал однажды на званом обеде в Лондоне. Речь зашла о выступлениях в парламенте. Кто-то заговорил о знаменитой речи, с которой выступил в 1741 г. в Палате общин Питт-старший. Кто-то еще под аплодисменты собравшихся процитировал отрывок из этой речи как образец, превосходящий по чувству языка и красоте слога лучшие образцы ораторского искусства древности. Тогда слово взял Джонсон, до этого момента не принимавший участия в дискуссии. «Эту речь написал я, — сказал он, — на чердаке на Эксетер-стрит».

Гости застыли в недоумении. Его спросили: «Ну и как же она могла быть написана вами, сударь?»

«Сэр, — ответил Джонсон, — я написал ее на Эксетер-стрит. Я никогда не был на галерке в Палате общин, только раз. Кейв пользовался авторитетом у привратников; он и его люди получили доступ внутрь; они выносили темы дискуссий, имена выступавших, сведения о том, кто чью сторону принимал и в каком порядке они выступали, вместе с заметками о доводах, к которым те прибегали в ходе дебатов. Все это потом передавали мне, и я сочинял речи в том виде, в каком они теперь опубликованы в “Парламентских дебатах”, ведь все речи того времени перепечатаны из журнала Кейва»<sup>1</sup>.

Кто-то принялся хвалить беспристрастность Джонсона, говоря, что он в своих репортажах, похоже, поровну делил ум и красноречие между обеими политическими партиями. «Не совсем так, — ответил Джонсон. — Я старался особо не выделять ни тех, ни других, но все-таки заботился о том, чтобы виги не выглядели в споре лучшими».

---

<sup>1</sup> MacDonagh M. The reporter's gallery. — L.: Hodder & Stoughton, 1913. — P. 139–140.

Эта речь Уильяма Питта, сочиненная Джонсоном на Эксетер-стрит, давно заняла место в школьных учебниках и собраниях речей. Это как раз та знаменитая речь, в которой Питт ответил на обвинение в «ужасном преступлении быть молодым человеком».

Возможно, Питт считал, что эту речь произнес он. Во всяком случае, нет сведений, чтобы он от нее отказывался. Я мог бы добавить, что Питт – первый, но далеко не последний государственный деятель, обязанный репутацией оратора репортерам.

Значимо в этом примере то, что он иллюстрирует, как под влиянием парламентских репортеров произошло что-то вроде конституционного изменения в характере парламентского правления. Как только парламентские ораторы поняли, что обращаются не только к коллегам-парламентариям, но и косвенно, через прессу, к народу Англии, полностью изменился сам характер парламентских прений. Благодаря газетам вся страна получила возможность участвовать в спорах, в которых формулировались проблемы и принимались законы.

Тем временем газеты под влиянием подстегиваемых ими дискуссий стали партийными органами. Отныне партийная пресса перестала быть просто хроникой мелких сплетен и стала тем, что мы знаем как «дневник мнений». Редактор, в прошлом лишь сплетник и скромный летописец событий, обнаружил, что теперь он рупор политической партии, играющий свою роль в политике.

В ходе длительной борьбы за свободу мысли и слова в XVII в. массовое недовольство находило литературное выражение в памфлете и прокламации. Самым знаменитым памфлетистом того времени был Джон Мильтон, а самым известным из памфлетов – мильтоновская *«Ареопагитика: В защиту свободы нелегализованной печати»*, увидевшая свет в 1646 г. и названная Генри Морли «благороднейшим образцом английской прозы».

Когда в начале XVIII в. газета стала дневником мнений, она взяла на себя функцию политического памфлета. Мнение, прежде находившее выражение в прокламации, теперь выражалось в форме редакторских передовиц. Автор передовиц, унаследовавший тогу памфлетиста, приобрел теперь роль народного трибуна.

Именно в этой роли, роли защитницы народного дела, газета овладела воображением нашей интеллигенции.

Когда мы видим в политической литературе прошлого поколения ссылки на «власть прессы», имеются в виду именно редактор и редакционная статья, а не репортер и новости. Даже теперь, когда мы говорим о свободе прессы, речь идет о свободе выражать

мнение, а не о свободе расследовать и обнародовать факты. Деятельность репортера, на которую обычно опирается любое мнение, релевантное существующим условиям, чаще оценивается как нарушение наших личных прав, а не как осуществление наших политических свобод.

Свобода прессы, в защиту которой Мильтон написал «Ареопагитику», была свободой выражать мнение. «Дайте мне, – говорил он, – прежде других свобод свободу знать, меняться и свободно рассуждать в согласии с совестью».

Карлейль имел в виду главного редактора, а не репортера, когда писал: «Сколь велика журналистика! Разве не является любой способный редактор повелителем мира, когда он в чем-то его убеждает?»

Соединенные Штаты унаследовали свое парламентское правление, свою партийную систему и газеты от Англии. Роль, которую политические вестники играли в английской политике, была воспроизведена и в Америке. В борьбе колоний за независимость американские газеты были силой, с которой британскому правительству приходилось считаться. Когда британцы взяли Нью-Йорк, Амброз Серль, решившийся издавать «*New York Gazette*» в интересах захватчиков, писал лорду Дартмуту относительно патриотической партийной прессы:

«Среди прочих двигателей, вызвавших нынешние волнения, после нечестивых речуг проповедников ничто не имело такого широкого и мощного влияния, как газеты соответствующих колоний. Поразительно видеть, с какой живостью за ними охотятся и как в глубине души им верят огромные массы народа»<sup>1</sup>.

Примерно столетие спустя в лице Хораса Грили, редактора «*New York Tribune*» в пору борьбы против рабства, дневник мнений достиг в Америке наивысшего расцвета. У Америки были газетчики и получше Хораса Грили, но, пожалуй, ничьи мнения не пользовались настолько широким влиянием. «“*New York Tribune*”, – говорит Чарльз Фрэнсис Адамс, – была в эти годы величайшим фактором экономического и нравственного просвещения из всех, какие когда-либо знала наша страна».

---

<sup>1</sup> *Payne G.H. History of journalism in the United States.* – N.Y.: Classic books, 1920. – P. 120.

#### IV. Независимая пресса

Могущество прессы, представленное прежним типом газеты, покоилось в конечном счете на способности редакторов создать партию и возглавить ее. Дневнику мнений самой его природой было уготовано стать органом какой-нибудь партии или, по крайней мере, рупором какой-нибудь школы.

Пока политические деятельности были организованы на основе сельской жизни, партийная система работала. В деревенском сообществе, где жизнь была и все еще остается относительно застывшей и неизменной, обычай и традиция удовлетворяли большинство нужд повседневной жизни. В таком сообществе, где каждое отклонение от обычной рутины жизни было предметом наблюдения и комментариев, а все факты были известны, политический процесс был, во всяком случае, делом сравнительно простым. В таких условиях работа газеты как собирателя и толкователя новостей была всего лишь расширением функции, которая и так спонтанно выполнялась бы самим сообществом через посредство личных контактов и сплетен.

Но по мере того как росли наши города и жизнь все более усложнялась, выяснилось, что политические партии, чтобы выжить, должны иметь постоянно действующую организацию. Со временем партийный дух стал значить больше, чем вопросы, для решения которых партии вроде бы существуют. Следствием этого для партийной прессы стало низведение ее до положения своего рода домашнего органа партийной организации. Она уже не узнавала изо дня в день, каковы мнения. Редактор уже не был свободным деятелем. Именно о такой поработанной «Tribune» думал Уолт Уитмен, запуская в оборот выражение «редактор на содержании».

Когда в условиях жизни крупных городов из нужд партийной политики выросла в конце концов политическая машина, некоторые из наиболее независимых газет взбунтовались. Так родилась независимая пресса. Именно одна из независимых газет, тогдашняя «*New York Times*», первой подвергла критике и в конце концов сокрушила руками карикатуриста Томаа Наста «Tweed Ring», первую и самую возмутительную из политических машин, созданных когда-либо партийной политикой в нашей стране. За этим последовало повальное избавление газет — особенно городских, в отличие от сельских, — от господства партий. Партийная лояльность перестала быть добродетелью.

Тем временем, сформировавшись, в прессе нашла выражение новая политическая власть. Она была воплощена не в редакционной передовице и фигуре ее автора, а в новостях и фигуре репортера. Несмотря на то что престиж прессы до тех пор держался на выполняемой ею роли защитницы народного дела, народные массы уже не читали газет старого образца.

Обывателя больше интересуют новости, а не политические доктрины или абстрактные идеи. Х.Л. Менкен привлек внимание к тому факту, что средний человек не понимает более двух третей из того, что «слетает с губ среднего политического оратора или священника».

Обыватель, как выяснила *«Saturday Evening Post»*, мыслит конкретными образами, анекдотами, картинками и преувеличениями. Ему трудно и утомительно читать длинную статью, если она драматически не приукрашена и не облечена в форму, которую газеты называют «история» (story). «Новостная история» (news story) и «вымышленная история» (fiction story) — две формы современной литературы, ставшие ныне настолько друг на друга похожими, что часто оказывается трудно их различить.

Так, *«Saturday Evening Post»* пишет новости в форме художественной прозы, а ежедневные газеты частенько пишут прозу в форме новостей. Когда невозможно облечь идеи в конкретную, драматичную форму истории, простому читателю нравится, чтобы они были представлены в виде коротких сообщений.

Говорят, что Джеймс Э. Скриппс, основатель концерна *«Detroit News»*, специализирующегося на выпуске вечерних газет во второстепенных городах, выстроил всю свою группу газет на основе очень простого психологического принципа, состоящего в том, что обычный человек будет прочитывать новости обратно пропорционально их длине. Поэтому его метод измерения эффективности собственных газет заключался в подсчете числа содержащихся в них материалов. Лучшей была газета, в которой их оказывалось больше всего. Это полная противоположность методов м-ра Херста; в его газетах содержалось меньше материалов, чем в других.

Журналист старой закалки обычно относился к новостям презрительно. Новости были для него не более чем сырьем, из которого можно изготовить редакционную статью. Если Господь позволял случиться чему-то такому, что не укладывалось в его представления о должном, он просто это замалчивал. Он отказы-



вался брать на себя ответственность за информирование своих читателей о вещах, которых, по его мнению, быть не должно.

Мэнтон Марбл, бывший редактором «*New York World*» до того, как ее купил и сделал желтой Джозеф Пулитцер, говаривал, что в Нью-Йорке нет 18 тыс. человек, которых могла бы привлечь правильно руководимая газета. Если тираж газеты превышал эту цифру, он считал, что с газетой, вероятно, что-то не так. К тому моменту, когда газету купил м-р Пулитцер, ее тираж и впрямь упал до 10 тыс. Старая «*New York World*» вплоть до 80-х годов сохраняла стандарт старой консервативной высоколобой газеты. К этому времени принятым типом ежедневной прессы в крупных городах стали политические независимые газеты.

Задолго до рождения того, что позже назвали независимой прессой, в Нью-Йорке появились два издания, ставших предвестниками нынешних газет. В 1883 г. Бенджамин Дей с небольшим числом сотрудников начали выпускать газету для «механиков и широких масс». Экземпляр газеты стоил всего 1 цент, но издатели рассчитывали возместить потери от низкой цены большим тиражом и рекламой. Большинство других нью-йоркских газет продавались тогда по 6 центов.

Однако тон в новой форме журналистики задал Джеймс Гордон Беннет, основатель «*New York Herald*». По сути, как пишет в единственном адекватном отчете, когда-либо написанном об американских газетах, Уилл Ирвин, «Джеймс Гордон Беннет избрал новость, как мы ее знаем». Как и некоторые другие люди, внесшие наибольший вклад в современную журналистику, Беннет был человеком разочарованным и, возможно, по этой самой причине безжалостным и циничным. Анонсируя новое предприятие, он заявил: «Я отвергаю все так называемые принципы». Под принципами, видимо, разумелась редакционная политика. Его приветственная речь стала одновременно и прощальным словом. Анонсируя цели новой журналистики, он фактически распрощался с целями и устремлениями старой. Отныне редакторы становились сборщиками новостей, а газета делала ставку на свою способность собирать, печатать и распространять новости.

Что такое новость? На этот вопрос давалось много ответов. По-моему, Чарльз А. Дана сказал: «Новость — это все, что заставляет людей говорить». Это определение, во всяком случае, высвечивает цели новой журналистики. Ее задачей было печатать все, что побудило бы людей говорить и думать, ведь большинство

людей не думает, пока не начнет говорить. Мышление, в конце концов, есть своего рода внутренний разговор.

А вот позднейшая версия того же определения: «Новость — это все, что заставляет читателя воскликнуть: “Вот это да!”». Такое определение дал Артур Макюзн, один из людей, которые помогли сделать газеты Херста. Одновременно это и определение позднейшего и наиболее успешного типа газеты — желтой прессы. Разумеется, не все успешные газеты желтые. Взять ту же *«New York Times»*. Но ведь, с другой стороны, *«New York Times»* нетипична.

## V. Желтая пресса

По-видимому, как заметил Уолтер Липпман, есть два типа читателей газет: «те, кому жить интересно» и «те, кому жить скучно и хотелось бы более напряженного существования». Есть, соответственно, и два типа газет: газеты, редактируемые по принципу, что читателям главным образом интересно читать о самих себе, и газеты, редактируемые по принципу, что их читатели в поисках выхода из тусклой рутины собственной жизни заинтересуются всем, что сможет обеспечить им, как говорят психоаналитики, «уход от реальности».

Провинциальная газета с ее хроникой свадеб, похорон, собраний тайных лож, устричных вечеров и всей мелочной местечковой трескотни являет нам первый тип. Пресса большого города с ее упорными попытками отыскать в однообразных событиях городской жизни что-то романтическое и живописное, с ее драматичными отчетами о пороках и преступлениях и неугасающим интересом к передвижениям персонажей более или менее мифического высшего общества представляет второй тип.

До последней четверти XIX в., т.е. примерно до 1880 г., большинство газет даже в наших крупных городах руководствовались теорией, что лучшая новость, которую может напечатать газета, — это уведомление о кончине или брачное объявление.

К тому времени газеты еще не начали прорываться в съемные квартиры, и большинство подписчиков жили не в квартирах, а в собственных домах. Телефон еще не вошел в широкое употребление; автомобиль был делом неслыханным; город все еще оставался мозаикой небольших соседств, похожих на наши нынешние иноязычные сообщества, в которых горожанин продолжал сохранять что-то вроде провинциализма маленького городка.

Но надвигались большие перемены. Независимая пресса уже прижала к стенке некоторые газеты старого образца. Газет было

больше, чем публика или рекламодатели могли содержать. Именно в это время и в этих условиях газетчики сделали открытие, что тираж можно колоссально увеличить, если сделать из новостей литературу. Чарльз А. Дана уже сделал это в своей «Sun», но оставалась большая когорта населения, для которой высокий слог молодых журналистов м-ра Даны был слишком утонченным блюдом.

Желтая пресса выросла в попытках овладеть публикой, для которой единственной литературой были семейные бумаги и дешевый роман. Надо было писать новости так, чтобы они взывали к фундаментальным страстям. Формула была такой: женщинам — любовь и романтика; мужчинам — спорт и политика.

Следствием применения этой формулы стал необычайный рост газетных тиражей, причем не только в крупных городах, а по всей стране. Эти изменения осуществились в основном под руководством двух людей, Джозефа Пулитцера и Уильяма Рэндольфа Херста.

Пулитцер, еще в бытность его редактором «*St. Louis Post Dispatch*», открыл, что для борьбы за правое дело нужно вовсе не защищать его на страничке редактора, а рекламировать и перевозносить в колонках новостей. Пулитцер изобрел журналистское расследование, и именно этот вид журналистики позволил ему за шесть лет превратить старую «*New York World*», тихо загибавшуюся к тому времени, как он ее приобрел, в газету если не самую многотиражную, то уж во всяком случае самую обсуждаемую в Нью-Йорке.

Тем временем в далеком Сан-Франциско Херст успешно вдохнул новую жизнь в умиравшую «*Examiner*», сделав ее самой широко читаемой газетой на Тихоокеанском побережье.

При Херсте вошла в моду «всеобщая болельщица»: женщина-репортер, пишущая душещипательные очерки. Вот ее история, рассказанная Уиллом Ирвином в «*Collier's*» (18 февраля 1911 г.):

«Чемберлену (выпускающему редактору “*Examiner*”) пришла в голову мысль, что не все в порядке в городской больнице. Он отобрал одну совсем еще девочку из числа начинающих репортеров и поручил ей провести расследование. Она изобрела собственный метод: “упала в обморок” на улице и была доставлена в больницу. В каждой строчке она приправляла рассказ “сочувствием к беднякам”. Так началась профессиональная карьера “Энни Лори”, или Винифред Блэк, и произошел переворот в стиле газетных публикаций. Ибо у девушки нашлось немало подражателей, но никому другому не удавалось так мастерски нагнетать естественные эмоции сочувствия и жалости; она была целой “командой сочувст-

вующих". По существу, в открытии этого сочувственного "женского стиля" Херст прорвался через поверхностный слой в самую суть того, что он искал.

Имея в багаже опыт, приобретенный в «Examiner» в Сан-Франциско, и большое состояние, доставшееся в наследство от отца, Херст вторгся в 1896 г. в Нью-Йорк. Когда он добрался до Нью-Йорка и взялся превратить «*New York Journal*» в самую читаемую газету Соединенных Штатов, желтая журналистика достигла своего апогея.

Важнейший вклад Пулитцера в желтую журналистику – журналистское расследование, главный вклад Херста – «оживляж». Раньше, издавая газету, руководствовались теорией, что ее дело – наставлять. Херст эту концепцию отверг. Он откровенно апеллировал не к разуму, а к сердцу. Газета была для него в первую очередь и в конечном счете формой развлечения.

Примерно тогда же, когда желтая пресса начала внедрять привычку читать газеты в широкие массы, включая женщин и иммигрантов, которые до того времени газет не читали, начала расти привлекательность универмагов.

Универсальный магазин есть в некотором смысле детище воскресной газеты. Во всяком случае, без рекламы, которую воскресная газета могла ему сделать, универмаг вряд ли обрел бы ту популярность, которую он сегодня имеет. В этой связи показательно, что женщины читали воскресные газеты до того, как стали читать ежедневные. А женщины – покупательницы.

Именно в воскресной газете методы желтой журналистики были впервые раскручены на полную катушку. Людьми, главным образом за это ответственными, были Моррил Годдард и Артур Брисбен. Годдард стремился сделать газету, которую человек покупал бы, даже если бы не мог ее прочитать. Он делал упор на иллюстрации – сначала черно-белые, потом цветные. Именно в «*Sunday World*» была напечатана первая иллюстрация шириной в семь колонок. Потом появились раздел юмора и все прочие известные нам средства, призванные заставить плоско мыслящую и неподатливую публику читать.

После того как эти методы были опробованы в воскресной газете, они перекочевали в ежедневную прессу. Окончательным триумфом желтой газеты стали «задушевные передовицы» Брисбена – колонка готовых к употреблению пошлостей и нравоучений с диаграммами и иллюстрациями на полстраницы, подкрепляю-

щими текст. Нигде еще не воплотилась так полно максима Герберта Спенсера, что искусство письма состоит в экономии внимания.

Уолтер Липпман в своем недавнем исследовании общественного мнения привлекает внимание к тому факту, что ни один социолог до сих пор не написал книгу о сборе новостей. Его поражает своей странностью то обстоятельство, что такой институт, как пресса, от которого мы ожидаем так много и получаем так мало из ожидаемого, не стал предметом более беспристрастного исследования.

Действительно, мы не изучили газету так, как биологи изучили, скажем, картофельного жука. Но то же можно сказать о любом политическом институте, а газета является политическим институтом ничуть не меньше, чем Таммани-холл или совет олдерменов. Мы жаловались на наши политические *институты*, порой пытались с помощью каких-то магических механизмов законодательства изгнать злых духов, которые ими овладели. В целом мы были склонны считать их сакральными и трактовать всякую фундаментальную их критику как своего рода богохульство. Если все пошло наперекосяк, то виновны в этом были не институты, а люди, которых мы избрали ими руководить, и неисправимая человеческая натура.

Так когда же ждать лекарства от нынешнего состояния газет? Нет такого лекарства. Если говорить простыми словами, сегодняшние газеты хороши примерно настолько, насколько они вообще могут быть хорошими. Если газеты и станут когда-нибудь лучше, то произойдет это благодаря просвещению народа и организации политической информации и интеллекта. Как хорошо сказал м-р Липпман, «число регистрируемых социальных явлений невелико, инструменты анализа очень грубы, а понятия часто неясны и некритичны». Мы должны улучшить нашу фактографию, и это серьезная задача. Но в первую очередь мы должны научиться смотреть на политическую и социальную жизнь объективно и перестать мыслить ее исключительно в моральных категориях! В этом случае новостей у нас будет меньше, но зато газеты будут лучше.

Реальная причина того, что обычные газетные сообщения о событиях обыденной жизни оказываются столь сенсационными, заключается в том, что о человеческой жизни мы знаем так мало, что не способны истолковать жизненные события, когда о них читаем. С полной уверенностью можно сказать, что если нас что-то шокирует, то, значит, мы этого не понимаем.

## НОВОСТЬ КАК ФОРМА ЗНАНИЯ\*

### I

Как отмечали Уильям Джеймс и некоторые другие авторы, есть два фундаментальных типа знания, а именно (1) «знакомство с» и (2) «знание о». Предложенное различие кажется вполне очевидным. Тем не менее, пытаясь сделать его чуть более ясным, я несомненно совершаю нечто несправедливое по отношению к смыслу оригинала. В данном случае, интерпретируя это различие, я просто делаю его своим собственным. Джеймс, в частности, утверждает:

«Есть *два вида знания*, которые в широком смысле и практически отличимы друг от друга: их можно назвать соответственно *знанием-знакомством* и *знанием-о...* В умах, вообще способных говорить, имеются, по правде говоря, *некоторые знания* обо всем. По крайней мере, могут классифицироваться вещи и оглашаться времена их появления. Но в целом, чем меньше мы анализируем вещь и чем меньшее число ее связей мы воспринимаем, тем меньше мы о ней знаем и тем больше ее известность нам относится к типу знакомства. Следовательно, эти два вида знания, как они практически осуществляются человеческим разумом, — соотносимые понятия. Иначе говоря, одну и ту же мысль о вещи можно назвать как *знанием-о ней*, в сравнении с более простой мыслью, так и *знакомством с ней*, в сравнении с мыслью о ней, выраженной более членораздельно и ясно»<sup>1</sup>.

---

\* *Park R.E. News as a form of knowledge // Park R.E. Society, collective behavior, news and opinion, sociology and modern society. — Glencoe (IL): Free press, 1955. — P. 71–88. Статья впервые опубликована в: American j. of sociology. — Chicago, 1940. — Vol. 45, N 5. — P. 669–686. Перевод впервые опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. — М., 2002. — № 1. — С. 96–115. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.*

<sup>1</sup> *James W. The principles of psychology. — N.Y.: Holt & co., 1896. — Vol. 1. — P. 221–222.*

Во всяком случае, «знакомство с» в том смысле, в каком мне хотелось бы использовать это выражение, есть тот род знания, который человек неизбежно приобретает в ходе личных и непосредственных столкновений с окружающим его миром. Это знание, приходящее с обычной практикой, а не благодаря того или иного рода формальному, или систематическому, исследованию. При таких условиях мы в конечном счете познаем вещи не просто через посредство наших особых органов чувств, а через реакции всего нашего организма. Мы знаем их в последнем случае так, как мы знаем вещи, к которым мы привыкли, в мире, к которому мы приспособились. Такое знание можно, в сущности, понимать как форму органического приспособления, или адаптации, представляющую собой накопление и, так сказать, складирование длинного ряда опытов. Именно этот род личного и индивидуального знания позволяет каждому из нас чувствовать себя как дома в мире, в котором мы решили или обречены жить.

Примечательно, что люди, во всех иных отношениях самые мобильные среди живых существ, склонны тем не менее укореняться, подобно растениям, в тех местах и ассоциациях, к которым они привыкли. Если рассматривать эту аккомодацию индивида к своей среде обитания как знание, то, вероятно, она включена в то, что мы называем тактом, или здравым смыслом. Это качества, которые индивид приобретает неформально и неосознанно; но, будучи однажды усвоенными, они стремятся стать частным и персональным достоянием. Можно было бы даже описать их как личностные черты — во всяком случае, как нечто такое, что не может быть четко сформулировано и сообщено одним индивидом другому посредством формальных утверждений.

Другими формами «знакомства с» являются: (1) врачебные познания, по крайней мере поскольку они являются продуктом личного опыта; (2) умения и технические знания; и (3) любое знание, получаемое путем ненаправленного и неосознанного экспериментирования, предполагаемого контактом с объектами и практическим обращением с ними.

Наше знание других людей и в целом человеческой природы относится, видимо, к этому типу. Мы знаем другие разумы во многом так же, как знаем свой собственный, т.е. интуитивно. Часто мы знаем другие разумы лучше, чем собственный. Ведь разум — не просто поток сознания, в который каждый из нас всматривается, интроспективно обращая внимание на ход своих мыслей. Скорее разум — это расходящиеся тенденции действовать, которые у каждого из нас

более или менее полностью неосознанны, включая способность контролировать и направлять эти тенденции в согласии с некоторой более или менее осознанной целью. Люди обладают необыкновенной способностью (с помощью какого бы механизма она ни действовала) чувствовать эти тенденции в других так же, как и в самих себе. Однако нужно много времени, чтобы как следует познакомиться с любым человеком, включая самого себя, и знание, из которого это знакомство складывается, явно отличается от того рода знания о человеческом поведении, которое мы получаем путем экспериментов в психологической лаборатории. Оно больше похоже на знание, которым обладает торговец в отношении своих покупателей, политик в отношении своих клиентов, или на то знание, которое обретает в отношении своих пациентов психиатр, когда пытается их понять и излечить. И даже еще более это такой род знания, который находит воплощение в привычке, в обычае и в конце концов — благодаря своеобразному процессу естественного отбора, который мы не до конца понимаем, — в инстинкте как своего рода родовой памяти или привычке. Знание этого вида, если его можно назвать знанием, становится в конечном счете личной тайной индивидуального человека или особым оснащением расы или породы, которая им обладает<sup>1</sup>.

Пожалуй, можно осмелиться выступить с таким утверждением, ведь тип интуитивного, или инстинктивного, знания, здесь описанный, видимо, возникает из процессов, по существу подобных тем аккомодациям и адаптациям, которые посредством некоторого рода естественного отбора создали разные расовые разновидности человека, а также все многообразие видов растений и животных. Могут возразить: то, что имеется в виду под знанием, не наследуется и вообще не может наследоваться. Но ведь, с другой стороны, несомненно, что какие-то вещи усваиваются гораздо легче, чем другие. Следовательно, то, что человек наследует, — это,

---

<sup>1</sup> «Обычно биолог мыслит развитие как нечто совершенно отличающееся от такой модификации поведения опытом; однако время от времени выдвигалась идея, что основа наследственности и развития имеет фундаментальное сходство с памятью... Рассматриваемый таким образом, весь ход развития есть процесс физиологического научения, начинающийся с простого опыта разных столкновений с внешним фактором и претерпевающий одно видоизменение за другим по мере того, как появляются новые опыты в жизни организма или его частей по отношению друг к другу» (*Child C.M. Physiological foundations of behavior.* — N.Y.: Holt, 1924. — P. 248–249, цит. по: *Thomas W.I. Primitive behavior.* — N.Y.: McGraw-Hill, 1937. — P. 25).



возможно, не то, что можно назвать в собственном смысле слова знанием. Скорее речь идет о наследуемой способности усваивать те специфические формы знания, которые мы называем привычками. Похоже, между индивидами, семьями и родовыми группами имеются огромные различия в способности усваивать конкретные вещи. Врожденный интеллект, вероятно, не стандартизированная вещь, во что могут заставлять верить тесты интеллекта. Но если это так, то в будущем исследования интеллекта, как мне кажется, будут сосредоточены на идиосинкразиях интеллекта и на тех курьезных индивидуальных способах, с помощью которых индивидуальные умы достигают по существу одинаковых результатов, а не на измерении и стандартизации этих достижений.

Очевидно, что это «синтетическое» знание (т.е. знание, воплощающееся, в противоположность аналитическому и формальному, в привычке и обычае) вряд ли будет ясно сформулированным и передаваемым. Если как-нибудь оно и передается, то скорее в форме практических максим и мудрых пословиц, а не в форме научных гипотез. Тем не менее широкое и близкое знакомство с людьми и вещами обычно служит оплотом самых надежных суждений по практическим вопросам, а также источником предчувствий, на которые опираются эксперты в запутанных ситуациях, и внезапных прозрений, часто предшествующих важным открытиям в эволюции науки.

Этому знанию противостоит тип знания, который Джеймс описывает как «знание о». Это знание формальное, рациональное и систематическое. Оно основано на наблюдении и фактах, причем таких фактах, которые проверили, снабдили ярлычками, привели в порядок и поместили в конце концов в ту или иную перспективу соответственно задаче и точке зрения исследователя.

«Знание о» — это формальное знание, иначе говоря, — знание, достигшее некоторой степени ясности и точности за счет замены конкретной реальности идеями, а вещей словами. Идеи не только конституируют логический каркас (framework) любого систематического знания; они вторгаются в саму природу вещей, которыми занимается наука (естественная, в отличие от исторической). На самом деле есть, видимо, три основных типа научного знания: (1) философия и логика, интересующиеся прежде всего идеями; (2) история, интересующаяся прежде всего событиями; и (3) естественные, или классифицирующие, науки, интересующиеся прежде всего вещами.

Понятия и логические артефакты — как, например, система чисел — не вовлечены в общий поток событий и вещей. Именно по

этой причине они прекрасно выполняют роль ярлычков и счетчиков, с помощью которых можно идентифицировать, описывать и в конечном счете измерять вещи. Конечная цель естественной науки состоит, видимо, в том, чтобы заменить поток событий и изменчивый характер вещей логической формулой, которая описывала бы с логической и математической точностью общий характер вещей и направление изменения.

Выгода от замены действительного хода событий словами, понятиями и логическим порядком состоит в том, что понятийный порядок делает постижимым действительный порядок, и в той мере, в какой гипотетические формулировки, которые мы именуем законами, соответствуют действительному ходу событий, открывается возможность предсказывать, исходя из настоящего, будущее положение вещей. Это позволяет нам с уверенностью рассуждать о том, как и в какой степени любое конкретное вмешательство или вторжение в текущую ситуацию может детерминировать ситуацию, которой предначертано за ней последовать.

С другой стороны, всегда есть соблазн полностью отлучить логическое и вербальное описание объекта или ситуации от той эмпирической реальности, к которой оно относится. Такова, видимо, главная ошибка схоластики. Схоластика все время тяготела к замене причинно-следственной связи, которая есть связь между вещами, логической связностью, которая есть связь между идеями.

Эмпирическая и экспериментальная наука избегает чисто логического решения своих проблем, сверяя так или иначе свои расчеты с действительным миром. Над чисто интеллектуальной наукой всегда висит опасность настолько выйти из контакта с вещами, что символы, которыми она оперирует, перестанут быть чем-то большим, нежели игрушками для ума. В этом случае наука превращается во что-то вроде диалектической игры. Это опасность, от которой социальным наукам — в той мере, в какой они были склонны формулировать и исследовать социальные проблемы в том виде, в каком их конвенционально определяли административные службы или государственные учреждения, — не всегда удавалось уйти. Так, исследование неизменно стремилось принять форму нахождения фактов, а не научного поиска. Всякий раз, когда факты оказывались найдены, службы сами были способны дать их интерпретации; но обычно это были интерпретации, уже неявно содержащиеся в политике, проводимой этими службами и учреждениями.

Таковы некоторые общие характеристики систематического и научного знания, или «знания о», в противоположность конкрет-

ному знанию, здравому смыслу и «знакомству с». Чем, однако, уникально научное знание, в отличие от других форм знания, так это тем, что оно передаваемо в такой степени, в какой здравый смысл или знание, основанное на практическом и клиническом опыте, никогда не могут быть переданы. Оно передаваемо, потому что его проблемы и решения формулируются не только в логичных и внятных терминах, но и в таких формах, в которых они поддаются проверке с помощью эксперимента или соотнесения с эмпирической реальностью, к которой эти термины отсылают.

Чтобы сделать это возможным, необходимо детально и в каждом случае описывать, из каких источников и каким способом факты и открытия были первоначально получены. Знание-о, по крайней мере поскольку оно научное, становится тем самым частью социального наследия, корпусом проверенных и удостоверенных фактов и теорий, в котором новые приращения, добавляемые к исходному фонду, уточняют, подтверждают или ограничивают – прежде всего в соответствующей специальной науке, а в конечном счете и во всех связанных с ней науках – все, что было внесено в этот фонд прежними исследователями.

С другой стороны, знакомство-с, как я его охарактеризовал, базируется на медленной аккумуляции опыта и постепенной аккомодации индивида к его индивидуальному и личному миру, и, будучи таковым, оно становится, как я уже говорил, все более и более тождественным инстинкту и интуиции.

Знание-о – не просто накопленный опыт, а результат систематического исследования природы. В его основе лежат ответы, даваемые на определенные вопросы, которые мы адресуем окружающему нас миру. Это знание, методично собираемое с применением всего формально-логического аппарата, созданного научными исследованиями. Я мог бы на полях добавить, что, вообще говоря, не существует научного метода, который бы совершенно не зависел от интуиции и озарения, которые дает нам знакомство с вещами и событиями. Более того, при обычных условиях самое большее, что могут дать исследованию формальные методы, – это помочь исследователю добыть факты, позволяющие проверить те предчувствия и прозрения, которые были у него изначально или возникли позже по ходу исследования.

Одна из функций этой методической процедуры состоит в том, чтобы защитить исследователя от опасности ложных толкований, к которым могут его подтолкнуть слишком рьяные поиски

знания. С другой стороны, нет такой методической процедуры, которая могла бы заменить озарение.

## II

Мы полагаем, что то, что описано здесь как «знакомство с» и как «знание о», — это отличные друг от друга формы знания, имеющие разные функции в жизни индивидов и общества, а не знания одного и того же рода, но разных степеней точности и надежности. Тем не менее они не настолько различаются по характеру или функции (ведь это, в конце концов, соотносимые термины), чтобы нельзя было представить их как образующие континуум, — континуум, в котором находят место все виды и сорта знания. В таком континууме находит себе место и новость. Ясно, что новость — не систематическое знание вроде естественно-научного. Скорее оно подобно истории (history), поскольку имеет дело с событиями. События, будучи неизменно фиксированными во времени и локализованными в пространстве, являются уникальными и, следовательно, не могут быть классифицированы так, как классифицируются вещи. Ведь вещи не только движутся в пространстве и изменяются во времени, но еще и всегда находятся с точки зрения своей внутренней организации в состоянии более или менее устойчивого равновесия.

Новость тем не менее не история, и ее факты — не исторические факты. Новость не является историей, помимо всего прочего, потому, что в целом имеет дело с обособленными событиями и не пытается связать их друг с другом ни в форме причинных, ни в форме телеологических последовательностей. История же не только описывает события, но и пытается найти им надлежащее место в исторической последовательности и, делая это, открыть подспудные тенденции и силы, находящие в них выражение. В сущности, мы не попали бы пальцем в небо, если бы исходили из того, что соединения событий — т.е. связи между предшествующими и последующими событиями — интересуют историю не меньше, чем события сами по себе. В свою очередь, репортер, в отличие от историка, пытается просто регистрировать каждое отдельное событие, как оно происходит, а прошлым и будущим интересуется лишь постольку, поскольку они проливают свет на действительное и настоящее.

Нахождение связи события с прошлым остается задачей историка, а значимость его как фактора, определяющего будущее, пожалуй, может быть оставлена политической науке — тому, что

Фримен называет «сравнительной политикой»<sup>1</sup>, – иными словами, социологии или какому-то другому разделу социальных наук, стремящемуся путем сравнительных исследований прийти к утверждениям, достаточно общим, чтобы подтвердить гипотезу или прогноз<sup>2</sup>.

Новость как форма знания относится прежде всего не к прошлому или будущему, а к настоящему – тому, которое психологи называют «мнимым настоящим» (*specious present*)\*. Можно сказать, что новость существует только в таком настоящем. «Мнимое настоящее», о котором идет речь, предполагается тем фактом, что новость, как известно издателям коммерческой прессы, очень скоропортящийся товар. Новость остается новостью лишь до тех пор, пока не достигнет лиц, для которых она представляет «новостной интерес». Как только она оказывается обнародована, а значимость ее осознана, то, что было до этого новостью, становится историей.

Эти мимолетность и эфемерность составляют самую суть новости и тесно связаны со всеми прочими свойствами, которые она проявляет. Разные типы новостей имеют разный временной масштаб. В самой элементарной своей форме новостное сообщение – это просто «молния», извещающая о том, что произошло некое событие. Если событие оказывается реально важным, интерес к нему ведет к дальнейшему расследованию и более полному ознакомлению с сопутствующими обстоятельствами. Между тем событие сразу перестает быть новостью, как только вызванное им напряжение спадает и внимание публики переключается на какой-то другой аспект среды обитания или какое-то другое происшествие, достаточно свежее, возбуждающее или важное, чтобы овладеть ее вниманием.

---

<sup>1</sup> *Freeman E.A. Comparative politics.* – L.: Macmillan & Co, 1873.

<sup>2</sup> Социологическая точка зрения проявляется в историческом исследовании сразу, как только историк переходит от изучения «периодов» к изучению институтов. История институтов – иначе говоря, семьи, церкви, экономических институтов, политических институтов и т.д. – неизбежно ведет к сравнению, классификации, образованию имен или понятий, обозначающих классы, и в конце концов к формулировке закона. В ходе этого процесса история становится естественной историей, а естественная история постепенно превращается в естественную науку. Короче говоря, история становится социологией (*Park R.E., Burgess E.W. Introduction to the science of sociology.* – Chicago: Univ. of Chicago press, 1921. – P. 16).

\* Термин Дж. Г. Миды. – *Прим. перев.*

Причина, по которой новость в обычных обстоятельствах приходит к нам не в форме истории с продолжением, а в виде серии независимых инцидентов, становится ясной, если учесть, что речь здесь идет о сознании публики (*public mind*) – или о том, что называют сознанием публики. В простейшем своем виде знание доходит до публики не в форме восприятия, как до индивида, а в форме коммуникации, или, иначе говоря, новостей. Но в обычных условиях внимание публики является колеблющимся, неустойчивым и легко отвлекаемым. Когда сознание публики рассеивается, раппорт, слухи и все, что обеспечивает передачу новости в пределах публики, перестает функционировать, напряжение ослабевает, коммуникация разрушается, и то, что было прежде живой новостью, становится холодным фактом.

Новостное сообщение, как известно каждому газетчику, прочитывается в обратной пропорции к его длине. Обычный читатель читает сначала колонку новостей и половину сообщений в две-три строчки о людях и вещах в родном городе и лишь после этого обращается к колоночной статье, как бы ее ни рекламировали заголовки, да и то лишь если она оказывается не просто новостью, а историей, т.е. содержит в себе то, что называется в специальном жаргоне «человеческим интересом» (*human interest*).

Новости поступают в форме небольших самостоятельных сообщений, которые можно легко и быстро понять. В сущности, новости выполняют для публики примерно те же функции, которые для индивида выполняет перцепция. Иначе говоря, они не столько информируют публику, сколько ориентируют ее, давая всем и каждому общее представление о происходящем. Они делают это без всяких попыток со стороны репортера истолковать освещаемые события, за исключением тех, которые призваны сделать их понятными и интересными.

Первой типичной реакцией индивида на новость обычно бывает желание кому-нибудь ее пересказать. Это вызывает разговоры, порождает комментарии и, возможно, кладет начало дискуссии. Но странная вещь: стоит лишь начаться дискуссии, как обсуждаемое событие вскоре перестает быть новостью, а так как интерпретации события различаются, дискуссии переходят с самой новости на поднимаемые ею проблемы. Схватка мнений и чувств, неизменно вызываемая дискуссией, обычно увенчивается некоторым консенсусом, или коллективным мнением, так называемым общественным мнением. На интерпретации текущих событий, т.е. новостей, общественное мнение, собственно, и держится.

Интенсивность оборота новостей в пределах политической единицы, или политического общества, определяет, в какой степени членов такого общества можно назвать участвующими, но не в его коллективной жизни — этот термин был бы здесь слишком широким, — а в его политических актах. Политическое действие и политическая власть, в обычном их понимании, явно базируются не просто на том роде согласия и единодушия, какой может существовать в стаде или в толпе. По-видимому, они базируются в конечном счете на способности политического общества, независимо от имеющихся в его распоряжении военных и материальных ресурсов, действовать не только согласованно, но и последовательно в соответствии с некоторой задачей и в направлении некоторой рациональной цели. Мир политики, по-видимому, базируется, как некогда говорил Шопенгауэр в отношении мира в целом, на органической связи воли и идеи. Другие, более материальные источники политической власти являются, очевидно, сугубо инструментальными.

Историк Фримен говорил, что история — это прошлая политика, а политика — нынешняя история. Здесь в нескольких словах заключена немалая доля истины, пусть даже на практике это утверждение и нуждается в некотором расширении и уточнении. Новость не является ни историей, ни политикой, хотя тесно связана с обеими. Тем не менее она есть материал, делающий возможным политическое действие, в отличие от других форм коллективного поведения.

К числу других видов коллективного поведения относятся признанные и конвенциональные формы церемониальной и религиозной экспрессии — этикет и религиозный ритуал. Созидая единодушие и поддерживая моральный дух, они прямо и косвенно играют важную роль в политике и в политическом действии. Однако религия не соединена с новостями так тесно, как политика. Новости — сугубо светский феномен.

### III

Народная мудрость гласит, что всегда что-нибудь да случается. Поскольку новость рождается из того, что случается, то отсюда следует — или, видимо, следует, — что новость всегда или почти всегда связана с чем-нибудь необычным и неожиданным. Даже самое тривиальное происшествие (happening) при условии, что оно представляет отклонение от привычного ритуала и рутины повседневной жизни, имеет шанс получить освещение в прессе.

Эта концепция новости нашла поддержку у тех редакторов, которые в конкуренции за тираж и рекламу стремились сделать свои газеты привлекательными и интересными там, где они не могли быть неизменно информативными либо остросюжетными. В своих попытках внедрить в сознания репортеров и корреспондентов важность повсеместных и непрестанных поисков чего-нибудь такого, что поразило бы, позабавило или шокировало читателей, редакторы отделов новостей ввели в обращение несколько любопытных образцов того, что немцы, взяв выражение у Гомера, называли *geflügelte Wörter*, «крылатыми словами». Новость, облетающая большую территорию и повторяемая чаще, чем любая другая, описывается в известном анекдоте: «Собака укусила человека» — это не новость, но «Человек укусил собаку» — это уже новость. *Nota bene!* Не внутренняя важность события делает его достойным стать новостью, а скорее тот факт, что это событие столь необычно, что если его обнародовать, то оно настолько удивит, позабавит или иным образом возбудит читателя, что его запомнят и будут пересказывать. Ведь в конечном счете новость, по словам Чарльза А. Даны, — это всегда «что-то, заставляющее людей говорить», даже если она при этом не заставляет их действовать.

Тот факт, что обычно новость циркулирует сама и без дополнительной помощи — и вместе с тем свободно при отсутствии запретов или цензуры, — по-видимому, обуславливает еще одно присущее ей качество, отличающее ее от схожих, но менее достоверных типов знания, а именно слухов и сплетен. Чтобы сообщение о текущих событиях могло иметь характер новости, оно должно не просто циркулировать — возможно, по кружным подпольным каналам, — а должно быть непременно обнародовано городским глашатаем или прессой. Обычно такое опубликование придает новости в той или иной степени характер публичного документа. Новость более или менее удостоверяется тем фактом, что она выставлена на критическое рассмотрение публики, которой она адресована и к интересам которой она обращена.

Публика, которая общим согласием или отсутствием протеста ставит на опубликованное сообщение штамп своего одобрения, не придает ему при этом авторитетности утверждения, подвергнутого экспертной исторической критике. Каждая публика имеет свои локальные предубеждения и свою ограниченность. Более внимательное изучение фактов, по всей вероятности, показало бы более критичному и просвещенному уму наивную доверчивость и пристрастность незамысловатого общественного мнения. На самом



деле выявляемые таким образом наивность и доверчивость могут стать важными историческими или социологическими данными. Но это всего лишь еще одна иллюстрация того, что у каждой публички есть свой мир дискурса (*universe of discourse*) и что, вообще говоря, только в том или ином мире дискурса факт становится фактом<sup>1</sup>.

Природа новости раскрывается в любопытном ракурсе, если взглянуть на изменения, происходящие с информацией, когда она входит в обращение без санкции, которую дает ей публичность. В таком случае сообщение, исходя из какого-то безвестного источника и путешествуя по одному ему ведомому пути, неизменно обрастает деталями из невинных, но в основном контрабандных добавлений тех, кто помогает ему в его путешествии. В таких обстоятельствах то, что было вначале просто слухом, стремится со временем обрести характер легенды, т.е. того, что все повторяют, но чему никто не верит.

С другой стороны, когда сообщения о текущих событиях публикуются с указанием имен, дат и мест, давая каждому, кто захочет, возможность их проверить, аромат легенды, окутывающий изначально сообщенную новость и наполняющий ее фантастическими деталями, вмиг рассеивается, и то, что является фактом или будет считаться фактом, пока не будет скорректировано последующими новостными сообщениями, сводится к чему-то более прозаичному, чем легенда, и более достоверному, чем новость, а именно: историческому факту.

Хотя то, что случается, и неожиданно, не совсем неожиданно то, что попадает в новости. События, составлявшие новости в прошлом, равно как и составляющие их в настоящем, на самом деле вещи ожидаемые. Обычно они просты и банальны: рождения и кончины, свадьбы и похороны, состояние урожая и бизнеса, война, политика и погода. Это вещи ожидаемые, но в то же время непредсказуемые. Это случайности и шансы, вкрапленные в игру жизни.

---

<sup>1</sup> Мир дискурса в том смысле, в котором обычно употребляется этот термин, есть всего лишь особая лексика, хорошо понимаемая и подходящая к специфическим ситуациям. Однако в случае той или иной специальной науки он может включать корпус более точно определенных терминов, или понятий, который будет тяготеть к большей или меньшей систематичности. Например, история не пользуется или почти не пользуется специальными понятиями. В свою очередь, социология и вообще любая наука, которая пытается быть систематичной, ими пользуется. Приобретая систематический характер, понятия конституируют «рамку соотнесения» (*frame of reference*).

На самом деле тем, что создает новости, является новостной интерес, а это, как известно каждому редактору отдела местных новостей, качество изменчивое — качество, которое остается в поле зрения с утра, когда редактор отдела местных новостей садится за свой письменный стол, и до позднего вечера, когда ночной дежурный редактор утверждает окончательную форму номера. Причина этого в том, что ценность новости относительна, и событие, случившееся позже, может снизить и часто снижает ценность события, случившегося раньше. В этом случае менее важная новость должна уступить место более поздней и более важной.

Забавные происшествия и события типа «хотите верьте, хотите нет», попадающие в новости, ценны для редактора тем, что их всегда можно вынуть из готового набора, дабы поместить на их место что-то более горячее и более неотложное. В любом случае новостями в целом всегда становятся события и происшествия, которые публика готова воспринять: победы и поражения на футбольном поле или на поле битвы, то, чего боятся, и то, на что надеются. Тем не менее, если учесть огромное число людей, ежегодно гибнущих и получающих увечья в дорожно-транспортных происшествиях (в 1938 г. число погибших составило 32 600 человек), трудно понять, почему эти колоссальные потери редко проникают на первую страницу газеты. Видимо, это расхождение объясняется тем, что автомобиль, в отличие от войны, стал восприниматься как одна из постоянных черт цивилизованной жизни.

Следовательно, новость, по крайней мере в строгом смысле слова, — это не рассказ и не анекдот. Это нечто, представляющее для человека, который ее слышит или читает, скорее прагматический, нежели оценочный интерес. Новость, как правило, хотя и не всегда, ограничивается событиями, которые приносят внезапные и решительные изменения. Это может быть событие вроде недавнего случая, когда цветная семья в Филадельфии, Фрэнсис и Бен Мейсоны, выиграла целое состояние на ирландском тотализаторе<sup>1</sup>. И это может быть трагический инцидент вроде боя у берегов Уругвая, в результате которого был потоплен германский боевой корабль «Граф Шпее», а его капитан покончил с собой. Эти события были не только чем-то новым, т.е. тем, что вызвало внезапное решительное изменение в ранее существовавшей ситуации. Поскольку о них сообщили в газетах и мы над ними задумались, они приобрели еще и новое, идеальное значение: первое — значение подлинно инте-

---

<sup>1</sup> См.: Time. — N.Y., 1939. — Dec. 25. — P. 12.

ресной истории, второе – значение трагедии, чего-то такого, что, по выражению Аристотеля, должно внушать «жалость и ужас». События вроде этих обычно запоминаются. Со временем они могут стать легендами или сохраниться в народных балладах. Легенды и баллады не нуждаются в датах, именах персонажей и названиях мест, которые бы позволяли проверить их подлинность. Они живут и сохраняются в наших памятях и в памяти публики в силу своей человеческой интересности. Как события они уже перестали существовать. Они выживают как своего рода призрачный символ чего-то, что представляет всеобщий и вечный интерес, как идеальная репрезентация того, что является истинным в жизни и человеческой природе всегда и везде.

Итак, новость как форма знания, как нам представляется, вносит своей летописью событий вклад не только в историю и социологию, но и в фольклор и литературу; она вносит свою лепту не только в социальные науки, но и в знание о человеке вообще.

#### IV

Социологические горизонты приобрели недавно новые измерения. Социальная антропология, уже не интересуясь одним только примитивным обществом, начала изучать не только историю, но и естественную историю и функцию институтов. Тем самым она стала все больше присваивать себе сферу социологических интересов и исследований. Психиатрия аналогичным образом выяснила, что неврозы и психозы – болезни личности, а последняя есть продукт социальной среды, создаваемой взаимодействием личностей. В это же время в США и Европе возмужала социология права, трактующая как естественные продукты нормы, которые суды стремятся рационализировать, систематизировать и применять к конкретным случаям. Наконец, недавно были предприняты интересные попытки вовлечь изучение самого знания в предметную область социологической дисциплины.

Теории знания существовали со времен Парменида. Но до сих пор их интерес был прикован не столько к знанию как данности, сколько к истине, или достоверному знанию, как идее и идеалу. Социологию знания не интересует, чем конституируется достоверность знания, т.е. утверждений о принципах или фактах; ее интересует, при каких условиях возникают разные виды знания и какие функции каждый из них выполняет.

Большинство форм знания, обретших статус науки, возникли в долгой истории человечества совсем недавно. Новость – одна из самых древних и элементарных форм знания. Было время, причем не так давно, когда не было ни философии, ни истории, ни вообще рационального знания как такового. Были только миф, легенда и магия. Того, что мы называем сегодня точными науками, не было до эпохи Возрождения. Социальные науки возникли, грубо говоря, лишь в последние полвека. По крайней мере, лишь в последние полвека они начали приобретать некое подобие научной точности благодаря более широкому применению статистики.

Новость, насколько ее вообще можно считать знанием, видимо, так же стара, как человечество, и, может быть, даже еще старше. Низшие животные не лишены разновидности коммуникации, в чем-то схожей с новостями. Цыплята понимают «кудахтанье» курицы-наседки как обозначающее либо опасность, либо пищу и соответствующим образом на него реагируют.

Я вовсе не хочу сказать, что любой вид коммуникации в стаде или стае имеет характер обмена новостями. Тем, что обычно при этом передается, является своего рода заразительное возбуждение – иногда просто ощущение благополучия и безопасности в стадной ассоциации, в других случаях – чувство беспокойства и тревоги, проявляющееся в том, что стадо сбивается в кучу, и часто от этого еще более усиливающееся. Представляется вероятным, что это всепроникающее социальное возбуждение, необходимое для существования стада как социальной единицы, служит также и средством передачи новостей или того, что в стаде им соответствует.

В жаргоне военных моряков есть выражение «the fleet in being» [«флот, готовый к боевым действиям»], означающее, что образующие флотилию корабли находятся в состоянии коммуникации и достаточно мобилизованы, чтобы быть способными к слаженному действию того или иного рода. Это же выражение можно применить к сообществу, обществу и стаду. Общество пребывает «в состоянии готовности», когда индивиды, его составляющие, оказываются до такой степени *en rapport*, что их, независимо от того, способны они к объединенному коллективному действию или нет, можно описать как участвующих в общем, или коллективном, существовании. В таком обществе диффузное социальное возбуждение стремится, подобно атмосфере, окутать всех участников общей жизни и дать направление и тенденцию их интересам и установкам. Индивидами такого общества словно овладевает некое общее настроение, или состояние духа, опреде-

ляющее для них диапазон и характер их интересов и их установок, или тенденций действовать. Наиболее наглядная иллюстрация этого смутного социального напряжения, или состояния духа в сообществе, — постоянное и вездесущее влияние моды.

В некоторых случаях и при определенных условиях это коллективное возбуждение, столь необходимое если не для понимания, то для коммуникации, достигнув высокого уровня интенсивности, начинает ограничивать репертуар реакций, одновременно повышая интенсивность расторможенных импульсов. Последствия этого являются такими же, как и в случае внимания у индивида. Исключительное внимание к одним вещам сдерживает реакции на другие вещи. Для общества это означает ограничение репертуара и характера новостей, на которые оно будет коллективно или индивидуально реагировать.

Рост социального напряжения в самой элементарной его форме можно наблюдать в стаде, когда оно по какой-то причине приходит в беспокойство и начинает сбиваться в кучу. По мере нарастания беспокойства напряжение быстро растет. Эффект такой, словно сбивание в кучу создало в стаде состояние ожидания, которое, по мере роста его интенсивности, повышает неминуемость того, что вот-вот какая-нибудь случайность — удар грома или щелчок кнута — погрузит стадо в состояние беспорядочной паники.

Нечто подобное происходит и с публикой. По мере нарастания в ней напряжения пределы ее интереса сужаются, и круг событий, на которые она будет реагировать, ограничивается. Циркуляция новостей ограничивается; дискуссия прекращается, и возрастает неизбежность какого-то действия. Это сужение фокуса общественного внимания, как правило, повышает влияние лица или лиц, господствующих в сообществе. Однако существование этого господства зависит от способности сообщества или его лидеров удерживать напряжение. Так появляются диктаторы; и так они удерживаются у власти. Именно этим объясняется потребность диктатуры в того или иного рода цензуре.

Новость циркулирует, по-видимому, лишь в обществе, в котором есть некоторая степень раппорта и некоторый уровень напряжения. Воздействие же новости, поступающей извне круга общественного интереса, состоит в том, что она рассеивает внимание и тем самым стимулирует индивидов действовать по своей инициативе, а не по наущению господствующей партии или личности.

В обычных условиях — т.е. в мирное время, а не во время войны или революции — новость обычно распространяется по мере

умножения средств коммуникации на все более широкую территорию. В таких условиях в обществе и его институтах продолжают происходить изменения, но происходят они постепенно и сравнительно неощутимо. В других условиях, во время войны или революции, изменения происходят бурно и зримо, но при этом они катастрофичны.

Постоянство институтов в обычных условиях зависит от их способности или способности сообщества, частью которого они являются, адаптироваться к технологическим и иным, менее очевидным, изменениям. Но эти изменения и их последствия проявляют себя в новостях не только напрямую, но и косвенно. Такие институты, как католическая церковь или японское государство, смогли пережить драматичные изменения эпохи, потому что оказались способными реагировать на изменения в условиях существования, причем не только на физически и очевидно им навязанные, но и на те, которые предвосхищались и отражались в новостях.

Я уже указал на роль новостей в мире политики: они служат основой для дискуссий, в которых формируется общественное мнение. Такую же важную роль новости играют в мире экономических отношений, ведь цены товаров — в том числе денег и ценных бумаг, — регистрируемые на мировом рынке и на каждом зависящем от него локальном рынке, основываются на новостях.

Обмены столь чувствительны к событиям во всех частях земного шара, что каждое колебание в моде или погоде обычно отражается на ценах в этих обменах. Я уже говорил, что новость — явление мирское. Но ныне наступают времена, когда изменения так велики и катастрофичны, что индивиды и народы уже не интересуются земными делами. В таком случае люди, разочарованные в своих стремлениях и упованиях, отворачиваются от мира секулярных дел и ищут покоя и утешения в бегстве из большого мира в безопасность маленького мира семьи или церкви. Функция новостей — ориентировать человека и общество в действительном мире. В той мере, в какой они с ней справляются, они помогают сохранению душевного здоровья индивида и прочности общества.

Хотя новости — более ранний и элементарный продукт коммуникации, чем наука, последняя ничуть их не заменила. Напротив, с экспансией средств коммуникации и развитием науки важность новостей неуклонно росла.

Более совершенные средства коммуникации в сочетании с огромными объемами знания, накопленными в библиотеках, музеях и ученых обществах, сделали возможной более быструю, точную и

основательную интерпретацию происходящих событий. В итоге люди и места, ранее далекие и легендарные, сегодня известны каждому читателю ежедневной прессы.

В сущности, рост средств коммуникации привел к тому, что каждый человек даже в самой далекой части мира может теперь реально участвовать в событиях — по крайней мере как слушатель, если не как зритель — в тот самый момент, когда они реально происходят в какой-то другой части мира. Недавно мы слушали, как Муссолини в Риме обращался с балкона к своим фашистским последователям; мы слышали, как в берлинском Рейхстаге Гитлер поверх голов своих преданных сторонников обращался не просто к президенту, а к народу США. Мы даже имели возможность услышать условия исключительно важного Мюнхенского соглашения через десять секунд после того, как его подписали представители четырех ведущих держав Европы и мира. Тот факт, что такие важные акты, как эти, могут быть столь быстро и публично консультированы, внезапно и радикально изменил характер международной политики, так что теперь нельзя даже гадать, какое будущее уготовано Европе и миру.

В современном мире роль новостей по сравнению с некоторыми другими формами знания (например, историей) не уменьшилась, а возросла. Изменения в последние годы были столь быстрыми и радикальными, что современный мир, похоже, утратил историческую перспективу, и теперь мы живем изо дня в день в том, что я назвал ранее «мнимым настоящим». В этих обстоятельствах история, видимо, должна читаться и писаться главным образом для того, чтобы позволить нам, сравнив настоящее с прошлым, понять, что вокруг нас происходит, а вовсе не для того, чтобы, как говорят нам историки, знать, «что в действительности произошло».

Так, Элмер Дэвис в статье, опубликованной недавно в «*Saturday Review*», заявляет, что в 1939 г. «подлежат прочтению» две книги: «*Mein Kampf*» Гитлера и «*История Пелопоннесской войны*» Фукидида (431 г. до н.э.). Он рекомендует историю Пелопоннесской войны, поскольку, по его словам, «Фукидид был не только блестящим аналитиком человеческого поведения, как индивидуального, так и коллективного», но одновременно и «великим репортером»<sup>1</sup>.

Также в качестве характерной приметы нашего времени отмечается, что как новости, сообщаемые в американских газетах,

---

<sup>1</sup> Davis E. Required reading // *Saturday rev. of literature*. — N.Y., 1939. — Oct. 14.

все более обретали характер литературы, так и беллетристика – самая популярная форма литературы после газеты – все более приобретала характер новостей<sup>1</sup>.

Романы Эмиля Золя были по существу репортажами о нравах Франции его времени; а «Гроздь гнева» Стейнбека называют эпохальным репортажем о жизни исполщика в Соединенных Штатах.

Видимо, мы живем в эпоху новостей, и одним из важнейших событий в американской цивилизации было рождение репортера.

---

<sup>1</sup> См.: *Hughes H. MacGill: News and the human interest story.* – Chicago: Univ. of Chicago press, 1940.



## НОВОСТЬ И ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ\*

Современная наука все успешнее вовлекает в сферу рационального объяснения и рационального контроля те неуловимые личные и политические силы, о наличии которых мы всегда знали, но которые мы до сих пор не могли измерить. Так, мы создали относительно эффективные процедуры для таких разных видов деятельности, как измерение общественного мнения, поддержание дисциплины на предприятиях, организация забастовок и разжигание революций. Одновременно мы создали что-то вроде науки рекламы и пропаганды, и она добилась заметных результатов в мире бизнеса и в мире политики.

В этих и прочих исследованиях в данной области общественное мнение было предметом весьма заинтересованного изучения, хотя, если не брать книгу Липпмана *«Свобода и новости»*<sup>1</sup>, почти не было попыток исследовать природу новостей и их политическую и социальную функции. Это тем примечательнее, что общественное мнение, вообще говоря, рождается только в ходе обсуждения новостей и событий, разрушающих рутину повседневной жизни.

Науке свойственно непременно задавать как один из первых и последних вопросов следующий: что представляет собой эта вещь, интересующая главным образом эту конкретную науку и это конкретное исследование?

---

\* *Park R.E. News and the human interest story // Park R.E. Society, collective behavior, news and opinion, sociology and modern society. – Glencoe (IL): Free press, 1955. – P. 89–104. Впервые очерк был напечатан как предисловие к одноименной книге: Hughes H. MacGill: News and the human interest story. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1940. – P. XI–XXIII. Перевод впервые опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 2002. – № 3. – С. 126–136. Для настоящего издания он заново сверен и отредактирован.*

<sup>1</sup> *Lippmann W. Liberty and the news. – N.Y.: Harcourt, Brace & Howe, 1920.*

Эта книга, помимо прочего, является попыткой дать принципиальный ответ на вопрос: что такое новость? Ее можно охарактеризовать как разведочное исследование с целью выяснить, что говорили и что обычно знают о новостях, их разных типах и применениях. Во всяком случае, для целей систематического исследования в данной области необходимо рабочее понятие, в котором новость была бы четко отграничена от других форм, в которых информация о текущих событиях попадает в широкое обращение, в частности, от слухов, от сплетен и от пропаганды.

В этом исследовании меж тем внимание сосредоточено на различии между двумя основополагающими типами, или, как можно еще сказать, двумя основополагающими аспектами новостей. А потому мне показалось уместным написать что-то вроде введения о новости вообще и некоторых сопутствующих и связанных с ней предметах, с которыми неизбежно приходится иметь дело при обсуждении интереса к людям и интереса к новостям, как они выражены в газете. Это кажется тем более важным, что любое исследование, начинающееся с вещей конкретных и фактических и нацеленное на получение сравнительно абстрактной концепции, должно одновременно позаботиться и об определении того общего поля, в котором исследуемая вещь располагается.

Есть любопытный факт, из тех фактов человеческой природы, которые философы не раз замечали и регистрировали еще до того, как исследование человеческой природы стало систематическим и научным, состоящий в том, что вещи, которые большинство из нас хотело бы обнародовать, — это не те вещи, которые большинство из нас хотело бы прочитать. Мы можем упрямо печатать то, что является или кажется нам поучительным, но читать хотим то, что нам интересно. И это причина — по крайней мере, одна из причин — того, почему «*Congressional Records*» и «*Nation*» имеют крошечный тираж по сравнению с «*Time*», «*New York Times*» и коммерческой прессой вообще. В сущности, у нас вообще есть газеты в современном смысле этого слова лишь потому, что около столетия назад — точнее, в 1835 г. — некоторые издатели газет в Нью-Йорке и Лондоне открыли, (1) что большинству людей, если они вообще умеют читать, проще читать новости, а не мнение редактора, и (2) что обычному человеку хотелось бы, чтобы его развлекали, а не поучали. Для той поры это по характеру и важности было самое настоящее открытие. Оно было сродни открытию, сделанному позже в Голливуде, что джентльмены предпочитают блондинок. Во всяком случае, последовательному применению этого принципа газета

обязана не просто своим сегодняшним характером, но и своим выживанием как вида. Это точно было верно до тех пор, пока выживание заключало в себе активную конкуренцию за тираж. Но с тех пор, как существующая пресса завоевала во многих местах монополию на новости и внимание публики, этой ситуации уже нет, и борьба за существование в газетном мире приобрела иной характер.

Говорят, что газетчиками, как и поэтами, рождаются, а не становятся. В отличие от большинства других образцов народной мудрости, эта поговорка, видимо, верна менее чем наполовину. Несомненно, некоторые люди быстрее ловят новости, чем другие. Однако то, что в отделах новостей называют «нюхом на новости», не есть прирожденная особенность человеческой природы. Напротив, обычно это завоеванное тяжким трудом приобретение, и приобрести это умение легче на работе, чем в учебной аудитории, даже если последняя располагается в школе журналистики.

Чему репортер в конце концов учится, работая в газете, так это искусству смотреть на события как на свидетельства какой-то прогрессии, всю значимость которой он не берется оценить. Несомненно, полная истина в отношении того или иного события включает окончательное и определенное утверждение о том, что с ним надлежит делать. Такое утверждение, однако, предполагает, что в нашем распоряжении есть все относящиеся к делу факты. Кроме того, видимо, в самой природе новостного сообщения заложено то, что оно не бывает окончательным и что новость анонсирует события, а не интерпретирует их. Истолкование новостей — функция редактора, историка и публики. Как только эти авторитеты заговорили, пусть даже на уровне простого беглого обзора, события перестают быть новостями и становятся историей.

Более того, приобретая «нюх на новости», репортер учится смотреть на события более или менее безлично, видя их так, как они, вероятно, выглядели бы в глазах его публики, а не такими, какими они предстали бы, будучи истолкованными с его собственной наивной точки зрения или с точки зрения любого другого нормального эгоцентричного индивида.

К тому же существует не одна публика, как иногда думают, а множество публик. Фактически у каждого раздела газеты, начиная с колонки «Общество» и заканчивая спортивной страничкой, есть своя публика, и каждая из этих публик имеет свое представление о том, что такое новость, и свое определение того, что такое факт. Любопытно также, что публики, читающие новости в тема-

тических разделах, неизменно лучше осведомлены и более критичны в отношении того, что они читают, чем публика, читающая первую полосу. Во всяком случае — и именно к этому я вел, — каждый газетчик должен знать свою публику и уметь представлять факты без эмоций и комментариев, за исключением тех, которые нужны, чтобы сделать их понятными и читабельными для публики, которой они адресованы.

Среди того, чему должен прежде всего научиться начинающий репортер и научиться чему труднее всего, — обязанность отсекал sentimentalism и предоставлять читателю возможность самому извлечь смысл из изложенного. Писательское мастерство состоит в умении рассказать историю так, чтобы надлежащие эмоции возникли не у автора, а у читателя. Репортерское искусство состоит в умении преподнести факты так, чтобы обе противостоящие стороны восприняли их как факты, хотя и могли бы разойтись в их интерпретации.

Если, как часто бывает, разные индивиды извлекают из одной истории разный и даже противоположный смысл, то ведь это и есть настоящая новость: нечто, заставляющее людей говорить, по выражению Чарльза А. Даны. То, что оставляет их равнодушными, новостью определенно не является.

Если новостное сообщение вызвало одновременно бурное одобрение и яростное неодобрение со стороны разных членов одной и той же публики, то это по крайней мере признак того, что события были изложены объективно. С точки зрения газеты объективность не может идти дальше этого. В конце концов, факты — всего лишь факты в мире дискурса, а у каждой публики, как я предположил, такой мир свой. Это, однако, не более чем приложение общего принципа относительности к повседневным делам и к тривиальным, но от этого не менее важным, аспектам личной жизни.

Я мог бы, пожалуй, добавить здесь на полях, что даже газета имеет свои каноны объективности. Например, газеты требуют, чтобы для каждой новости указывались дата и место события; также они требуют, чтобы называемые лица представляли под своими подлинными именами. Это диктуется той же причиной, которая требует, чтобы в отчете о научном исследовании, претендующем на научную весомость, детально описывались операции, с помощью которых были получены его результаты. Это делается для того, чтобы факты можно было проверить. Подлинные истории и рассказы о жизни, публикуемые анонимно или под псевдонимами, могут быть человеческими документами, но это не новости.

Конечно, не все публикуемое в газетах является новостями. Частично это реклама, частично редакционные материалы, многое — просто читиво, «близкое к рекламе». Главная трудность, с которой сталкивались исследователи прессы в своих спорадических попытках оценить и сравнить содержание газет, состояла в том, чтобы четко развести и описать разные типы материалов, попадающих на газетные страницы. В сущности, коммерческая пресса стала с течением времени сугубо земным делом, своего рода общим носителем, готовым растиражировать все, публикация чего окупается: беллетристику, фотографии, комиксы.

Разумеется, функции редакторской страницы и колонок новостей очень различаются. Фактически они настолько различны, что редко удается достичь полного взаимопонимания между редакторским отделом и отделом новостей. С точки зрения редакторского отдела, новость интересна тогда, когда предлагает несколько коротких и ярких замечаний о вещах вообще или служит темой для передовицы в поддержку политики или программы газеты, если она у нее есть. С точки зрения репортера и отдела новостей, каждое событие освещается или должно освещаться по его индивидуальным достоинствам, в зависимости от степени интереса, который оно скорее всего вызовет у самого широкого круга читателей, и без всякой оглядки на чью-либо политику или дальние последствия для индивидов или общественности.

Единственной политикой, которую склонен признавать репортер, является политика, заставляющая каждого публичного человека, если уж не каждого частного гражданина, жить и работать под прожектором настырной и беспощадной публичности, как если бы каждый день был судным днем.

Если репортер понял правила игры и она ему понравилась, он начинает гоняться за новостями с таким же страстным и безличным интересом, с каким гончая охотится на кролика. Газета не является для него профессией. Она не возлагает на него обязанностей и не предлагает никаких постоянных и адекватных вознаграждений за предприимчивость и преданность, коих она от него требует. Это как искусство для художника — не столько карьера, сколько форма возбуждения и образ жизни.

Тем, что придает задаче репортера характер игры, служит необходимость добывать факты — добывать их быстро и в полном объеме. Самую суть новости составляют время и место, и именно здесь пролегает различие между новостной историей (news story) и

вымышленной историей (fiction story), если прибегнуть к жаргону отдела новостей.

То же самое можно сказать и иначе: новость имеет дело с событиями в реальном мире и черпает всю свою важность из этого факта. Художественная проза и искусство вообще символичны по своему характеру и имеют дело с событиями в идеальном мире, находящемся вне времени и пространства. Поэтому художественная проза и искусство лишены важности в том смысле, в каком это слово применимо к новостям.

По-видимому, именно это понятие важности является в конечном счете отличительной и определяющей спецификацией в представлении о новостях. Чтобы события имели для читателя характер новостей, они должны быть не просто интересными, а важными. Но важность как качество, видимо, в чем-то сродни горячему и холодному; иначе говоря, она зависит от времени и места. В эмпирическом мире нет ничего подобного абсолютной, или вневременной, важности. То, что в одно время является новостью, перестает быть ею в другое, поскольку излагаемые события перестают быть интересными. История часто не уступает в интересности новостям. Но события, зарегистрированные историей, перестали быть важными, так как с ними уже ничего нельзя сделать. С другой стороны, когда уже ничего нельзя сделать с событиями, о которых сообщалось в газете, они тоже уже не новости.

Газетчики узнают новость, когда ее видят, потому что знают благодаря своего рода инстинкту, что важно в данное время и в данном месте в их мире и для их публики. Чтобы это делать, им нужно хорошо ориентироваться в мире, о делах которого они сообщают, но быть не настолько в него вовлеченными, чтобы терялась способность глядеть на события с отстраненностью критически мыслящего наблюдателя. По сути, газетчики, не обладая экспертным или профессиональным интересом к вопросам, о которых они пишут, приобретают экстраординарное знание того, что считает или будет считать после публикации новостью та общая или специальная публика, для которой они пишут. При этом примечательно, что обыватели — люди свободных профессий, бизнесмены, реформаторы и даже политики — имеют весьма слабое представление о том, какие вероятные последствия будут иметь газетные сообщения после того, как дойдут до широкой общественности.

Именно благодаря тому, что газетчики имеют это особое знание, в Соединенных Штатах за последние 75 лет развилась новая профессия, у истоков которой стояли, видимо, П.Т. Барнем и

его «Величайшее шоу на земле». Это профессия пресс-секретаря, или, как его стали теперь называть, консультанта по связям с общественностью. Каждый публичный человек и каждое публичное учреждение, включая крупные университеты, правительственные департаменты и президента Соединенных Штатов, имеют своих пресс-секретарей: людей, сделавших профессию из знания того, когда и как следует выступать перед публикой, и знания того, как эти выступления будут восприняты. В США пресса, пресс-секретари и так называемые группы давления, действующие в основном через прессу, в какой-то мере превзошли Конгресс в формировании общественного мнения и, косвенно, в формировании законодательства.

Большинство этих экспертов по связям с общественностью – бывшие газетчики, отказавшиеся от карьеры летописцев текущей жизни и ставшие личными консультантами администраторов и директоров наших учреждений, публичных и частных. Это кудесники, функция которых состоит в расшифровке для нынешних валтасаров зловещих надписей на наших стенах, коими являются рассказы о событиях дня, помещаемые в ежедневной прессе.

Интерес Валтасара к новостям своего времени был, вероятно, всецело прагматическим. Однако текущие дела, находящие отражение в прессе, часто представляют для философски мыслящего читателя и для любого, кому на миг удастся избавиться от груза личных и практических забот, интерес совершенно иного рода. В момент праздного времяпрепровождения человек может читать газету с тем же интересом, с каким разглядывают через окно толпу, плывущую по тесной улице. Он может читать газету, не обращая ни малейшего внимания на важность новостей. Лучшие примеры подобного рода новостей – забавные сообщения, которые «*Time*» отбирает из газет по всей стране и печатает время от времени под рубрикой «Всякая всячина». Вот образчик, взятый из номера от 22 августа 1938 г.:

## ПОД НОГАМИ

16-футовая статуя Вашингтона работы покойного скульптора Лорато Тафта, на протяжении 29 лет позорным образом пылившаяся в Сизтле, водружена наконец на 27-футовый пьедестал неподалеку от Художественной галереи Генри при университете штата Вашингтон. У ног Вашингтона нашли три недостойных предмета: пробку из-под виски, дырявый воздушный шарик и замызганную записку «дорогому Гарри». Вот она: «Привет, парнишка... Чем занят в последнее

время? Как насчет тех долгих прогулок, какие у нас бывали? Пока, снеговик\*. Не знаю, дойдет ли до тебя записка. Знал бы, еще много как бы тебя назвал. Ну да и хрен с тобой. Микки».

Это пример того типа новостей, который можно назвать «хотите верьте, хотите нет». Такие материалы, которые могли представлять новостной интерес для читателей тех газет, в которых они изначально были напечатаны, начисто лишены важности в том контексте, в котором они появляются в *«Time»*. Это фактура и, предположительно, часть новостей. Но читают их попросту потому, что они забавны, комичны, или потому, что в них отражаются стороны жизни, относительно универсальные и вневременные с точки зрения нашего интереса к ним. Они одинаково интересны, где бы их ни читали — в Арустике, шт. Мэн, или в Валла-Валла, шт. Вашингтон. Такие материалы интересны не потому, что имеют практическое жизненное значение; во всяком случае, в них нет ничего, что настойчиво требовало бы от человека пересмотра собственных планов или смены установок. Напротив, они всего лишь производят впечатление и, видимо, перебрасывают нас из мира текущих локальных дел во вневременной мир идей и фантазий. Они нам интересны, но интересны примерно в том же духе, что и *«Алиса в стране чудес»* или экранные фантазии Уолта Диснея.

Между тем в новостях обнаруживаются и иные вещи, которые не могут быть классифицированы как анекдоты или как истории типа «хотите верьте, хотите нет», но которые тем не менее, заключая в себе нечто, делающее их значимыми и придающее им более или менее универсальный и символический характер, обречены на то, чтобы их запоминали, повторяли и широко разносили независимо от времени и места, в которых они появились. В конце концов они могут найти себе место в общей совокупности идей, сохраняющихся вне того контекста, который окружал их в локальной истории. В таком случае они могут явиться в облике народных сказаний и стать после дальнейшей переработки темами формальной литературы и искусства.

Иногда писатели, как, например, Бен Хехт в *«1001 полудне в Чикаго»* и Теодор Драйзер в *«Американской трагедии»*, знали, как без помех со стороны времени и расстояния преобразовать мерзкие инциденты полицейско-судебной трагедии в язык и идиому вдумчивой и утонченной литературы. Однако если говорить в целом,

---

\* Наркоман, употребляющий кокаин. — *Прим. перев.*



отчеты об этих происшествиях — как и народные баллады, которые им предшествовали, — остаются своего рода популярной литературой для увеселения и наставления пролетарской публики городов.

В жаргоне газетной редакции эти трагические эпизоды, как и забавные анекдоты, читаемые просто в силу заложенной в них интересности и почти без соотнесения с действительным миром людей и событий, в котором они имели место, фигурируют как «интересные истории» (human interest stories). Низшая форма интересной истории, причем самая популярная, — это, несомненно, уже упомянутая выше история типа «хотите верьте, хотите нет».

Каждый газетчик знает, что такое интересная история, хотя и может испытывать трудности с ее определением. Именно она превращает новость в рассказ, который будут читать ради него самого, даже если читателя он вообще не интересует как новость. Человеческий интерес — универсальный элемент в новостях. Именно он придает новостной истории ее символический характер. Именно способность раскрыть и истолковать человеческий интерес в новостях делает репортера литератором, а новостную историю — литературой. И именно в интересной истории почти стирается различие между новостной историей и вымышленной историей, т.е. художественным рассказом.

Наиболее ярким примером тенденции новостной истории к принятию литературной формы, а изящной словесности к принятию характера репортажа является, пожалуй, недавно опубликованный роман Стейнбека *«Гроздь гнева»*, который кто-то охарактеризовал как «историю, которая обещает стать чем-то вроде «Хижины дяди Тома» для Испольщика».

Именно практика драматичного приукрашивания новостей и наполнения их душещипательными деталями, возникшая вместе с так называемой Желтой Прессой, превратила газету в Соединенных Штатах и, в меньшей степени, в других странах, включая Японию, из более или менее хладнокровной летописи событий в разновидность популярной литературы. Разумеется, в разных газетах эта трансформация произошла в разной степени. Издатели вроде покойного Адольфа Окса, выпускавшего *«New York Times»*, пытались сделать свои газеты хроникой событий, так чтобы они были чем-то вроде исторических летописей нашей эпохи. Другие издатели, такие как Уильям Рэндольф Херст, пытались сделать газету просто разновидностью литературы, использующей новости как темы для романтических историй, — историй наподобие тех, которые отражены в народных балладах, историй любви и смерти.

Эти газеты, каждая в соответствии со своей особой политикой, пытались документировать новости. «*New York Times*» старалась, в меру возможности, печатать в полном объеме речи и официальные документы, которые могли бы когда-нибудь заинтересовать историков политики. Мистер Херст, в свою очередь, охотился за человеческими документами и, делая это, явно помогал рождению новой моды на так называемые журналы «подлинных историй». Таким образом, если «*Times*» стремилась сберечь факты для истории, то вклад мистера Херста лежал в области литературы и социологии.

Самым последним применением жизненной истории, или человеческого документа, для понимания и интерпретации человеческой природы и общества стала книга «*Таковы наши жизни*», выпущенная при поддержке Университета Северной Каролины\*.

Интересная история или, лучше сказать, интересный аспект новостей — главная тема настоящей книги. Важность подобного исследования для ученого, изучающего общество и человеческую природу, состоит, видимо, в том, что оно открывает для эмпирического исследования вопрос о роли и влиянии не просто газеты, а популярной литературы вообще в современной жизни. До сих пор полагали, что влияние прессы лежит всецело в области общественного мнения и политики; но с приходом кинематографа и ростом популярности подлинных историй в газетах и других медиа ученые стали сознавать более глубокие и всепроникающие воздействия популярной литературы и массового искусства на институты и человеческие отношения вообще.

---

\* These are our lives: As told by the people and written by members of the Federal Writers' Project of the Works Progress Administration in North Carolina, Tennessee and Georgia. — Chapel Hill (NC): Univ. of North Carolina press, 1939.

## МОРАЛЬНЫЙ ДУХ И НОВОСТИ\*

### I. Пропаганда

С тех пор как в царство духа проникла война, моральный дух приобрел новую важность как для военного, так и для мирного времени. Тотальная война приняла ныне столь колоссальные масштабы, что воюющие нации не только считают нужным мобилизовать все свои ресурсы, материальные и моральные, но и сам текущий мир становится немногим более чем подготовкой к грядущей войне. В этих условиях так называемая психологическая война, которая может вестись в промежутках между состояниями действительной войны, приобрела такое значение и достигла такой технической эффективности, которые если и не изменили в корне природу войны, то, во всяком случае, кардинально изменили характер мирного времени, сделав его гораздо более трудновыносимым.

Объектом нападения в психологической войне является моральный дух, причем не столько тех, кто сражается с оружием в руках, сколько гражданского населения в тылу. Ибо «стратегия устрашения» нацелена в большей степени на нонкомбатантов и на тех, кому приходится ждать и терпеть, а не на тех, у кого есть возможность нанести ответный удар<sup>1</sup>. Кстати, это одна из сторон того, что тотальной войне, поскольку это война нервов, не удастся достичь своих целей. Не удастся потому, что она дает каждому какое-то дело, а вкупе с ним что-то такое, что, предполагая участие, хотя бы чисто символическое, в великом коллективном предприятии, становится одновременно источником вдохновения и облегчения. Таким образом, она ведет в конечном счете к росту

---

\* *Park R.E. Morale and the news // American j. of sociology. — Chicago, 1941. — Vol. 47, N 3. — P. 360–377. Перевод публикуется впервые.*

<sup>1</sup> *Taylor E. Strategy of terror. — Boston: Houghton Mifflin, 1940.*

солидарности и повышению морального духа не только гражданского населения, но и армии. Во всяком случае, она, похоже, сделала это и даже больше того в Англии, где создала такой национальный дух и такую общенациональную солидарность, каких не существовало в ней со времен испанской Армады.

Воля к соединению с другими в коллективном действии есть один из элементарных мотивов, движущих человеком. Сознание участия в великих событиях и возбуждение от такого участия образуют одно из самых бодрящих и приятных человеческих переживаний. В отзвуках, неизменно вызываемых таким участием в сознаниях других, действие каждого отдельного участника обретает, наряду с дополнительной моральной поддержкой, новое достоинство и новую доблесть.

Именно в этих масштабных коллективных предприятиях – войнах, революциях или социальных движениях, например в рабочем движении, – и через их посредство рождаются новые институты и иногда обновляются старые. Похоже, никто не понял это так хорошо, как Хосе Ортега-и-Гассет, автор *«Бесхребетной Испании»*. Никто в то время, когда была опубликована эта книга (1937), не имел больше оснований понять это, ибо содержащиеся в ней очерки посвящены анализу процессов, посредством которых произошли интеграция и распад испанской империи и испанского национального единства. То, что он говорит об Испании, особенно подходит сегодня к условиям, сложившимся в остальном мире, и к теме этой статьи. Первый из этих очерков называется «Как создать и разрушить нацию».

«Не вчерашний день, не традиция, не прошлое, – пишет он, – являются решающей, определяющей силой нации. Нации создаются и продолжают жить, имея программу на будущее». Для единства и солидарности, добавляет он, не является ни важным, ни необходимым, «чтобы составные части общества сходились в своих идеях и своих желаниях; важное и существенное состоит в том, чтобы каждый знал и в некоторой степени воплощал в свою жизнь идеи и желания других»<sup>1</sup>.

Вероятно, никакой другой социальный процесс и никакая другая форма взаимодействия не интегрируют индивидуальные компоненты общества так эффективно и так полно, как участие в какой-нибудь форме коллективного действия. Фактически, как считают некоторые авторы, общество существует и, если восполь-

---

<sup>1</sup> *Ortega y Gasset J. Invertebrate Spain. – N.Y.: Norton, 1937. – P. 19–45.*

зоваться мореходным термином, «держится на плаву», лишь когда оно способно к слаженному (concerted) и согласованному действию<sup>1</sup>.

Так называемая «мы»-группа – это обычно группа, которая действует. В особенности это верно, если включать в данный термин все формы общества, в которых естественным образом проявляет себя этноцентризм, или групповое самосознание. Правда, толпа или ватага не думает о себе как о «мы», по крайней мере, пока не войдет в контакт и конфликт с какой-нибудь другой толпой или ватагой. В последнем случае она тут же приобретает характер шайки, дает себе какое-то название и, возможно, приобретает некоторый неопределенный тип собственности на территорию, являющуюся ее особой средой обитания. Это характерно для некоторых низших живых существ, в частности птиц. Если я иду на риск и упоминаю в данной связи этот очень низкий тип общества, то делаю это ради того, чтобы подчеркнуть, что некий род морального духа нужен не только армиям или нациям, но и любому другому типу социальной группы, который должен действовать эффективно, чтобы выжить в конфликте с другими обществами.

Искусства и способы, с помощью которых можно поднять моральный дух народа и возродить, если не создать с нуля, национальный дух, равно как и методы, с помощью которых можно подорвать и в конце концов разрушить национальную солидарность народа-врага, убедительно демонстрируются в недавней истории Европы и обильно иллюстрируются текущими новостями. В сообщениях наблюдателей и участников сегодняшнего конфликта в Европе, передаваемых «из первых рук», содержится материал для более реалистичной политической науки, такой, какую исторически приписывали Макиавелли, но которую ближе к нам по времени и более систематично изложил в своих трудах итальянский социолог Парето. Для реалистической политической науки непосредственные отчеты о политических событиях, подобные *Берлинскому дневнику* Уильяма Ширера, являются настоящими документами. Его описание одного из ранних нюрнбергских «съездов» нацистской партии является вкладом не только в историю, но и в социологию. «Съезд» – не вполне подходящее название для нюрнбергских церемоний. Лучше бы подошло выражение не столь светское и в большей степени намекающее на религиозное возро-

---

<sup>1</sup> Thomson J.A. Animal sociology // Encyclopaedia Britannica. – 14<sup>th</sup> ed. – Vol. 1. – P. 971.

ждение. Вот выдержка из этого дневника, сопровождаемая пометкой «Нюрнберг, 5 сентября 1934 г.»:

«Кажется, я начинаю понимать некоторые причины поразительного успеха Гитлера. Позаимствовав тексты законов римской церкви, Гитлер возвращает пышную зрелищность, красочность и мистицизм в однообразную жизнь немцев двадцатого столетия. Сегодняшнее утреннее заседание в Луитпольд-Халле, в предместье Нюрнберга, оказалось более чем великолепным; в нем тоже был некий мистицизм и религиозная страстность пасхальной или рождественской мессы, проходящей в громадном кафедральном соборе. Везде море разноцветных флагов. Даже приезд Гитлера был обставлен театрально. Оркестр перестал играть. В зале, где собралось тридцать тысяч человек, установилась тишина. Потом оркестр заиграл “Badenweiler Marsch”, очень легко запоминающуюся мелодию, и, как мне рассказали, именно в тот момент, когда Гитлер совершал свой великий выход. Он появился в глубине зала и, сопровождаемый своими помощниками – Герингом, Геббельсом, Гессом, Гиммлером и другими, – медленно зашагал по длинному центральному проходу, и в это время тридцать тысяч рук поднялось в приветствии. Этот ритуал, как говорят корреспонденты-старожилы, соблюдается всегда. Затем огромный симфонический оркестр исполнил бетховенскую увертюру “Эгмонт”. Громадные прожектора освещали сцену, где сидел Гитлер в окружении сотни партийных чиновников и армейских и морских офицеров. За ними – “кровавый флаг”, пронесенный по улицам Мюнхена во время злополучного путча. Позади него – четыреста или пятьсот штандартов СА. Когда музыка закончилась, Рудольф Гесс, ближайшее доверенное лицо Гитлера, встал и медленно зачитал имена нацистских “мучеников” – коричневорубашечников, погибших в борьбе за власть. Это была переключка мертвецов, которая, судя по всему, сильно растрогала тридцать тысяч сидящих в зале.

Естественно, что в такой атмосфере каждое брошенное Гитлером слово воспринималось как ниспосланное свыше. В такие моменты способность людей, по крайней мере немцев, мыслить критически испаряется и любая произнесенная ложь принимается за высшую истину»<sup>1</sup>.

Искусства и приемы духовной войны многочисленны и разнообразны; и они, несомненно, тоньше, чем позволял думать предшествующий их анализ. Одно из оружий психологической

---

<sup>1</sup> Цит. по: *Ширер У.* Берлинский дневник: Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента. – М.: Центрполиграф, 2002. – С. 20–21.

войны, как наступательной, так и оборонительной, – пропаганда<sup>1</sup>. Гарольд Лассуэлл, сделавший пропаганду предметом обширных исследований и пишущий на эту тему проникательнее, чем большинство других авторов, работы которых я знаю, пытался провести различие между просвещением и пропагандой. Это различие базируется у него на разнице между двумя элементами, или аспектами, культуры, которые он определяет как «технику» и «ценность». Он пишет: «Внушение традиционных ценностных установок обычно называется просвещением, а термин “пропаганда” резервируется нами для обозначения распространения разрушительных, спорных или просто новых установок»<sup>2</sup>.

Указанное различие есть, в сущности, различие между новостями и пропагандой или, лучше сказать, между новостями и редакционной статьей (editorial). Редакционная статья нацелена на внушение не просто установок, но мнений, а мнения редактора могут быть «разрушительными, спорными или просто новыми»; для большинства читателей газет в Соединенных Штатах они, впрочем, не являются ни теми, ни другими, поскольку они их попросту не читают.

Разница между новостью и редакционной статьей относится к числу тех вещей, которые каждый газетчик, когда ему это нужно, знает, даже если не всегда способен сформулировать определение, делающее это различие ясным на все случаи жизни. Сущность, или внутреннее качество, новости ухватить трудно, но новость – не пропаганда и не редакционная статья. В общем плане можно сказать, что новость устанавливает факт, а редакционная статья – истину. Факты могут требовать рефлексии, обдумывания и иногда дополнительных фактов. Истине, в свою очередь, присуща окончательность. Обладая ею, т.е. владея всей истиной, человек прекращает исследование, перестает размышлять и либо молчит как растение, либо действует, как это свойственно людям. Пропаганда, вероятно, несколько более императивна, чем обычная редакторская колонка. Будучи нацеленной на действие, она пытается развеять сомнения и претендует иногда на окончательность истины, даже если она лишь полуистина или откровенная ложь.

---

<sup>1</sup> См.: *Young K., Lawrence R.D. Bibliography on censorship and propaganda.* – Eugene: Univ. of Oregon press, 1928.

<sup>2</sup> *Lasswell H.D. Propaganda* // *Encyclopedia of the social sciences.* – N.Y.: Macmillan, 1937. – Vol. 11. – P. 522.

Когда сами факты таковы, что служат целям пропагандиста, новость может быть и часто является лучшим видом пропаганды, но новости и факты всегда поддаются более чем одной интерпретации, и это обстоятельство было бы для пропаганды фатальным; рефлексия всегда для нее фатальна.

Именно по причине того, что события поддаются более чем одной интерпретации, мы их и обсуждаем. И именно из этих обсуждений рождается общественное мнение. Дискуссии не только создают общественное мнение; иногда они еще приводят к войне. Насколько мне позволяют судить мои наблюдения, они вообще редко устанавливают мир. Это, по всей видимости, не их функция. Когда дискуссия протекает в упорядоченной, академической манере, которую впервые ввел Сократ и сохраняют с тех пор философы, она называется диалектикой. Функция диалектики, если рассматривать ее, в ряду прочего, как социальный процесс, состоит, видимо, в тестировании мнений. Человек проверяет мнения, выясняя, согласуются ли они друг с другом в их разных выражениях. Результатом дискуссии обычно становится выявление подспудных гипотез, не говоря уже о подспудных комплексах, на которых держатся противоположные мнения. Иногда это приводит к согласию, но иногда вскрывает различия столь глубокие и столь заряженные эмоциями и чувствами, что дальнейшая дискуссия оказывается бесполезной, а то и невозможной. Когда это происходит с индивидами, не остается, видимо, никакого другого способа продолжить спор, кроме драки. Когда это случается с нациями, как недавно с Англией и Германией, итогом становится война.

С этой точки зрения война, будь то физическая или психологическая, представляет себя как пример диалектического процесса. Когда дискуссия перестает быть академической, когда она окончательно принимает форму вооруженного конфликта, она, если воспользоваться выражением одного современного автора, не перестает быть «битвой умов, в которой стройными шеренгами, по-солдатски дисциплинированные, сталкиваются идеи, идеологии, пропаганда и эмоции»<sup>1</sup>. В этой битве умов и воле, в которой целью каждой воюющей стороны являются поддержание и, по возможности, повышение своего морального духа и в то же время подрыв и подавление морального духа противника, пропаганда — нацелена ли она просто на интерпретацию событий или на индоктринацию и защиту допущений и идеологии, в соответствии с

---

<sup>1</sup> *Taylor E. Strategy of terror.* — Boston: Houghton Mifflin, 1940. — P. 1.



которыми интерпретируются события, — оказывается важнейшим оружием нападения и защиты.

## II. Моральный дух

По-видимому, есть некоторая неопределенность в отношении того, что собственно такое моральный дух и где он располагается. Находится ли он в индивиде, в группе или и там и там? Где бы ни был его локус, в группе или в индивиде, важность его не вызывает сомнений. Он много значит в бою, но насколько много? Никто точно не знает. Это одна из тех неуловимых вещей, с которыми приходится считаться, но которые невозможно взвесить.

В армии моральный дух — это «готовность сражаться»; в гражданском населении — способность переносить тяготы дома и мужественно встречать плохие новости с фронта. Эта воля сражаться и терпеть складывается, видимо, из ряда других столь же неуловимых компонентов: мужества, уверенности и христианских добродетелей веры, надежды и отзывчивости (*charity*), где под «отзывчивостью» имеется в виду понимание, — тот род понимания, который ожидается в небольших боевых подразделениях или в крепко сплоченных семьях. Это понимание служит основой *esprit de corps*. Отзывчивость, которая, как известно, начинается в домашнем кругу, не распространяется на врага; абстрактная отзывчивость не является качеством сражающегося солдата.

Моральный дух, хотя он и зависит от качеств, которые мы называем добродетелями, не должен отождествляться с моралью или нравами. Мораль (*morals*) — это привычки, которые, как и совесть, укоренены в традиции. Когда происходит их столкновение с новыми условиями, в них обычно возникает неразбериха, и они вовлекаются в конфликт, компромисс и казуистику. Так обстоит дело с человеком, который отказывается нести воинскую повинность по религиозным мотивам. Моральный дух, в свою очередь, перспективен; опорой ему служат те же дисциплина и солидарность, что и везде, но при этом он нацелен вперед. Это воля, тенденция организма действовать, организованная вокруг веры в будущее, а не вокруг интереса к прошлому или благочестивого преклонения перед ним. И в военное, и в мирное время моральный дух — это воля: воля действовать и проявлять упорство в ходе действия до тех пор, пока заветные чаяния не осуществляются. Хотя обычно мы ограничиваем термин «моральный дух» сферой действия,

мы применяем его и к ситуациям, в которых деятельность является рутинной и, по видимости, неконтролируемой и неуправляемой.

Когда 12 марта 1933 г. президент Рузвельт обратился к американскому народу, большинство банков в США были закрыты, а большинство американцев пребывали в состоянии паники. В своем выступлении он сказал: «В конце концов, в переналадке нашей финансовой системы есть элемент более важный, чем валюта, и более важный, чем золото; это – уверенность людей». Эффект этого обращения описывали как магический. Бронислав Малиновский, которого исследования тробриандцев сделали признанным мэтром в вопросах магии, думаю, согласился бы с тем, что речь президента была магической. Если я правильно его понимаю, эффекты, вызываемые словами и символами, составляют самую суть магии<sup>1</sup>. Одна из функций мага в примитивном обществе, по его словам, состоит в восстановлении морального духа, когда тот поколеблен страхом перед лицом какого-то непредвиденного или невиданного события, вроде недавнего вторжения с Марса, инсценированного Орсоном Уэллсом<sup>2</sup>.

Похоже, это еще раз демонстрирует то, что не раз демонстрировалось раньше: что слова и символы, создающие и поддерживающие моральный дух в армии, столь же необходимы для поддержания морального духа в гражданском обществе. А потому, как нам кажется, мы должны признать моральный дух составляющей всех наших коллективных предприятий. Он сказывается на работе фондовой биржи ровно в такой же степени, в какой и на деятельности Коммунистической партии.

Интересно заметить, что в то самое время, когда президент Рузвельт выступил с историческим радиообращением к народу Соединенных Штатов, пресса оповестила о победе нацистской партии – или, наверное, лучше сказать, нацистской секты – на выборах в Пруссии. Комментируя эти выборы, корреспондент «*New York Times*» писал: «За всю электоральную историю национал-социалистов и националистов Германия впервые со времен Старой империи была объединена». Между прочим, в ходе этой кампании

---

<sup>1</sup> Malinowski B. Argonauts of the Western Pacific. – L.: Routledge & sons, 1932 (рус. пер.: Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. – М.: РОССПЭН, 2004).

<sup>2</sup> См.: Cantril H. The invasion from Mars. – Princeton (NJ): Princeton univ. press, 1940.

погибли около двухсот человек, но на этот раз нью-йоркский корреспондент считал, что «запас насилия исчерпан»<sup>1</sup>.

Моральный дух имеет не только духовный, но и физический – точнее, физиологический – аспект. С точки зрения физиологии, а также, возможно, социологии моральный дух представляет собой способность индивида или общества поддерживать в течение какого-то времени напряжение, с тем чтобы довести начатое дело или предприятие до конца. Действие может с перерывами продолжаться, видимо, до бесконечности, как это бывает с человеком, настойчиво пытающимся сделать карьеру или осуществить проект, которому он посвятил свою жизнь. Что такое напряжение в самой элементарной его фазе, можно понять, понаблюдав за кошкой, затаившейся в ожидании мыши, или за каким-нибудь хищником, выслеживающим жертву.

В начале нашего века социологические размышления и исследования приобрели новую ориентацию главным образом под влиянием трудов двух ученых: Сципиона Сигеле в Италии и Гюстава Лебона во Франции. Лебон, чей небольшой трактат «Толпа» («*La foule*») много сделал для популяризации новой точки зрения, открыл, что при некоторых особых условиях случайное собрание индивидов, не соединенных никакой общей целью и явно не имеющих никаких общих интересов, может – а при наличии необходимых условий непременно будет – в ответ на то, что он назвал «духовным единством толпы», внезапно, если не сказать, чудом, преобразаться и становиться, по его выражению, уже не простым скоплением индивидов, а «единым существом».

Это, говорит он, производит зловещее впечатление. Между тем то, что он описывает, – дело обычное. Действительно, пришедшая в возбуждение толпа становится спаянным целым и, в отличие от простого скопления людей, оказывается очень эффективной силой (агенсу) в осуществлении самых элементарных форм коллективного действия – например линчевания. Примерно тот же феномен можно наблюдать в стаде скота или в отаре овец. Мэри Остин в небольшой книжке «*Стадо*» описала, как под влиянием бедствия или внезапного испуга отара овец иногда начинает беспорядочно сбиваться во все более сужающийся круг, «пока овцы не начинают гибнуть от удушья»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Статья Ф.Т. Бёрчелла в: New York Times. – March 12, 1933.

<sup>2</sup> Цит. по: Park R.E., Burgess E.W. Introduction to the science of sociology. – 2<sup>nd</sup> ed. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1924. – P. 881–882.

То, что в этом случае происходит, происходит и в толпе, когда внимание каждого индивида по воле случая фокусируется на каком-то больше обычного возбуждающем объекте или происшествии. В силу психологического процесса, не сильно отличающегося от сбивания в кучу в отаре или стаде, интерес и возбуждение каждого индивида усиливаются той реакцией, которую каждый неосознанно выдает в ответ на явно выраженный интерес каждого другого. Толпа при этом приобретает характер замкнутой цепи, в которой каждый индивид реагирует на собственное возбуждение, видя его отраженным в установках и эмоциях своего ближнего. Результатом этой круговой реакции оказывается устойчивое воспроизведение исходного стимула, а также соответствующий рост внушаемости, возбуждения и напряжения в каждом индивиде, в силу чего толпа становится коллективной единицей, психологически интегрированной и полностью мобилизованной на любое действие, какое бы от нее ни ожидалось и какое бы по воле случая само собой ни напрашивалось. В любом случае надвигающееся действие, если оно вдруг случится, будет внезапным, порывистым и, если никто извне им не манипулирует, совершенно необдуманным и незапланированным.

Поскольку действия толпы необдуманны, незапланированы и лишены перспективы, мы, пожалуй, не стали бы говорить о моральном духе в толпе в том смысле, в каком этот термин обычно употребляется. Но когда действие, будучи спроектированным и продуманным, требует не просто готовности действовать, но воли действовать настойчиво, вопреки всем случайностям, превратностям и переменам фортуны, сопутствующим долгой военной кампании, моральный дух приобретает то значение, которое мы ему придаем, говоря — как очень часто бывает в наши дни — о моральном духе в войсках и о моральном духе гражданского населения. Вместе с тем в более широком смысле, в котором этот термин порой употребляют, когда говорят, например, о преобладающем состоянии духа во Франции до и после германского вторжения, можно, видимо, говорить о моральном духе любого общества или любой группы, в которой посредством некоторого рода коммуникации поддерживается некоторого рода согласие. В таком обществе будут происходить перемены в напряжении в ответ на изменения в жизненных условиях, перемены в ориентации в ответ на происходящие события. В человеческом обществе всегда существуют какие-то веяния (fashions). По мере того как эти веяния приходят и уходят, социальные напряжения возрастают и падают, и общество, неизбежно

обращенное лицом в ту сторону, откуда приходят новости, изменяет в ответ на эти изменения, освещаемые в прессе, свою установку по отношению к миру.

Одна из самых всепроникающих форм, в которых напряжение и воля манифестируют себя в индивидах и в обществе, — это умонастроения. Каждое событие (occasion), будь то похороны или свадьба, имеет свою характерную атмосферу. В каждом сборище (gathering), даже если это не более чем толпа на улице, доминирует какое-то чувство. Пожалуй, легче всего человек замечает это умонастроение тогда, когда не может его разделить. В этом случае — не важно, печальное это событие или радостное, — он чувствует отторжение и неизбежно ищет себе более подходящую компанию.

Все время, пока я читал *«Берлинский дневник»* Уильяма Ширера, меня не переставало поражать то, что он, казалось, замечал мельчайшие перемены в духовной погоде в мире, которая с каждым днем становилась для него все менее приятной. Эта моральная атмосфера, похоже, является самым верным показателем, а также условием морального духа в гражданском сообществе, пусть даже таком небольшом, как дипломатический корпус в чужой стране. Во всяком случае, постоянной заботой Гитлера и Министерства пропаганды было сохранение в гражданском населении Германии атмосферы, которая бы поддерживала моральный дух армии на поле боя и программу правительства дома. Именно это придает значимость нюрнбергским церемониям, которые описывает Ширер. Цель всех церемоний и ритуалов, связанных с нацистским движением, — это, несомненно, создание атмосферы напряжения и ожидания, которая, фокусируя внимание на желаемом, действительно тормозила бы любые соображения, идущие вразрез с этими чаяниями.

Поддержание этой атмосферы и ограждение германского населения от «яда» (как говорил Геббельс) зарубежной пропаганды стали задачей цензуры. Интерпретация и опосредование эффекта сообщений о событиях, которые до него доходили, стали функциями Министерства пропаганды.

Очевидно, что в разных типах обществ импульс, или воля к действию, выражает себя характерно разными способами; иначе говоря, в толпе, банде, политической партии, секте он проявляется по-разному. В действительности он может выражаться всеми этими разными способами в последовательных фазах эволюции коллективного действия. В ходе своей эволюции этот коллективный импульс приобретает большинство черт разума — а именно, коллективного разума. Так, Мэри Остин говорит о «стадном сознании», а

Лебон описывает своеобразные свойства «духа толпы». Нам знакомо также выражение «общественное сознание» (*public mind*). Вопрос о том, где располагается этот так называемый разум, или воля, является ли он, подобно классовому сознанию, фазой, или аспектом, индивидуального сознания или обладает в каком-то роде независимым существованием, по-видимому, почти утрачивает свое значение, если подразумевать под «коллективным разумом» всего лишь единство и тесную взаимозависимость, которые дают индивидам возможность действовать сообща и согласованно. Способность действовать коллективно, по-видимому, создается тем взаимопроникновением сознаний, которое заключено в коммуникации.

В шайке или другой тесно спаянной группе, где ассоциация базируется на близком знакомстве и личной связи, моральный дух принимает форму *esprit de corps*. В политической партии, являющейся конфликтной или дискуссионной группой, он репрезентируется политической программой, опирающейся на тот или иной формальный принцип. В религиозной секте моральный дух поддерживается авторитетом вероисповедания или догмами, которые не могут ставиться под вопрос. Судя по всему, нацистская партия в ходе своей истории прошла через все фазы, представленные четырьмя типами общества, которые я назвал. Она впервые явилась во время *Putsch*, или государственного переворота, осуществленного группой, почти так же мало организованной, как простая толпа. Отсюда она проложила путь наверх через своего рода «войну банд» (*gang warfare*) с коммунистами. Затем она стала политической партией и обрела в этом качестве новый статус, когда ее сторонники получили представительство в Рейхстаге. Тем временем она приняла, по крайней мере в лице своих лидеров, характер более или менее фанатичной политической, если не религиозной, секты. Теперь в число ее духовных аксессуаров входят не только ритуал и кредо, но и своего рода библия, явленная в образе книги «*Mein Kampf*». Наконец, у нее есть свой пророк, если не бог, в лице Гитлера. Как политическая секта она попыталась подавить все формы инакомыслия со всей горячностью и фанатичной напористостью новорожденной религии. Под ее началом немецкий народ оказался сегодня втянут в священную войну за переустройство социальной жизни на планете во всех ее основополагающих аспектах — экономическом, политическом и религиозном.

Это утверждение, может быть, несколько излишне обобщено и не уделяет должного внимания всем историческим фактам, но оно, по крайней мере, дает понять, каким может быть моральный дух

при тоталитарном правлении, существующем сегодня в Германии, и каким он не может быть в более секулярном обществе вроде нашего.

### III. Новости

Разница между деятельностью и действием, как я ее вижу, состоит в том, что действие имеет перспективу, имеет начало и конец, и в процессе перехода от первого импульса, в котором оно берет свое начало, к своей завершающей консуммации в финальном внешнем акте оно может столкнуться с событиями, иногда делающими эту консуммацию сомнительной. Короче говоря, действие есть контролируемая и направляемая деятельность. По этой причине действие, когда оно становится затяжным и затруднительным, требует для своего успеха наличия «воли» у индивида и морального духа в группе. Эти действия и их перспективы задают параметры мира, в котором, можно сказать, реально протекает жизнь, в отличие от академического мира, в котором разворачивается не жизнь, а мышление, или подготовка к действию.

Каждый из нас и все мы живем в мире, центром которого являемся мы сами, и параметры этого мира определяются направлениями и расстояниями, с которых до нас доходят новости. Ибо новости — не просто что-то новое, это еще и нечто важное; и они доходят до нас с настоятельностью, требующей действия, пусть даже это будет всего лишь перемена установки или укрепление во мнении.

Все это имеет значение лишь постольку, поскольку предполагает относительность миров, в которых люди активно живут и за упорядоченное существование которых они в некотором роде лично несут ответственность. То, что доходит до нас в виде летописи событий из других мест, т.е. извне или с внешних пределов нашего мира, — это в основном миф, легенда или литература; иногда оно может быть само по себе интересным, но не является настолько непосредственно важным, чтобы нам нужно было что-то с этим делать. Поскольку мир, в котором мы живем, таков, он раскрывается перед нами как зримо простирающийся вокруг нас настолько далеко, насколько далеко простирается перспектива наших практических интересов и действий.

Как глубоко изменились эти перспективы в процессе нынешней войны! Сразу после падения Франции стало казаться, будто планета сжалась, а наш мир расширился. Изоляционисты среди

нас — это люди, которые по тем или иным причинам не до конца отдают себе отчет в этом изменении и, думаю, не готовы или неспособны его принять. Все наши великие коллективные предприятия — войны, революции, государственное управление — разворачиваются не в мире, с которым мы находимся в непосредственном контакте, а в сфере, определяемой циркуляцией новостей.

Задача организации огромных армий и целых народов, побуждения их к действию и, прежде всего, воодушевления их общей волей и общей целью — задача невероятно сложная, но при современных средствах коммуникации не невозможная. Во всяком случае, германскому правительству, похоже, время от времени удавалось, насколько это вообще в человеческих силах, наполнять с помощью цензуры и Министерства пропаганды свои войска и, в меньшей степени, гражданское население чем-то вроде того единодушия, которое свойственно лебоновской психологической толпе. Это помогало поддерживать моральный дух нации в череде кризисов, через которые она прошла.

Говорят, немецкая армия значительно демократизировалась в процессе своего омоложения. Между офицерами и солдатами возникло товарищество, которого в прусской армии до национал-социалистической революции не было. Это создало в армии и особенно военно-морском флоте такой *esprit de corps*, какого не было даже в годы Первой мировой войны.

Немецкие политические технологи при содействии немецких ученых, специализирующихся в разных социальных науках — истории, антропологии, а также новой немецкой науке, *Geopolitik*, — разработали в качестве своего вклада в национальный моральный дух особую политическую философию, призванную оправдать притязание немецкого народа на положение господствующей расы в Европе. Одновременно они сформулировали политическую программу, обещающую, в случае ее успешной реализации, претворить это притязание в жизнь. А так как Европа занимала и, возможно, еще занимает в современном мире господствующее положение, то немецкое господство над Европой означало бы и господство над миром.

Наконец, герр Гитлер и его сподвижники, видимо, вдохновляют армию, если не народ, непоколебимой верой в свою миссию и предназначение — верой, какая обычно существует только в религиозных сектах. Гитлер и его хунта пытаются поддержать эту веру ритуалом, мифом и, прежде всего, церемониями, оживляющими время от времени атмосферу и настроение экзальтации, в обрамлении которых она первоначально зародилась. Эта вера в миссию



и предназначение передалась и немцам, живущим вне Германии, в том, что можно было бы назвать Диаспорой этого последнего из «избранных народов». Из этого источника другие народы, которые, согласно нацистским доктринам, никогда не могут даже надеяться стать тождественными расе господ, заразились тем не менее той же доктриной.

По словам Германа Раушнинга, автора «Революции нигилизма», моральный дух и дисциплина стали теперь в Германии религией и достигли в этой нации небывало высокого уровня интенсивности и эффективности. Тем не менее они создавались и поддерживались по сути теми же средствами, с помощью которых создавались и поддерживались социальная солидарность и дисциплина всегда и везде, где люди ассоциировались для образования обществ и коллективного действия.

Нация вбирает в себя все известные нам обычные формы ассоциации: локальные, семейные, экономические, политические, религиозные и расовые. Перед национальным моральным духом стоит задача скоординировать эти группы так, чтобы они сотрудничали, а не сталкивались друг с другом. На языке политтехнологов нацистской партии это именуется проблемой *Gleichschaltung*. Эта проблема была решена за счет координации, подчинения и постепенного растворения всех локальных и менее широких лояльностей в тоталитарной лояльности национальному государству. Там, где этого не удалось по-настоящему достичь, как в случае лютеран и католиков, все же предпринимались попытки сделать это. Уже накопился внушительный массив литературы, психологической и педагогической, который показывает, чего хотели и чего реально добились нацисты в армии, учебных заведениях и прессе<sup>1</sup>.

Связь новостей с моральным духом не столь очевидна, как связь с ним другой газетной публикации, редакционной. Новости поступают к нам и в газету, которую мы читаем, со всех концов мира, к которым мы и другие ее читатели проявляем интерес. Обычно они приходят в виде не связанных друг с другом единиц, если только не пишутся с расчетом на то, что в них нас интересует не фактическое содержание, а символическая и литературная сторона. Газетчики выяснили, что, при прочих равных условиях, вероятность прочтения новостных сообщений тем выше, чем они короче. Такие национальные еженедельники, как «*Time*» и «*News-*

---

<sup>1</sup> См.: German psychological warfare: Survey and bibliography. — N.Y.: Committee for National Morale, 1940.

*week*», открыли, что интерес к этим материалам можно поднять, если (1) разбить их по рубрикам и (2) накопать так называемых «фоновых материалов», которые позволяют нам увидеть их в контексте других событий, рассредоточенных во времени и пространстве. Помещение новости в контекст исторических или иначе связанных с ней фактов придает ей характер иногда исторический, а иногда социологический. Такой материал становится историей, поскольку находит свое место в исторической последовательности. И он становится социологическим, поскольку, будучи классифицированным, проливает свет на социальный процесс независимо от того, в каком месте и в какое время этот процесс происходит.

Новости, как мы их здесь описали, не оказывают никакого влияния ни на политическое действие, ни на моральный дух. Им свойственно рассеивать и отвлекать внимание и, следовательно, уменьшать, а не повышать напряжение. Обычная функция новостей состоит в том, чтобы поддерживать в индивидах и обществах ориентацию и удерживать их в контакте с их миром и с реальностью посредством незаметных приспособлений. Порождение секулярных социальных движений, которые, слишком быстро развиваясь, приводят к катастрофическим последствиям, обычно не входит в их функции. С другой стороны, когда вдруг происходит какое-то важное или волнующее событие, которое «тянет на первую полосу» и выскакивает в заголовки, оно может захватить и удерживать внимание на протяжении многих дней и недель, подобно истории о похищении ребенка Линдбергов и о последующем суде над предполагаемым похитителем и его казни.

История о таком событии или о серии событий не является новостным сообщением. Это «история», т.е., по сути дела, рассказ с продолжением, который может становиться все более захватывающим по мере того, как каждый день и каждый выпуск газеты приносят что-нибудь новенькое. При этом история может стать настолько увлекательной, что произойдет падение интереса ко всем другим мелким происшествиям в текущей локальной истории. Будучи по сути своей рассказом, она становится более захватывающей именно потому, что публикуется по частям; благодаря этому читатели получают возможность думать, гадать или размышлять над значимостью каждой очередной части. В таких обстоятельствах читатели новостей интерпретируют эти происшествия и все их подробности через призму воспоминаний о своих прошлых опытах и о схожих трагических эпизодах, которые им известны. Так новость перестает быть просто новостью и приобре-

тает значимость литературы, но литературы реалистической, подобной «подлинным историям» в популярных журналах или тем старым балладам, которые предшествовали им в истории газеты<sup>1</sup>. То, что фиксирует и удерживает интерес читателя, имеет тенденцию дезориентировать его и нередко им овладевает.

То же самое с войнами, в которых, как нам кажется, мы видим историю в процессе ее становления, войнами, в которых на карту ставится судьба наций и цивилизации. Когда внимание фокусируется на этих событиях, являющихся не отдельными эпизодами, а целыми главами творящейся на наших глазах истории, мы, зрители, в конце концов сочувственно в них погружаемся. При этом мы неизбежно будем интерпретировать события и историю по-разному, соответственно различиям в наших личных опытах и личных предубеждениях. Мы неизбежно будем вставать на чью-то сторону, поскольку дискуссия обычно подчеркивает и выводит на передний план различия, наряду со смутными (по крайней мере, в течение какого-то времени) более фундаментальными точками зрения, которые нас объединяют. Это, наверное, печально, ведь национальный моральный дух требует, прежде всего, чтобы в ситуации кризиса мы действовали как нация и были едины как народ.

Следовательно, общественное мнение не является хорошим показателем морального духа, поскольку, будучи плодом дискуссии, оно обостряет различия. Общественное мнение скользит по поверхности вещей и не отражает установок и точек зрения, на основе которых сообщество объединяется. Само существование общественного мнения показывает, что в данный момент у нас нет единства в отношении того, что мы как нация или как народ должны делать. Но со временем вещи оказываются обсужденными и выходят из обсуждения, и направление, принимаемое общественным мнением, становится индикатором направления, принимаемого коллективной волей в процессе ее оформления. Именно это и показывают опросы Гэллапа.

Общественное обсуждение публичной политики в периоды кризиса, когда дискуссия тяготеет к озлобленности, неизменно извлекает наружу не только различающиеся точки зрения, но также воспоминания и исходные опыты, на которых базируются эти интерпретации событий. Достаточно прочесть раздраженные и часто гневные письма читателей редакторам газет, и сразу становится ясно, что эти письма – отражение личных разочарований и

---

<sup>1</sup> Hughes H. The human interest story. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1940.

глубоких эмоциональных переживаний, источники которых нередко столь темны, что требуется искусство психоаналитика, чтобы до них докопаться. Но в той мере, в какой свобода дискуссии добивается до источника этой эмоциональной горячности и тем самым выводит его в сферу открытого обсуждения, дискуссия вносит косвенный вклад в укрепление национального морального духа. Эти противоречивые письма служат очистительным средством для сознаний тех, кто их пишет, и доставляют удовольствие тем, кто хотел бы их написать, но так и не решился это сделать.

В одном из последних номеров «*Detroit Free Press*» я столкнулся с очень умным и незлобным упреком в адрес Гарольда Икса. Его определили как человека, пишущего раздражающие и раздраженные письма редактору. Пожалуй, Гарольд Икс такой человек и есть, но он всегда служил большим утешением для меня и, я уверен, для многих других. Он, разумеется, склонен к преувеличениям, как и все раздраженные люди; но он говорит вещи, которые кто-то должен сказать, и я по своему опыту могу с уверенностью заявить, что он улучшает моральный дух страны. Я вспоминаю, что он говорил о Линдберге, которым я восхищаюсь, и надеюсь услышать от него что-нибудь о сенаторе Джеральде Нае. Подозреваю, что он уже прошелся где-нибудь по сенатору от Северной Дакоты, и если это так, то, значит, я это пропустил.

Удаление этого хлама из наших душ является, с моей точки зрения, благом для страны. Оно улучшает моральную атмосферу и, кроме того, дает уверенность в том, что никто, выступая с накопившейся внутри него горечью, не собирается стать членом пятой колонны. Эти письма в газеты не являются, однако, общественным мнением. Это всего лишь личные мнения. Если бы они сопровождались признанием «внезапным, полным и горьким», которое вскрыло бы контекст, в котором они сформировались, то они пролили бы яркий свет на те корни недовольства, которые в такой стране, как наша, состоящей из людей, съехавшихся со всех концов земли, затрудняют искреннее единение всегда, кроме как в эпоху великой общенациональной опасности; а единение это должно теперь состояться на базе изнурительной тоталитарной политики, каковой эта великая опасность от нас требует.

В начале статьи я говорил, что война все больше приобретает характер диалектического процесса, в котором ведущую роль играют идеи, а не сила. По мере того как совершающиеся события делают проблемы в том виде, как они вначале понимались и ставились, устаревшими, воюющие стороны находят необходимым время от времени переопределять свои цели и открывают более фундаментальные и

разумные основания для оправдания того курса, который они выбрали. В дальней перспективе, особенно в случае затяжного конфликта, возникает необходимость не просто найти удовлетворительные ответы на вопросы, которые рефлексия поставила дома, но и оправдать цели войны и способ ее ведения для зарубежной общественности, которая может не быть полностью ни на чьей стороне. В этом случае война перестает иметь характер международного *coup d'état*, нацеленного на то, чтобы с помощью *Blitzkrieg* предъявить миру *fait accompli*, и становится все больше войной идей и идеологий. Такие войны неизбежно приобретают характер революций и заканчиваются изменениями не просто в материальном оснащении, но и в институтах и основополагающих представлениях о жизни. В сущности, именно потому, что они это делают, и в той мере, в какой они это делают, о нынешней войне можно сказать, что она выполняет функцию в историческом процессе.

В таких условиях моральный дух, поддерживаемый принципом разума, перестает быть вопросом либо надежды, либо страха и становится моральной силой. В конечном счете именно этими моральными силами и определяется, за что люди воюют.

## **МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВЕРДИКТ\***

Одним из лучших высказываний о методе является замечание Кули о методах исследования. «Рабочая методология, – говорил он, – это остаток от действительного исследования, лабораторной традиции и работы в поле: те, кто вносил в нее вклад, делали это неосознанно, стараясь выяснить что-то такое, что им очень хотелось узнать».

Думаю, к методам преподавания можно смело применить правило Кули. Лучшими методами являются скорее всего те, которые преподаватель выработал самостоятельно, стараясь чему-то научить, т.е. передать ученикам в условиях, навязываемых учебной аудиторией, некоторый корпус сведений, идей и практик, предположительно представляющих традицию, принятую в его особой научной области.

В наших образовательных процедурах, видимо, всегда оказывается слишком много рутины и слишком мало воображения, слишком много дисциплины и слишком мало самовыражения. Я говорю это с некоторой оглядкой, поскольку знаю, что в некоторых случаях методы, призванные побудить учеников к самовыражению, ввергали учителей в нечто вроде нервной протрации – не говоря уже о случайных поломках аудиторной мебели.

Я, разумеется, обеими руками за самовыражение, перевозимое так называемым прогрессивным образованием, но оно

---

\* *Park R.E. Methods of teaching: Impressions and a verdict // Social forces. – Chapel Hill (NC), 1941. – Vol. 20, N 1. – P. 36–46.* Доклад на 6-м ежегодном собрании Южного социологического общества в Атланте, шт. Джорджия, 4 апреля 1941 г. Перевод был впервые опубликован в сборнике: *Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. – М., 2010. – С. 219–235.*

должно поощряться не только в студентах. Учителя, как и студенты, склонны считать свои учебники священной литературой, последним словом в предмете, а не первым.

По моему опыту, наиболее эффективные и вдохновляющие учителя пользовались в преподавании наиболее неконвенциональными и наименее формальными методами. Если я меньше, чем в ином случае могло быть, склонен к принятию ортодоксальных методов преподавания, то это потому, что я убежден, что влияние, которое может оказать на ученика несконванный учитель, обладающий проникательностью и пониманием, хотя его часто и подчеркивают, редко оценивается слишком высоко. Мой случай служит тому примером.

Когда в 1883 г. я поступил в Мичиганский университет, мне было 19 лет. Я 14 лет учился в школе, заочно и очно, и был там учеником, мало что или вообще ничего не значившим. Это выяснилось сразу после поступления. Правда, я много чего прочел, но это было не лучшее даже из того, что было для меня доступно. Самым стимулирующим материалом, с которым я к тому времени столкнулся, были, видимо, лекции Боба Ингерсолла «Десять ошибок Моисея» и нескончаемая череда довольно неуклюжих дебатов об эволюции, которые проводились в нашем городе обществом молодых радикалов. В моей умственной жизни это дискуссионное общество, видимо, играло примерно такую же роль, какую играли дебаты в клубе «Hell Fire» в жизни Бенджамина Франклина, когда он был мальчишкой в Новой Англии. Наш городок располагался в Миннесоте, но был населен выходцами из Новой Англии.

Вместе с тем, учась в школе, я открыл для себя геометрию, и она меня воодушевила. Я превратил ее в своего рода игру, пытаюсь разбирать задачи, по возможности не обращаясь к доказательствам в учебнике. Во всех иных отношениях школа была мне неинтересна, так что в итоге, поступив в университет, я был практически невеждой.

Преподавателем, который, по выражению одного старого негра, «выбил из меня дурь и открыл мне глаза», был Кельвин Томас. Тогда он еще только обретал известность как германист и преподаватель. Как я потом понял, это был первый настоящий ученый, которого я встретил. Другие были просто преподавателями. Он преподавал немецкий язык, но от него я узнал гораздо больше, чем язык. После десяти дней немецкого для новичков у нас была письменная контрольная. Он поставил мне за нее 10 баллов из 100. А внизу листа приписал, что даже если я стану к концу семестра в шесть раз лучшим студентом, чем сейчас, он, вероятно, не

сможет поставить мне зачет. Эта приписка изменила всю мою жизнь. До этого я был заядлым футболистом и уличным мальчишкой. Теперь я стал студентом, у которого в комнате по ночам не гасла лампа. Едва ли не впервые я обнаружил, что меня может интересовать то, что происходит в школе. Мой интерес к занятиям в колледже был поначалу практическим, а не интеллектуальным. Я собирался стать инженером. Вместо этого я стал изучать философию, и мной овладело ненасытное любопытство к познанию мира и всего, что думали и делали люди.

Думаю, лучшим преподавателем (по крайней мере, лучшим лектором) из тех, у кого я учился, был Георг Фридрих Кнапп из Страсбургского университета. Он – хотите верьте, хотите нет – был одновременно статистиком и историком, а самым популярным его курсом была история европейского, прежде всего германского, сельского хозяйства. Среди всего прочего, я получил от него знание и понимание немецкого крестьянина. Фактически я получил из его лекций настолько полное и глубокое знание крестьянской жизни, что никогда бы не поверил, что можно так знать людей, с которыми никогда не жил. Эти лекции были насыщены восхитительными частными примерами и в то же время были поразительно информативны; это был продукт острого ума и необычайного количества кропотливых научных исследований. Но больше всего поражало искусство, с которым он все это преподносил.

Обычно Кнапп изображал полную схему своих лекций на доске. Сами эти схемы были произведением искусства. При наличии этого схематичного плана и устного изложения темы, включая конкретные истории, которыми он ее иллюстрировал, возникало ощущение, что нет нужды заглядывать в книгу для обретения большей ясности. Но при этом хотелось пойти, посмотреть и в непосредственном наблюдении узнать побольше о тех людях, о которых он говорил. Этот курс не только многому научил меня в преподавании, но и был необыкновенно воодушевляющим введением и ориентиром в области исследований, которая с тех пор меня интересовала, а именно – крестьянской экономике и крестьянской жизни.

Когда годом-двумя позже я отправился на Юг, чтобы познакомиться с негритянским крестьянином, я обнаружил, переиначивая выражение мистера Кипплинга, что вещи, которые вы узнаете от белых, помогают лучше понять коричневых и черных. Наконец, и это просто деталь, мне вспоминается, что в заключение лекционного курса он отослал нас как к дальнейшему введению в более основательное изучение предмета не к научному трактату, а к



роману *«Der Bitner Bauer»*. Я купил его и с интересом прочел. Он внушил мне мысль, принесшую мне впоследствии немало пользы, о ценности реалистической художественной литературы и литературного описания для вовлечения в поле зрения более интимных и человеческих аспектов жизни, дающего студенту пусть и не аутентичное знание, которого он ищет, но по крайней мере то «знакомство с» ситуацией и предметом, которое для социолога столь же незаменимо, как и для историка.

Другим моим учителем был Уильям Джеймс, и больше всего о методах преподавания, как мне кажется, я узнал от него, поскольку у него вообще не было методов, по крайней мере формальных. Джеймс не читал лекции, он просто разговаривал; и хотя в одном из курсов он использовал учебник, это был учебник по теологии, и пользовался он им, как мне казалось, как чем-то вроде красной тряпки для быка, чтобы зажечь учеников и спровоцировать дискуссию. Начавшись, дискуссия продолжалась очень эффективно, но при этом и столь же непредсказуемо, не сильно отличаясь от так называемых «откровенных разговоров», которыми славятся студенты. Во всяком случае, усваивалось не то, что извлекалось из учебника, а то, что извлекалось из дискуссии. И что же извлекалось из этих дискуссий? Явно не то, что можно было бы расширительно назвать эрудицией. Наши дискуссии не были ни историческими, ни доктринальными. Возможно, они были метафизическими. Во всяком случае, они не выходили за рамки того, что Сантаяна называл бы «царством духа». Тем, что мы из них получали, было не знание — уж точно не знание в обычном его смысле, — но скорее проницательность и просветление.

Памятными их делали случайные замечания, произносимые как бы по ходу дела, с помощью которых Джеймс время от времени прояснял предмет обсуждения. Я помню случай, когда, терпеливо выслушав долгий спор об эволюции и прогрессе, он проговорил устало, как бы в сторону: «Прогресс! Прогресс — жуткая вещь. Скольких сил, страданий, разочарований он, в общем и целом, нам стоил!» Когда он перешел к развитию этой темы, оказалось, что мы уже ретроспективно смотрим назад, на длинный путь эволюционной истории, в ходе которой человек на нашей маленькой планете достиг своего сомнительного могущества, и смотрим на него уже по крайней мере без того восторга, с которым мы только что смотрели вперед, на его продолжение в будущем. После этого мы как-то потеряли интерес к спору, а конкретно у меня с тех пор вообще больше не было того же интереса к прогрессу. Пример ли

это метода Джеймса или все дело в его темпераменте? Я уверен, что этого я не знаю.

Вспоминается еще одна с виду случайная ремарка Джеймса, приведшая в порядок немало путаницы в моей голове. Одной из тем, обсуждавшихся в этом курсе, было доказательство существования Бога. Сегодня мне кажется немного странным, что кто-то может нуждаться в доказательстве существования Бога или, получив его, найти в нем какое-то утешение. Но профессор Ройс, коллега Джеймса и его сосед в Кембридже, сформулировал и опубликовал такое доказательство во время моего пребывания в Гарварде. Все это казалось мне немножко мистификацией, чем-то вроде извлечения кролика из шляпы, и меня этот аргумент не впечатлил и не убедил. Тем не менее доказательства существования Бога были живой темой на факультете философии в тогдашнем Гарварде. И вот однажды мы оказались втянуты в обсуждение атрибутов Бога. Каковы они? Кто-то предположил, что один из атрибутов Бога – бесконечность. В чем же Он бесконечен? В пространстве? Во времени? И в любом случае, что бы это значило? «Бесконечно стар», – сказал Джеймс, и это замечание раз и навсегда устранило, по крайней мере у меня, всякий дальнейший интерес к атрибутам Бога. Больше того. Оно избавило меня от схоластики. С тех пор логика и всякого рода формальное знание утратили для меня тот интерес и авторитет, которым они обладали раньше. Идеи больше не были ни в чем и ни в каком смысле заменой или суррогатом реальности и мира вещей. Отныне меня интересовала наука, а не философия.

На занятиях Джеймса было очень много интересного и неожиданного. Помню, как однажды внук Бригхема Янга, учившийся в Гарварде, рассказал на семинаре по аномальной психологии о мормонстве. Джеймс писал тогда свои лекции о «Многообразии религиозного опыта». В другой раз участники семинара в полном составе отправились в психиатрическую больницу в Провиденсе (Род-Айленд). Джеймс отыскал среди пациентов старого друга. Этот человек гулял по больничному саду под руку с больничным служащим и в состоянии крайнего возбуждения рассказывал о том, как направляет движение звезд и, вообще, управляет делами мира. Джеймс немедленно взял его под руку и, гуляя с ним самым естественным образом, слушал его речи с симпатией и реальным интересом, словно ожидал – а я уверен, что он и впрямь ожидал, – получить от этого полоумного человека новый взгляд на наш безумный и иррациональный мир, в котором, несмотря на весь порядок, открытый в нем до сих пор человеком, видимо, может произойти

все что угодно. Это было очень характерно для Джеймса, с его интересом ко всему человеческому и радикально эмпирическим взглядом на вещи.

Самым памятным событием на занятиях Джеймса, насколько я помню, было прочтение им на одном из своих занятий – не помню, на каком точно, – только что завершенной им статьи, озаглавленной «О некоторой слепоте у людей». Позже она была опубликована – на мой взгляд, очень удачно – как приложение к «Разговорам с учителями». Я упоминаю это, так как убежден, что это обращение больше, чем любые другие работы Джеймса или кого-то еще, заслуживает включения в списки обязательного чтения для социологов и учителей. Цель Джеймса при написании этой статьи была теоретической, а не практической или педагогической. Для него это было выражением его кредо<sup>1</sup>. Для меня, в свою очередь, это самое радикальное утверждение – если учесть, что само существование общества, каким мы его знаем, зависит от нашей способности к достижению понимания и консенсуса, – о трудности и необходимости коммуникации в обществе, состоящем из эгоцентричных индивидов, каковыми мы в большинстве своем являемся. Когда я говорю о необходимости понимания в обществе, я имею в виду понимание, воплощающееся в традиции и необходимое для передачи культуры в череде поколений; последнее, согласно Дьюи, составляет суть образовательного процесса.

Сядясь писать статью, я и не подозревал, что она по ходу дела окажется автобиографической. Тем не менее сейчас я пишу не мемуары. У меня было много учителей. Я упоминаю здесь только тех, у кого я чему-то научился в отношении методов. Еще одним из них был Дьюи.

Как характерная для метода преподавания Дьюи мне вспоминается следующая вещь. Его студенты, казалось, всегда понимали, что они каким-то образом вовлечены с ним в общее дело. Учеба у него всегда представлялась мне приключением – авантурой, уносившей нас за пределы безопасного и сертифицированного знания, в царство проблематичного и неведомого. По крайней мере, мы всегда были убеждены в том, что происходит нечто важное и мы куда-то движемся, хотя не всегда знали, куда именно.

---

<sup>1</sup> Джеймс считал, как я однажды от него услышал, что реальнее всего то, что острее всего чувствуется, а не то, что яснее всего создается. Этим он отличался от своего коллеги Ройса.

Дьюи был не очень увлекательным лектором, но был воодушевляющим лидером, и под его руководством мы уверенно устремлялись вперед, даже не зная, куда это нас приведет.

Я уже говорил о том, что образовательный процесс, как мы его знаем, разворачивается в условиях, навязываемых учебной аудиторией. Какие это условия? Назову лишь одно.

Класс – это обычно всего лишь скопление индивидов, вовлеченных в более или менее энергичное соперничество за одобрение преподавателя и в конечном счете за оценки. Такое скопление не является, как это могло бы быть при каких-то других условиях, организованным, или коллективным, единством, втянутым в организованные и планомерные поиски знания.

В этих обстоятельствах самое простое и, возможно, единственное, что можно предпринять, – это интенсифицировать конкуренцию за место и ранг, превратив занятие в своего рода игру и полагаясь на то, что рано или поздно, тут или там индивид будет зажигаться идеей и начинать искать истину ради самого себя. Если никто не зажигается, если нет никакого поиска, никакого приключения, никакого душевного трепета, ничего, что побуждает студента сойти с утоптанного пути, если каждый в классе движется вместе со стадом, то толку будет мало, а интерес, обычно подогреваемый участием в общем деле, угаснет и под конец исчезнет совсем. Чаще всего так приобретает худшее из всех знаний: чисто формальное и словесное.

В таких условиях студент получает в учебном заведении информацию, а не понимание; определения, а не идеи; выводы и убеждения, сковывающие разум, а не факты, открывающие ему новые перспективы. Коварное влияние аудиторных занятий часто превращает гипотезы, призванные поднимать вопросы, и теории, призванные направлять ход исследования, в доктрины, которые, давая или пытаясь нам дать окончательные и авторитетные формулировки истин, неизменно ставят крест на исследовании и отбивают то бескорыстное любопытство, которое характерно для детей и науки, особенно чистой науки, если она вообще бывает чистой. У доктрин есть свои функции, но они практические, а не теоретические.

Дьюи и Джеймс были прагматистами. Чему я от них научился, так это пониманию ценности эксперимента и опыта, в отличие от

изложения идей, и исследования, в противоположность схоластике, как метода преподавания в социальных науках и науках физических<sup>1</sup>.

Именно от Дьюи я получил, выражаясь языком газетчиков, свое первое большое «задание» – исследовать природу и социальную функцию газеты. С тех пор я не переставая трудился на этом поприще.

Еще одним человеком, которого я знал дольше и от которого узнал больше, чем от кого-либо из моих учителей, был Букер Вашингтон. После двух лет учебы в Гарварде и четырех лет за границей, куда я ездил изучать газету, я завершил, наконец, свое образование – как несколько недель назад говорил уже студентам вашего института – в Таскеги. Могу рассказать вам, как это произошло. После шести лет занятий философией я немного устал от академической атмосферы. Мне хотелось возобновить связь с миром людей и вещей. Случилось так, что доктор Барбур, секретарь по иностранным делам Баптистской миссионерской ассоциации, вернулся только что из-за границы и привез ужасные вести о бесчинствах режима короля Леопольда в Бельгийском Конго. Он хотел, чтобы кто-то помог ему предать широкой гласности положение дел в этом уголке мира. Так я стал первым секретарем Ассоциации за реформу в Конго. Во мне мало что было от миссионера, а мой опыт газетного репортера убеждал меня в том, что реформы здесь недостаточно. Однако Конго приглянулось мне как «отличная история для газеты».

В ходе кампании по мобилизации общественного мнения на защиту конголезских туземцев я искал в США кого-нибудь, кто знал бы что-то о так называемом Свободном Государстве Конго и кого могла бы интересовать судьба тамошних туземцев. Так я повстречал Букера Вашингтона. К тому времени, как я с ним познакомился, мне уже было ясно, что условия в Конго не являются результатом одних только административных злоупотреблений. Скорее это были условия, которые можно встретить везде, где европейцы вторглись на территорию более примитивных народов, чтобы их возвысить, цивилизовать и вместе с тем их эксплуатировать. Я поделился своей теорией с Вашингтоном. Я сказал ему, что, на мой взгляд, зверства режима Леопольда эндемичны процессу

---

<sup>1</sup> Метод схоластики – диалектика, т.е. дискуссия. Его функция – сделать идеи, которыми мы оперируем, ясными и согласованными. Но мышление более плодотворно, когда оно находится по крайней мере в соприкосновении с эмпирическим миром, т.е. миром шанса и изменения.

цивилизации, т.е. являются одним из более или менее неизбежных его аспектов. Это его как будто не заинтересовало. Его ум был насквозь прагматичным; у него была аллергия на всякого рода теории. Но когда я сказал ему, что думаю поехать в Африку, что в Лавдейле в Южной Африке есть, как я слышал, промышленная школа для туземцев и что если и есть решение конголезской проблемы, то, вероятно, это будет какая-то форма просвещения, он пригласил меня в Таскеги. Я поехал в Таскеги на несколько недель, а остался на семь лет.

Одна из причин столь долгой остановки заключалась в том, что вскоре после приезда туда я убедился, что проблема американского негра – всего лишь аспект, или фаза туземной проблемы в Африке; короче говоря, что эта проблема, подобно рабству, возникла как побочное следствие исторического процесса и как фаза естественной истории цивилизации. Такого взгляда на вещи придерживался и Букер Вашингтон, хотя он не сформулировал бы его в такой страшной форме. По сути именно от него я впервые получил более или менее адекватное понимание того, сколь глубоко укоренены в человеческой истории и человеческой природе социальные институты и насколько трудно, если вообще возможно, внести в них фундаментальные изменения простым принятием законов и всякого рода юридическим крючкотворством. Именно тогда я впервые понял, что социальные проблемы не сводятся к проблемам управления или политики, а являются проблемами фундаментальной человеческой природы и культуры.

За семь зим, проведенных в Таскеги, я объездил весь Юг. С белыми я совсем не общался, зато довольно хорошо познакомился с высшими слоями негритянского мира, о которых белые на Юге знали тогда очень мало. С другой стороны, я узнал очень мало, разве что косвенно, о том низовом мире негритянской жизни, который хорошо знали белые, особенно выросшие на южных плантациях. Эти семь лет стали для меня своего рода затянувшейся интернатурой, в ходе которой я приобрел клиническое и непосредственное знание перворазрядной социальной проблемы.

Мое ученичество, несомненно, слишком затянулось. Чтобы учеба была приключением, она не должна быть одновременно работой. Если мы делаем образование исследовательской экспедицией, то должны в конце концов вернуться назад, дабы составить отчет о своих открытиях. И все же время, проведенное мной в Таскеги, никогда не было скучным. На самом деле оно было насыщено событиями, и я никогда не жалел об этом опыте.

Прежде всего, пока я там был, меня все больше впечатляло то, что я обладаю уникальной возможностью видеть, так сказать, изнутри тончайшие механизмы важного исторического процесса, в ходе которого внутри более широкого культурного каркаса американской национальной жизни зримо рождается новое расовое и культурное меньшинство, или, по выражению Вашингтона, «нация внутри нации», видеть, как оно обретает новую форму и новое содержание в борьбе за повышение своего статуса.

В Таскеги я попал, казалось, в самый центр негритянского мира. У меня был доступ почти ко всему, что могло прояснить процессы, медленно, но неизбежно менявшие негритянскую жизнь и Юг. Мне стало трудно даже отвечать на некоторые адресованные мне письма, поскольку в них сквозили многочисленные типичные недопонимания расовой ситуации. Я много узнал о расовой проблеме, пытаясь анализировать те превратные идеологические интерпретации, на которых эти письма основывались.

Если я извлек из своего опыта больше, чем мог бы в ином случае, то не просто потому, что имел эту возможность, но и потому, что у меня была подготовка, позволявшая учиться на основе увиденного и услышанного. Возвращаясь из Европы, я был уже не журналистом, а исследователем. Именно глазами исследователя, участвующего в великом предприятии, но достаточно отстраненного, чтобы видеть его в его более общей социальной и социологической значимости, смотрел я на негров и Юг.

Все это время я исследовал и открывал мир, бывший для меня тогда совершенно новым, мир, окутанный для меня до той поры завесой незнания и непонимания, и этому, казалось, не было конца. Казалось, ситуация меняется каждый год, каждый месяц. Вещи и в самом деле менялись, но не так быстро, как мне мнилось. Менялся прежде всего я сам.

Откуда пришла эта трансфигурация установки и чувства? Не только из того, что я собрал новые впечатления и новые факты. Главным было то, что из своего расширившегося опыта я почерпнул новые точки зрения и новые прозрения. Бывает странно и немного удивительно, когда замечаешь, сколь много разных граней могут приобретать знакомые и очевидные объекты, если смотреть на них с разных точек зрения или разными глазами. Особенно когда объектами, на которые мы смотрим, являются люди, которых мы понимаем и знаем, если вообще понимаем и знаем, только через их лица, их обычаи и их культуры. То, что дело обстоит так, несомненно, в какой-то мере обусловлено «некоторой слепотой у

людей», о которой говорит Джеймс, а также теми дистанциями — социальными дистанциями, как мы их называем, — которые отделяют индивидов, живущих в одном мире, от всех тех, кто живет в каком-то другом.

Сегодня, когда я на все это оглядываюсь, мне кажется, что методы обучения, действие которых я обнаружил в Таскеги, были не только самыми оригинальными, но и самыми элементарными и фундаментальными из всех, которые я когда-либо встречал. Они были элементарными, поскольку образование, как его понимал Букер Вашингтон, не ограничивалось только студентами университета, а охватывало широкую публику мыслящих людей обеих рас, Севера и Юга. Это было образование, призванное довершить работу по эмансипации и изменить характер института, выросшего и закрепившегося в привычках, обычаях и идеологии целого народа.

Я не могу, при всем желании, углубиться сейчас в детали тех методов, которые изобрел Букер Вашингтон для выполнения этой эпохальной задачи. Они включали, среди прочего, публикацию сельской газеты, негритянского Ежегодника и ежегодного статистического отчета о линчеваниях.

Самым оригинальным из этих образовательных инструментов была, на мой взгляд, конференция негритянских фермеров. Эта конференция, которая ежегодно собирала негритянских фермеров Мэкона и соседних округов для обсуждения местных дел, быстро приобрела такую репутацию, что на нее стали съезжаться люди со всего Юга.

Вместо того чтобы пытаться поучать это собрание или наставлять его, Букер использовал другой метод: он добивался от его членов своего рода отчета, основанного на наблюдениях и переживаниях действительных условий сельской жизни, какими они их знали в своих сообществах. При попытке преобразовать в таком ключе обычную образовательную процедуру необходимо было несколько придерживаться естественное красноречие тех, кому хотелось выступить с речью, и вывести на передний план менее заметных людей, особенно тех, кому в силу того, что они чего-то достигли — пусть даже всего лишь вырастили свинью или продали быка, — было что сказать. Что Вашингтону и собравшимся хотелось знать, так это, главным образом, то, как они это сделали.

Информация, которую эта процедура выводила на передний план, облеченная в скромные, непритязательные, но красноречивые языковые формы самих людей, оживляемая анекдотами, насыщенная причудливым юмором и проблесками пафоса, была



самым живым, информативным, воодушевляющим отчетом о состоянии страны и человеческих сторонах негритянской жизни на сельском Юге, какой только можно было представить.

Она была гораздо интимнее, насыщеннее и в то же время актуальнее, чем любое формальное исследование или официальный отчет. Она была актуальнее, так как напрямую сталкивала участников не просто с фактами, но с фактами, как они отражались в умах, чаяниях и чувствах тех, для кого эти формальные и физические условия составляли их внешний мир.

Как у метода преподавания, у процедуры этой конференции, которая длилась весь день, начиналась с молитвы и оживлялась пением гимнов — гимнов, сочиненных самими участниками, — насколько я могу судить по своему опыту, не было равноценных аналогов ни в одном более формальном типе обучения. Не только присутствовавших на конференции негритянских фермеров наставляли и воодушевляли рассказы других, живших в таких же условиях, как и они, о том, что они сделали для улучшения своей участи; но и другие фермеры, жившие в других уголках Юга, до которых со временем доходили вести о том, что происходило на этих собраниях, пробуждались и преисполнялись интереса к новому евангелию, а также к новому реализму, с которым в этом евангелии трактовались проблемы негритянских фермеров. Таким образом, круг участников из года в год расширялся по всему Югу. Со временем эти конференции породили форму устных, или народных новостей, которые, подобно традиционным народным балладам, все больше обретали по мере своего распространения форму народной литературы.

Именно новостной элемент, присутствовавший в этих конференциях, в частности в риторике Таскеги, обеспечил им локальную известность. На этих упражнениях, на которые выбиралась вся школа, группы студентов, занятых на том или ином из поддерживаемых школой предприятий, рассказывали о характере своей работы, ее функции и важности в совокупной экономике школы. В этом случае студенты действительно пытались скорее общаться, чем пересказывать. Поэтому дававшиеся ими описания задач, в которых они были задействованы, всегда были интересными и содержательными.

Затем им предлагалось драматически разыграть данные ими описания своих задач. Если они показывали работу типографии или молочной фермы, они искали какой-нибудь хитрый способ воспроизвести или иначе передать на сцене всю обстановку,

вплоть до доения коровы, раз уж это было частью драмы. Я помню, как один раз студенты, работавшие на институтской почте, воссоздали практически всю меблировку почтового офиса, включая комплект мешков для правительственной почты. Одни студенты демонстрировали, как разбирается почта, другой читал доклад о том, как много корреспонденции проходит через почту, из каких стран она приходит и т.п.

Этот вид риторических упражнений, вероятно, больше всего меня впечатлил, поскольку они были увлекательнее и поучительнее тех пятничных полуденных занятий по риторике, наполненных чтением безжизненных эссе, которые запомнились мне из моих школьных дней. Кроме того, в них был, как я уже сказал, элемент новости. Они рассказывали о том, что происходит в сообществе.

Новость как форма знания – это отчет о событии, дающий нам новый угол зрения на знакомую тему. Она предполагает существование общего интереса или общего дела, в котором участвуют сообщество и публика, коим она адресована. Следовательно, новость никогда не бывает совершенно нова; в противном случае она не была бы понятной. Если бы импликации новости не были вполне очевидными, она не заставляла бы людей разговаривать и, следовательно, не получала бы того широкого и быстрого распространения, которого она неизменно достигает. Когда что-то происходящее в классе – что-то связанное с занятием по курсу – заставляет студентов говорить, мы узнаем, что студенты что-то от занятия получили.

Можно добавить, что Букер Вашингтон был заядлым читателем газет и неизменно был в курсе событий, происходивших внутри и вне его мира. Я думаю, что именно тот факт, что он так хорошо знал мир, в котором жил, больше всего прочего объясняет, как ему удалось убедить не только своих студентов, но и многих в Америке в том, что студенты и преподаватели в Таскеги не просто учатся и учат, а участвуют в большом и важном деле, а именно в просвещении и возвышении расы.

Это широкое понимание образования побудило Вашингтона основать Негритянскую деловую лигу – не столько для продвижения негритянского бизнеса, сколько для просвещения негритянского народа. Оно же лежало в основе всех его книг, журнальных статей и речей – речей, которые, хотя он повторял их снова и снова, путешествуя из одного конца страны в другой, всегда были новыми, поскольку старые темы всегда интерпретировались в них в свете новых событий. Это пришлось на время, когда влияние и престиж Таскеги

были столь велики, что аутсайдеры – иногда в шутку, а иногда и с презрением – называли эту школу «столицей негритянской расы».

Я детально рассмотрел конференцию фермеров и некоторые другие образовательные инструменты, использованные Букером Вашингтоном в Таскеги, поскольку они, как мне кажется, иллюстрируют, к чему каждая форма образования вполне могла бы стремиться, – а именно быть как познавательным путешествием, так одновременно и средством и средой для разумного участия в жизни сообщества. Это значит не просто тренировать студентов быть юристами, врачами и учителями, а пробуждать в юристах, врачах и учителях интерес к медицине, праву и образованию, рассматривая каждое дело как неотъемлемую часть культурной традиции, в которой все живут и имеют свое бытие. Это не сводит специальное образование к статусу средства или инструмента успешной карьеры, а делает его скорее методом участия в образе жизни. И школе в Таскеги лучше, чем любой известной мне школе, удалось при Букере Вашингтоне это сделать.

Очень любопытным кажется мне то, что негр, бывший до этого рабом и уж во всяком случае более или менее самостоятельно обучившимся человеком, придумал и учредил не просто школу, а промышленную школу, приведшую в действие методы преподавания, призванные дать мужчинам и женщинам образование не столько для какого-то особого занятия, сколько для действительного дела жизни, т.е. для участия не просто в экономической жизни сообщества, а во всех многообразных интересах, конституирующих сознательную жизнь расы, или народа.

Я убежден, что Вашингтону удалось сделать это в той степени, в какой он это сделал, потому что (1) он идентифицировался с народом, у которого была проблема, и потому что (2) у него была программа, затрагивающая прямо или косвенно все интересы народа, для которого она была задумана.

Когда предлагается, чтобы школа была более тесно связана со всеми разнообразными интересами жизни студента и сообщества, вовсе не имеется в виду, что школы, дабы дать студентам больше стимулов к работе в классе, должны идти в политику. Боже упаси! Но что по крайней мере имеется в виду, так это то, что знание всегда является и должно быть в конечном счете и в основе своей практическим. По сути, наука неизменно вырастала вокруг проблем, а факты – это, так сказать, всего лишь факты в некоем универсуме дискурса. Я бы добавил, что универсум дискурса – это нечто такое, что, возникая, позволяет индивидам, ассоциирован-

ным в любой из наук или ассоциированным для достижения любой другой общей цели, мыслить связано и действовать с пониманием и некоторого рода согласованностью.

Но наука есть нечто большее, нежели универсум дискурса или схема соотнесения, короче говоря, нечто большее, чем аппарат систематического мышления. Наука всегда занимается не просто идеалом, а реальным миром.

Социология была вскормлена в схоластике. Поскольку она сохраняет эту раннюю ориентацию, она, видимо, занимается идеями, а не вещами. Между тем общество – не идея, а вещь, точнее говоря, – организм. Общества растут, адаптируются к условиям, конкурируют между собой, живут подобно растениям и животным. Более того, они ведут войны и организованные конфликты друг с другом, чего животные не делают.

Социологи не могут решить своих проблем одной лишь диалектикой, как не могут этого сделать и путем разработки программ для других людей. Социология должна быть эмпирической и экспериментальной. Она должна, по выражению Букера Вашингтона, «узнавать в деле»; она должна исследовать, изобретать, открывать и испытывать вещи. То же самое должны делать студенты; и то же самое должно делать образование.

Эта статья задумывалась с целью сказать что-нибудь более или менее определенное о методах преподавания. Поскольку я имею некоторый опыт в качестве студента и в качестве преподавателя, но плохо знаком с текущими педагогическими доктринами, мне показалось уместным сначала рассмотреть кое-что из моего ученического опыта, а затем обсудить методы, которые я нашел успешными как преподаватель. Но, как видно, я совершенно сбился с того курса, который первоначально для себя наметил, и в большей степени сосредоточился на методах узнавания, а не на методах преподавания. Первые и вторые, естественно, друг с другом связаны.

Поскольку мне не хватит времени сказать что-либо об аудиторных методах, основанных на моем преподавательском опыте, то я, наверное, мог бы подытожить в конце свой ученический опыт. Из учителей, от которых я больше всего узнал, видимо, лишь у одного, профессора Фридриха Кнаппа, был метод, который можно описать как систематический, т.е. такой, какого ищут учителя, когда профессионально говорят о преподавании. Все другие чем-то напоминали коня на выгоне и были нацелены на то, чтобы скакать и резвиться, избегая тех пут, которые обычно навязывает аудитория.

У образования, однако, должны быть методы, и знание должно быть в конечном счете представлено в упорядоченной и систематической форме. Иначе знание становится не более чем личным достоянием, которое можно использовать, но нельзя социализировать, т.е. консолидировать в виде науки и передавать из поколения в поколение через книги.

Больше всего мне хотелось бы подчеркнуть следующее: один только учитель не сможет успешно осуществить систематизацию знания, даже с помощью учебника. Часть работы по открытию и работы по интерпретации и формулировке студент должен делать самостоятельно. Мой опыт говорит о том, что он этого не делает и в итоге никогда не умел это делать.

**Роберт Эзра Парк**  
**ИЗБРАННЫЕ ОЧЕРКИ**

**Сборник переводов**

Оформление обложки И.А. Михеев  
Компьютерная верстка Н.В. Афанасьева  
Художественный редактор Т.П. Солдатова  
Технический редактор Н.И. Романова  
Корректоры О.П. Дормидонтова, Н.И. Кузьменко

Гигиеническое заключение

№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.

Подписано к печати 2/VIII – 2011 г. Формат 60х84/16

Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена

Усл. печ. л. 20,0 Уч.-изд. л. 18,0

Тираж 300 экз. Заказ № 104

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,**  
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997  
**Отдел маркетинга и распространения информационных изданий**

**Тел./Факс (499) 120-45-14**

**E-mail: [market@INION.ru](mailto:market@INION.ru)**

Отпечатано в типографии ИНИОН РАН

Нахимовский проспект, д. 51/21,

Москва, В-418, ГСП-7, 117997

042(02)9